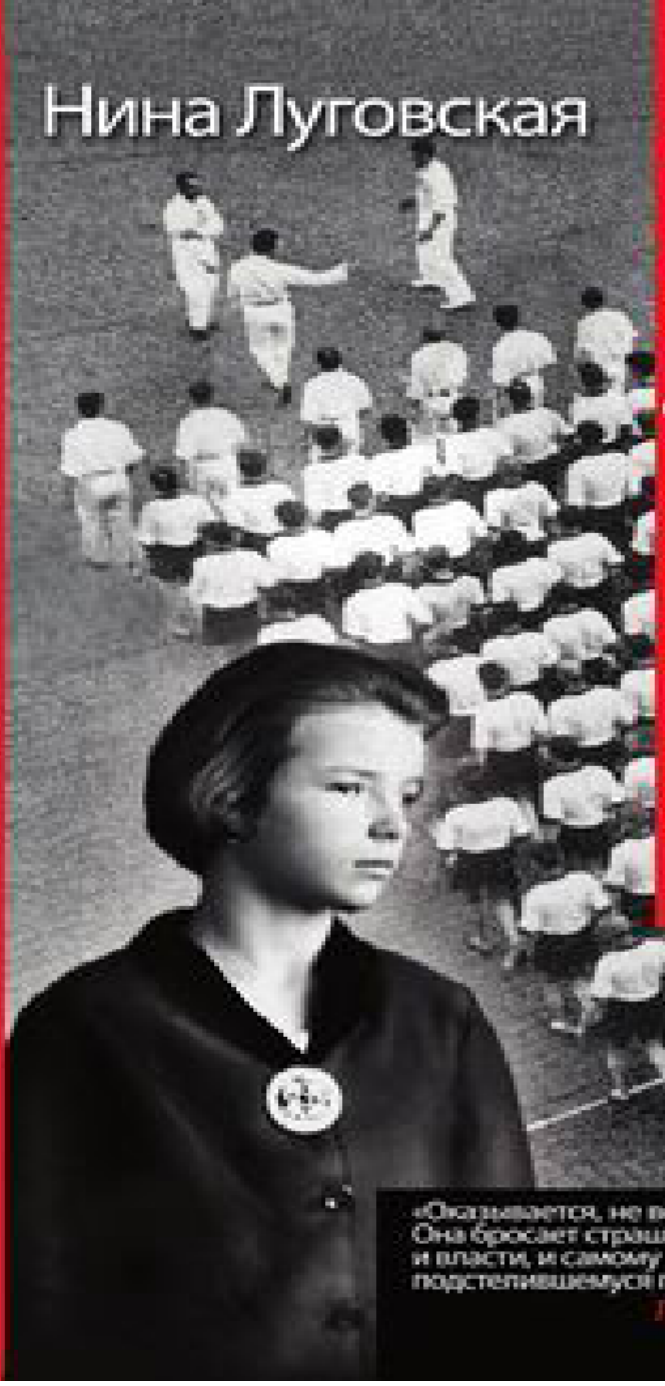
Нина Луговская

ХОХОТАЛИ!

Дневник советской школьницы



«Оказывается, не все шагают в ногу… Она бросает страшные обвинения и власти, и самому народу, подстелившемуся под власть…»

Людмила Улицкая

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Перед вами реальный дневник московской школьницы 1930-х годов, чудом уцелевший в архивах НКВД. Талантливая и независимая девочка писала в дневнике то, что другие боялись прошептать в те страшные времена. Она отказывалась принять «советский проект», ее не затронула идеологическая пропаганда. Она откровенно и правдиво описывала реальность своего непростого времени, а также свой внутренний противоречивый мир.

Эта пронзительная книга уже издана и пользуется огромной популярностью в Англии, Франции, Германии, Италии, Швеции и других странах.

- Нина Луговская
  - Предисловие
  - Хочу жить!.
    - Первая тетрадь
    - Вторая тетрадь
    - Третья тетрадь
  - Приложение
    - Выдержки из писем Рыбина С. Ф.[45]
    - Письма детей Рыбину С. Ф.[47]
  - Послесловие
  - Заключение
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17

- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61

- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66

Нина Луговская
Хочу жить!
Дневник советской школьницы

Предисловие
Трудный подросток против Великого Мифа

Последние десятилетия в нашей стране, да и по всему миру возникла мода на «русский проект». Это касается не только «серпов и молотов» на майках – культивируется умиление перед советским прошлым, ностальгия по «порядку», разыгрывается советская эстетика. Причины этому разнообразны: короткая память, отвращение к обществу потребления, не достигаемая нигде и никогда мечта о социальной справедливости, фантом бедных. Да и многое другое, о чем здесь не место говорить.

Но сама мода, в конце концов, – раздел индустрии, и торговля «советским прошлым» – от маек до идеологии – представляет собой товар, на котором сегодня зарабатываются деньги.

Гениальное высказывание Джорджа Орвелла – «кто владеет настоящим, тот владеет прошлым», – как палиндром, читается в обе стороны – «кто владеет прошлым, тот владеет настоящим». Прежде чем стать очевидностью, это звучало остроумным парадоксом. Но некоторые из писательских парадоксов за последние пятьдесят лет превратились в обстоятельства повседневной жизни: вспомним замечательных писателей и футурологов Олдоса Хаксли и Станислава Лема.

Наше сознание едва поспевает за меняющейся реальностью, и ошарашенный человек легко теряет нравственные координаты. Однако сама жизнь порой так выстраивает последовательность событий, словно желает одернуть слишком увлекшегося игрой ума человека.

В связи с этим возникает чрезвычайно интересный вопрос: как устроено историческое зрение – в какой именно момент «вчера» превращается в «давным-давно», в «некогда»? Со смертью последнего современника? Или со смертью его внука?

В таком случае свидетельства Цицерона, живущего в первом веке до нашей эры, Теодора Моммзена, написавшего свой классический труд «История Рима» на исходе девятнадцатого столетия, и умершего недавно автора поэтического цикла «Римские элегии» Иосифа Бродского равновелики – и расстояние в две тысячи лет ниче го не значит. Время перестает быть координатой жизни, и мировая история с высоты птичьего полета вечности превращается в собрание разрозненных картинок на

обозначенную тему.

Есть причины, по которым дневники Анны Франк и Нины Луговской могут рассматриваться как родственные документы. Прежде всего, они принадлежат тому новому разделу общей истории, который выделился в самостоятельную дисциплину, называемую микроисторией. Большая история, рассматриваемая через судьбу отдельного, частного человека – не вождя, полководца, философа или писателя, а одинокой незначительной песчинки. Это люди, истории не делающие, но в ней пребывающие. Они – свидетели случайные, ненамеренные и, в силу ненамеренности, потрясающе прав дивые.

Обе девочки, Анна Франк и Нина Луговская, – эгоцентрические подростки, сосредоточенные на своей внутренней жизни, поглощенные переживаниями, сопровождающими половое созревание. У обеих – сложные отношения с родителями: у Анны Франк – глубокий конфликт с матерью, у Нины Луговской – негативная реакция на отца. Довольно типичная черта подросткового возраста. Обе они находятся в экст ремальных ситуациях, но случай Анны Франк гораздо более острый: она уже в западне, уже обречена, и сила воздействия ее дневников именно в том, что мы, читатели, это понимаем, а она еще не рассталась со своими надеждами выжить.

Экстремальность жизненной ситуации Нины Луговской разделена с миллионами ей подобных девочек, мальчиков и их родителей. Обреченность общая, но неосознанная. В советских лагерях тоже погибнет много миллионов людей. Но Анна Франк – еврейка в оккупированной фашистами Голландии, а Нина Луговская – русская среди соотечественников, подавленных тоталитарным режимом, который уничтожает не по принципу национальному, а беспринципно: всякой твари по паре, чтоб все боялись.

Сама Нина, к слову сказать, в те годы вполне разделяет антисемитские настроения времени и места – соответствующие тексты можно найти в дневнике. Много лет спустя, вероятно, ее взгляды претерпят изменения – во всяком случае, еще находясь в ссылке, после лагеря, она выйдет замуж за еврея и счастливо проживет с ним до самой смерти.

В сохранившемся в архивах НКВД дневнике Нины есть два рода отметок: во-первых, вымаранные самой Ниной строки. Она прошлась по своему дневнику задолго до ареста, когда ее мать, заглянув к ней в дневник, предостерегла ее от излишнего доверия к бумаге. Второй род отметок – красный карандаш следователя, читавшего ее дневники с той самой целью, которую когда-то

предугадала ее мать… Впрочем, если бы никаких дневников Нина вообще не вела, она все равно получила бы свой срок, как его получили ее старшие сестры, вовсе не придерживающиеся антисоветских взглядов. Из общества изымали неблагонадежных, к числу которых, вне всякого сомнения, относился отец Нины, левый эсер. Изъятию подлежали и члены семьи. Таким образом, дневник Нины оказался лишь лакомым куском для следователей, которые смогли на основании дневника предъявить молодой девушке особое обвинение в «подготовке террористического акта против Сталина».

В сущности, речь идет о грандиозном процессе «Государство против частного человека», о том процессе, который идет всегда и повсеместно, но в условиях тоталитаризма приобретает невиданные масштабы. К счастью, кроме памятников искусства, выражающих идеологию государства, сохраняются и свидетельства, подобные этому дневнику. Именно этим он и интересен.

Что же, собственно, представляет собой этот документ? Три общие тетради, заполненные чувствами и переживаниями. Довольно банальными. Лучше сказать, типичными для всех чувствительных девочек: пафос, страдания по поводу собственной внешности, смесь тщеславия с уничижением, страдания в ожидании любви, крайние эмоциональные реакции – вплоть до мысли о самоубийстве и даже с попыткой отравиться бабушкиными каплями с опиумом.

«Целыми вечерами, полными бездействия и тоски, я слонялась из угла в угол, из комнаты в комнату и временами думала, что схожу с ума. Каким отчаянием и безнадежной тоской наполнялось сердце! Звуки рояля и заунывные песни раздавались в комнате… И мысль об опиуме вновь и вновь приходила мне в голову. Негодование и злость душили меня, казалось, нервы каждую минуту собираются лопнуть. Я задыхалась в этой ужасной и тягостной атмосфере, грызла пальцы, хватаясь за голову, мне хотелось плакать, рыдать… Появилось непреодолимое желание броситься кому-нибудь на шею, прильнуть к чьей-нибудь любящей, все понимающей груди и расплакаться, не сдерживаясь и по-детски. О, какой одинокой чувствовала я себя в эти минуты, какой покинутой и ненужной».

Этот фрагмент может быть с успехом вставлен в учебник по психологии подростка. Здесь нет ни примет времени, ни признаков личности. Зато он с медицинской точностью фиксирует характерное состояние ребенка переходного возраста.

Нина, миловидная, вполне привлекательная девочка, страдает косоглазием. Этот недостаток – идеальная пища для

глубоких страданий:

«Опять на улице опускаю глаза перед прохожими и болезненно ощущаю всякий, иногда и случайный взгляд, стараюсь быть незаметной, сутулюсь, наклоняю голову… Как подумаю, что всю жизнь надо мучиться из-за глаз, так прямо жутко становится, они погубили половину моей жизни, наверное, и остальную погубят. Чего я могу добиться с ними?»

И далее, встык:

«Чему посвятить себя? Стать музыкантом… или художником… или писателем?»

Множество дневниковых страниц посвящено отношениям с мальчиками – гормональная биография молодого организма: он вошел – я посмотрела, я вошла – он посмотрел… я засмеялась иронически – он покраснел, он засмеялся – я вздрогнула…

Тоска о любви, жажда ее, ревность и зависть, влюбленность и разочарование, новая влюбленность, новое разочарование – трудное взросление, мучительное состояние юности, общее место в биографии почти каждого молодого человека.

Но одновременно с этими обыкновенными для девочек переживаниями в дневниках представлен тот исторический фон, на котором происходит действие ее жизни, – и он-то оказывается замечательным комментарием к выставке «Коммунизм – фабрика мечты». Нина Луговская рассказывает о том, что не попадает в поле зрения искусства, – о реальной жизни современников. Оказывается, не все шагают в ногу. И Нина из числа тех, у кого особенно острое зрение. Удивительно, почему она пишет то, что другие люди боятся прошептать кому-то на ухо. Это не только смелость высказывания, это смелость мышления – большая редкость во все времена.

Конечно, дома у нее есть свой собственный учитель жизни, ее отец, Сергей Рыбин-Луговской. Хотя отношения с ним непростые, она пишет о нем в дневнике:

«Я люблю его, когда он революционер, люблю его человеком идеи, человеком дела, человеком, стойко держащимся своих взглядов, не променявшим их ни на какие блага жизни».

Ее отец – в прошлом левый эсер, то есть член партии еще более радикальной, чем партия большевиков. К этому времени партия распущена, запрещена. Эсеры не без оснований считали, что большевики воспользовались плодами их многолетней деятельности и вырвали власть из их рук. Отец Нины многое понимает о природе советской власти. Вероятно, родители не скрывают от детей своих взглядов. Но, приняв жизненную тактику выживания, своим принципам отец Нины остается верен. Находясь уже в ссылке, он пишет в одном из писем к дочери:

«При других условиях было бы все иначе, теперь же приходится поступать так, как это вытекает из обстоятельств. Начиная, родная, борьбу за свое право на человеческое существование, придется много положить энергии, чтобы отвоевать это право, стать и занять достойное место и не затеряться в толпе, как песчинка в степи…» Скорее всего, остронегативное отношение Нины к власти и к самому Сталину связано с политическими воззрениями ее родителей, но несомненно, что трезвость и наблюдательность ее собственные. Вот пассаж из дневника, подчеркнутый красным карандашом следователя:

«А папа сидит в Бутырках. Сидит со своей дикой и беспомощной ненавистью, со своей энергией и больными глазами. Сегодня я была в Политическом Красном Кресте и подала заявление. Любопытное учреждение, которое много кричит о себе и ровно ничего не делает. Я слышала от окружающих, что они ходят по нескольку лет, не добиваясь никакого толку. Народу много, помещение отвратительное, похожее на закуток, посетителям очень мало отвечают…»

Вот дневниковая запись декабря 34-го года:

«После убийства Кирова в Смольном… Прошло уже много дней. Много передовиц в газетах кричало об этом происшествии, и много докладчиков-попугаев и советских шкурников с пафосом, потрясая кулаками, кричало над головами рабочих „Добить гадюку!“, „Расстрелять предателя, который трусливым выстрелом вырвал из наших рядов“ и т. д. И много так называемых советских граждан, потерявших всякое представление о человеческом сознании и достоинстве, по-скотски поднимали за расстрел руки. И трудно поверить, что в двадцатом веке в Европе есть такой уголок, где поселились средневековые варвары, где с наукой, искусством и культурой так странно уживаются дикие, первобытные понятия. До начала следствия, когда еще не знали ни о какой организации, было убито уже сто с лишним человек, белогвардейцев, только за то, что они, белогвардейцы, имели несчастье находиться на территории СССР… Почему сейчас никто не скажет прямо и откровенно, что большевики – мерзавцы? И какое право имеют эти большевики так жестоко, так своевольно расправляться со страной и людьми, так нахально объявлять от имени народа безобразные законы, так лгать и прикрываться потерявшими теперь значение громкими словами „социализм“ и „коммунизм“…»

В дневниках Нины много определенных и недвусмысленных высказываний, связанных с политическими событиями. Как будто походя, как само собой разумеющееся, она бросает страшные

обвинения и власти, и самому народу, подстелившемуся под власть. Но эти дневниковые высказывания особенно ценны для нас сегодня. Именно они представляют собой тот комментарий к прошедшему времени, в котором нуждается время настоящее.

Кости политзаключенных еще не истлели, еще не все заборы и бараки архипелага ГУЛАГ поросли травой, и в архивах НКВД – КГБ – ФСБ хранятся горы еще не прочитанных документов.

И в этом смысле дневник Нины Луговской – прекрасное противоядие для тех, кому «советский проект» все еще кажется привлекательным. Великая утопия обернулась кровавой историей. Об этом свидетельствует Нина Луговская.

На фотографиях у Нины детское растерянное лицо. Миллионы таких фотографий хранятся в архивах. Но все уже умерли: кто от пули, кто в лагере, кто в ссылке. Нине Луговской повезло. Она вышла из ГУЛАГа. Мечта ее детства осуществилась – она стала художником, дожила до старости, и мало кто из ее окружения знал о ее прошлом. Наверное, она и сама не помнила о тех изъятых во время обыска дневниках. Но они сохранились. Они здесь. Они для нас.

Людмила Улицкая

Хочу жить!. Из дневников школьницы 1932—1937

«Стихи я начала писать семь-восемь лет назад[1], потом постепенно стала переходить на прозу, так как не удавались большие поэмы, а сидеть по часу над каждой строчкой, подбирая рифму, было так скучно. Я с увлечением стала писать повести, рассказы и отрывки. Удавались ли они – трудно сказать. Что могла написать хорошо совсем еще маленькая девочка, мало читавшая и еще менее жившая…»

«Странно, даже дневник я пишу как будто не для себя, а для кого-то другого, и нередко боюсь написать чего-нибудь не так. Я стараюсь как-то задавить это чувство, но не тут-то было, чувства, вообще, очень непослушная штука: ты говоришь им одно, а они тебе совсем другое…»

Первая тетрадь

<8 октября 1932>

<…> Сейчас половина одиннадцатого вечера. Женя[2] сидит и играет на рояле, а я спешу записать то чувство, которое у меня появляется при музыке. Я невообразимо люблю ее, но как-то болезненно и горько. Мне кажется, что невозможно выразить словами того сильного и сложного чувства, которое наполняет меня, что-то хрупкое и нежное болезненно начинает шевелиться в моей душе, приятно и больно щекочет нервы, что-то просится наружу. О, как мне хочется в такие минуты присоединиться к пению сестер, вылить все наполнявшее меня в одном звучном и прекрасном звуке, но получается дрожащее жидкое хрипение, и я замолкаю, оставляя умирать в душе непонятный порыв. Какая-то непонятная и жгучая прелесть сквозит в разнообразных мелодиях: то шаловливых и игривых, то наполненных тяжелыми переживаниями.

Любовь! Как о ней не думать, когда всюду воспевают ее молодость! Как о ней не мечтать, когда ее наполняют непроходимой чашей блаженного восторга и фантастической голубой дымкой неизвестности! Эти волнующие слова:

Это было в предместьях Гренады,
Где живут, как известно, испанцы,
Где звучат без конца серенады.
Там красавицы курят сигары,
Там царит бесконечное лето,
Там звенят и рокочут гитары,
И трещат день и ночь кастаньеты.
Как-то ночью, в глухом переулке,
Опираясь на длинную шпагу,
Совершал в час урочный прогулку
Дон Родриго Херес дель Малага.
В лунном блеске искрилася шпага,
Были улицы светом залиты,
Вдруг предстал перед Доном Малага
Легкий образ сеньоры Лолиты.

Эти слова под аккомпанемент простой и лукавой мелодии очень понравились мне, открывая туманную даль перед

любопытным взглядом, даль, наполненную неясными призраками какой-то чужой романтической жизни.

<11 октября 1932>

Сегодня у меня выходной. С утра пошла за хлебом, на улице холодно и неприветливо. Сейчас чертовски дрянное настроение, ничего не хочется делать, с досадой вспоминаю вчерашний день. На уроке пения Левка и Стаська[3] все время шептались и указывали на нас, Ксюша, по обыкновению, вела себя невыносимо. Когда я шла домой, все меня раздражало: и бестолковая болтовня Ирины, и Ксюшкин смех. Я была разочарована, хотя, собственно, разочаровываться и не в чем, но какое-то чувство разочарования наполняло меня. Мои поступки в школе! Когда я научусь сдерживать себя? Что это – обещала не садиться близко от Левки, а села рядом, божилась не ждать его около школы, а, наоборот, смотрела во все глаза и, увидав, по примеру остальных неистово кричала. Как не сходятся разумные думы с взбалмошной действительностью.

Вчера вечером у нас был Юрка, друг Ляли[4], длинный и худой парень с некрасивым лицом. Разговор у них зашел о том, кто в кого втрескался, и откровенно сознавались все, а мне было немного странно и неприятно слышать, как они рассказывали об этом. Вообще, чертовски плохо жить, на меня опять находит хандра, минутное возрождение кончилось, и уже не тянет в школу, а голубые глаза почти не волнуют. Как я могла так неожиданно и порядком же влюбиться и так скоро разлюбить. Я раньше осуждала тех, кто быстро влюбляется и охлаждается, любовь в моем понимании была крепким, сильным и постоянным чувством. Сейчас же странно и немножко смешно вспоминать об этом.

Что такое жизнь? Зачем жить? Живи, ответят тебе, пока не умрешь. Легко сказать! Так вот в юности влюбиться, потом выйти замуж, народить детей, а к старости готовить обеды, окутывая себя беспросветным ворчанием, – и это жизнь? А разве такой хочется жизни? Хочется стать великой, необыкновенной. Мечты, мечты! Мечты – это то самое, что дает мне возможность хоть иногда бывать счастливой. О, как я люблю писать. Вот написала и успокоилась, как будто чья-то рука сложила в определенный порядок все в моей душе, так что не осталось ни одной частички, которая бы тревожила меня.

<13 октября 1932>

Первый урок была биология. Мы пришли в кабинет, когда уже прозвенел звонок и учительница была в классе. Алька [5], подойдя ко мне, дал небольшой клочок бумаги и проговорил, смеясь: «Прочти объявление», – и сел на место. Я развернула и прочла следующую фразу: «Пятая группа сошла с ума потому, что шимпанзе втюрился в Луговскую». Как же не смеяться? Я оглянулась на мальчишек, Левка, разевая и без того большой рот, кричал: «Ну что, Луга?» – «Ничего, хорошее дело». Урок прошел весело и оживленно. Второй урок был физкультура, но учитель не пришел. Ребята вели себя не особенно хорошо, и скоро в класс пришла учительница из соседнего класса, по виду рабочая выдвиженка. Задав нам составить рассказ из слов: «империалисты, капитализм, оппортунисты, энтузиасты, ударники, новое общество», – она ушла, но в течение урока навещала нас. А после уроков, попрощавшись с Зиной[6], я, Ира и Ксюша пошли к другому переулку, свернули в него и, примостившись на низком заборе, стали ждать Ю. И.[7] и Левку. На улице было особенно темно и тепло, кругом было пустынно. Мы и раньше нередко ожидали их, но подходить так близко к улице, по которой они должны были проходить, мы еще не решались.

<14 октября 1932>

В школу я шла одна, так как опоздала и девочки уже ушли, но я не особенно жалела об этом. На первом уроке был русский, и учительница вызвала Левку. Он вышел к доске со спокойным видом, взял мел и остановился в выжидательной позе (его изящная фигура как-то невольно напоминала фигурку Ю. И.). По его ответам видно было, что он совсем не занимался, и весь класс хором подсказывал ему, а я многозначительно спросила Иру: «Ты знаешь, почему ему все подсказывают?»

На немецком Левка так разбаловался, что учительница вынуждена была пересадить его на другое место, но и там он не успокоился и стал перебрасываться фуражкой с ребятами, причем раза два кинул ее на нашу парту. На следующем уроке по труду творилось что-то невообразимое. Учитель собрал всех у одного станка, чтобы объяснить его строение, но сам за чем-то вышел из мастерской. Ребята начали подставлять друг другу ножки, и нужно было видеть всю комичность их маневров.

Левка вскочил на стол и хохотал от всей души, смотря, как Стаська немилосердно кривлялся и беспрестанно падал на скользкий каменный пол. Кстати о Стаське, что-то особенное

подмечаю я в отношении его ко мне и на уроках, взглянув на него, почти каждый раз встречаюсь с ним глазами. Увы, как редко я вижу голубые глаза, так часто вижу карие, смотрящие на меня! Это вызывает у меня одновременно приятное и неприятное чувство, как будто кто-то слегка щекочет. По дороге домой я заметила, смеясь: «А ведь это чертовски глупо». – «Чем глупо?» – спросила Ира. «Да всем, вся эта история с Левкой». – «Ничуть не глупо! Я не понимаю, объясни». После долгого разговора с ней каждый из нас, конечно, остался при своем мнении.

<17 октября 1932>

Сейчас пришла мама и велела сестрам идти за продуктами. По обыкновению не обошлось без ссоры, все трое ругались, кричали, а я, как в лихорадке, сидела в своей комнате и молила бога, чтобы не вспомнили обо мне. Сейчас Женя и Ляля продолжают ругаться. О боже! Право, смешно и жалко на них смотреть, и подумать, до чего мы не дружны между собой. И папа с мамой нередко ворчат, а уж мы и подавно.

Мы сошли с ума! Совсем сошли! Но кто же мог подумать, что сегодня в школе случится такая вещь? Итак, день начался самым обыкновенным образом, после второго урока мы с Ирой ходили по залу, разговаривая, вдруг перед нами очутился Левка, с устремленными куда-то вперед глазами. Неожиданно он перевел их на нас, причем мне особенно ясно бросилась в глаза их мутноватая густая голубизна. «Несите книги в класс». – «Какие книги?» – «Да, в класс». – «Мы не библиотечная комиссия». И он, и мы засмеялись и смутились. Я неожиданно поняла, в чем дело, круто повернулась и, давясь от неудержимого смеха, бросилась в класс. Пряча книги в парту, я нагнулась к ней, произнося нечленораздельные звуки: «Левка определенно заигрывает с нами».

На русском я почти ничего не слушала, какая-то магнитная сила тянула мои глаза к первой парте у окна, к светлому профилю Левки, и я, быстро перебегая с предмета на предмет, вдруг неожиданно вскидывала на него глаза, совсем не останавливаясь, и так без конца. Он все чаще смотрел в окно, иногда на учителя и редко в нашу сторону. Когда мы пришли на третий этаж, Левка и Стаська немилосердно толкались на нас, и нам с Ирой оставалось только молчаливо пожимать друг другу руки, перебрасываясь изредка почти беззвучными словами. Однако самолюбие мое торжествовало, чувствуя, что мне дается большее предпочтение.

На прошедшем уроке я услышала, как неистово смеялась Зина, и увидела, как она краснела и прятала лицо. Я взглянула на Левку, он смотрел на нас и шептался со Стаськой. Каждой из нас, то есть Ире, мне, Зине и Ксюшке, казалось, что он смотрит на нее, я-то, вообще, об этом распространяюсь немного, а остальные, особенно Ксюшка, трубят об этом во все рога, поэтому меня всегда охватывало болезненное чувство неизвестности, тайной надежды и разочарования. На кого же он смотрит, когда поворачивается к нам? Сегодня неизвестности не было, я встретилась с ним взглядом, и мы довольно долго, улыбаясь, смотрели друг на друга, пока он медленно не отвел глаза.

Не знаю каким образом, но мы с Ирой решили сегодня найти дом Левки (адрес мы знали), и решение возникло как-то само собой, втайне от Ксюши и Зины. После уроков мы вышли из школы, вокруг никого, кроме нас, не было. Было поразительно тепло. «Идем», – тихо сказала Ира, и мы свернули на Девичку[8]. Вдруг по улице пронесся знакомый крик: «Луга! Подождите». – «О, скотина!» – не оборачиваясь, шептала я, увлекая подругу в темную аллейку. Ксюша не унималась, но наконец, как-то отвязавшись от нее, мы свернули в переулок и пошли прямо к цели.

Было немножко жутко, и приятное возбуждение разливалось по всему телу. На улице было грязно и темно. Мы свернули в какой-то переулок, узкий и извилистый, с многочисленными заборами и темными проемами дворов. Но вот и наш переулок, очень небольшой, с двух– и трехэтажными домами. Мы свернули в него и, прижавшись друг к другу и зорко осматриваясь, быстро шли к цели, перебегая с одной стороны улицы на другую. Вот и его дом, трехэтажный, каменный, с большими светлыми окнами. Мы раза два прошли мимо него, и я не могу передать напряжения и возбуждения, охватившего меня там. На обратном пути, на Пироговской улице, мы встретили Альку, который, увидев нас, удивился: «Луга!» – и засмеялся. Отойдя на порядочное расстояние, я с досадой воскликнула: «Вляпаться, так глупо вляпаться!»

<21 октября 1932>

Каждый раз я создаю в своем воображении что-то благородное и простое, и каждый раз этот образ разбивается о действительность, мерзкую, но яркую действительность. Насколько чисты в моем воображении мужчины и мальчики, настолько они пошлы и развратно-распущенны в

действительности. О, жестокая действительность, как она грубо и бесцеремонно касается сердца. А все-таки мне Левка порядком нравится, с его поразительно тонкой и упругой фигурой.

Вчера нас вернули в класс за плохое поведение. Когда Левка подбежал к моей парте и, схватив со стола ручку, воскликнул: «А, Луга, ручку забыла!» – я схватила его крепко за руку и, отняв ручку, как-то иронично и насмешливо сказала: «Спасибо». Он молча сел на место, а я еще долго ощущала его тонкую и упругую руку. Теперь меня интересует один вопрос: обращает ли на меня Левка хоть немного внимания? Конечно, это трудно заметить, но все же у меня теплится в душе искра надежды…

<22 октября 1932>

Попробую описать этот день с мельчайшими подробностями, не упуская ничего. Итак, из дому я вышла без трех минут час. На улице было холодно и сыро.

Мелкий холодный дождик моросил с самого утра. Я подошла к автобусной остановке (обычному месту наших свиданий) и решила немного подождать Иру и Ксюшу. Одной не хотелось идти, но они не шли. Дождик все шел и шел, и, казалось, нет конца этой беспросветной осенней серой мгле.

Я решила ехать на трамвае и пошла к остановке. Вагоновожатый уже сидел, я влезла в вагон, народу там было мало, и немногие присутствующие как-то неопределенно угнетали меня своим присутствием. И эта неприятная тишина, царившая в вагоне, и чужие незнакомые лица, на которые я хотела и боялась смотреть, – все стесняло меня. Я, не глядя ни на кого, села на свободное место и, мельком взглянув на сидевшего напротив парнишку, отвернулась к окну в надежде увидеть Иру или Ксюшу. Трамвай тронулся, я пристально смотрела сквозь стекло на улицу, где передо мной мелькали неясные фигуры людей. Толчок в плечо и громкий окрик «Билет, гражданка» отрезвили меня. Я повернулась к кондуктору и, подавая двадцать копеек, машинально сказала: «Один».

В раздевалке было мало народу и почти не было пальто. Около нашей вешалки стояли ребята из класса и несколько девочек. Я молча прошла к другому концу вешалки, медленно разделась, вложила в рукав шапку и зачем-то растегнула и застегнула портфель. Не хотелось одной идти в класс, но делать было нечего, и я поднялась по лесенке, прошла зал, войдя в класс вместе с группой девочек, шедших тоже из раздевалки.

Около двери на столах стояли с одной стороны Стаська и

Алька, с другой – Левка. Они одной рукой брались за провод, другие соединяли между собой. «Луга, попробуй возьмись. Давай руку». Я положила портфель и, усевшись на кончик парты, подала одну руку Альке, другую Левке. Не странно ли? Ток легкой дрожью пробежал по телу – Левка тихонько пожал мою руку. Вдруг кто-то крикнул: «Шухер», – и все, как воробьи, быстро и шумно разбежались по своим местам. Водворилась выжидательная тишина. В двери показался мужчина, оглядел нас и, проворчав что-то, ушел.

«Левка! – закричал Стаська. – Садись здесь». – «Сейчас». Он взял со стола свои тетради и пересел в наш ряд, наполняя меня счастьем и потребностью открыться перед кем-нибудь. Я выскочила в зал и пошла к раздевалке, в нее вливался поток учеников. Заметив среди них красную шапку Иры, я быстро подошла к ней и, идя рядом, радостно шепнула: «Левка сидит сзади нас». – «Как?» – «Раздевайся скорее». Не дожидаясь Ксюши, мы пошли в зал, и я рассказала ей утренние приключения. «Ты знаешь, – заявила Ира, – я предчувствовала, что сегодня случится что-нибудь необыкновенное». Я молча улыбнулась, так как не особенно верила ей.

Но вот начался урок. Стаська сел сзади нас с Алькой, так как Левки в это время не было. Позднее он сел в четвертый ряд и тоже сзади нас, чему мы не особенно были рады, ведь приходилось, чтобы взглянуть на него, оборачиваться назад. Первый и второй урок была география, учитель делал опрос, а мы весь урок географии перекидывались с мальчишками записками, хотя легко сказать, а как трудно сделать. Мы видели, что девчонки смотрят на нас и смеются, но было поздно, мы пришли в такое состояние, когда ничто уже не может остановить от глупости, которую вы делаете, зная, что это глупость. Правда, я сама не помню, знала я или нет, что это глупость, – в ту минуту, вообще, я ни о чем не думала, кроме Левки и сознания нашего веселья. На перемене мы немножко пришли в себя и дали друг другу слово покончить со своей дурью.

Уроки летели невообразимо быстро, на немецком был тоже опрос. Левка сидел то сзади, то сбоку, я невольно и как-то боязливо, как будто делала подлость, взглядывала на него. Поймав мой взгляд, он спросил: «Затушить огонь?» – «Слабо!» – «Что?» – «Слабо». Он молча отвернулся, вероятно, не разобрав, но все же потушил свет. Некоторое время мы сидели в приятном полумраке, лицо учительницы, сидящей спиной к свету, было темным пятном. Левка зажег, потушил и опять зажег свет. «Кто там балуется? Попов, сядь вот сюда» – и она указала на первую парту нашего ряда. Левка послушно пересел.

Вечер

Дома, когда уже пришла мама, Мария Федоровна[9] рассказала одну историю, что в каком-то переулке убили в шесть часов утра отца, мать и девочку. На меня мало впечатления произвел этот рассказ, и я час спустя за своим дневником забыла о нем.

Часов в десять в дверь кто-то сильно стукнул. «Спроси», – предупредила я маму, которая пошла открывать. «Кто?» – спросила она. «Мы», – отозвались девочки. Она отперла, Женя и Ляля вошли с суровыми лицами. «Девочки, пойдите к бабушке[10], там мы оставили вам поесть». «Нет», – глухо ответила, не глядя на маму, Ляля. «В чем дело? Что вы такие печальные?» Девочки вошли в свою комнату, я и мама за ними. «Что случилось?» – «Сейчас… Не могу сказать», – проговорила, морщась, Женя, а Ляля облокотилась на стол и заплакала.

«Да в чем же дело? Папу зарезали?» – «Нет». – «Так что же? Говорите же, ведь я волнуюсь», – настаивала мама. «Маму… Шурину… убили!» – «Что? Клебанскую[11]?» – с болью воскликнула мама. «Да, сегодня утром, они еще были в постели. Отцу отрубили голову, мать ранили топором в голову до мозга, а Шура жива, но она, наверно…» – «Да кто же убил?» – «Какой-то сумасшедший, он в их квартире живет. Шура проснулась, закричала, бросилась к окну, но он ударил ее по лицу топором».

Я стояла со спокойным лицом, какое-то непонятное тяжелое чувство охватило меня… и злость, отчаянная безнадежная злость против этого мерзавца охватила меня. О, жизнь! На память мне пришел рассказ Куприна «Искушение». Как ужасно и отвратительно! Надо вникнуть в смысл этого рассказа, представить себе Шуру, ошеломленную при виде раненой матери и борющуюся с ним. Она вчера была у нас, веселая, хорошенькая пятнадцатилетняя девушка с громадными карими глазами и такой мягкой нежной кожей на лице и руках, такая веселая и немножко легкомысленная. Мне припомнился их разговор с Женей. О, ужас! Что с ней теперь, она в больнице.

Меня как-то оскорбляла мысль, что жизнь пойдет после этой трагедии своим чередом. Женя собиралась рисовать, Ляля легла спать, мама – еще что-то, как будто ничего и не было. Как ужасно, как будто ничего не случилось.

Меня охватило острое желание убить этого мерзавца, которого, наверно, не убьют, потому что он сумасшедший. Даже не верится! Сейчас мне кажется такой ничтожной и мелкой моя радость и все события этого дня по сравнению со случившимся, ужасным, но ясным и важным.

<24 октября 1932>

Как скучно, бесконечно скучно и пусто кругом. Левка, по обыкновению, ноль внимания, фунт презрения, глаза его устремлены куда-то мимо. Я несколько раз разговаривала с ним, это меня несказанно смешит и (зачем же врать?) порядком радует, меня как-то приятно волнует, когда его глаза смотрят на меня. На уроках я все время дралась с ребятами и, вообще, очень хорошо себя чувствовала. На немецком Левка немилосердно мне подсказывал, и я, обернувшись к доске, еле сдерживалась от смеха.

Но когда мы пошли в мастерскую, я чувствовала себя уже неважно. Напевая арию Кармен и глядя перед собой, вяло пилила, боль и досада сжимали мое сердце. Я поглядывала то на Иру и Зину, то на Левку, который стоял сегодня к нам лицом, то на других ребят. Перед концом урока ко мне подошла Ксюша, обняла и, чуть улыбаясь, смотрела на меня. Я всматривалась в ее ясные голубые глаза, вся отдавшись какому-то щемящему чувству, и тихо напевала: «Меня не любишь, но люблю я, и берегись любви моей». Ксюша, слегка подняв свои тонкие брови и смеясь, говорила: «Нина, плакать хочется». Я понимала ее, и было нестерпимо приятно чувствовать, что есть человек, который видит, что творится в твоей душе, и пытается помочь.

Когда мы возвращались домой, нас всю дорогу занимал вопрос семейных отношений Ю. И. Так хотелось представить ее в домашней обстановке, да и не только ее, но и Левку. Когда мы расстались с Ирой, Ксюша спросила меня: «Что мы, с ума сошли?» – «Да, совсем сошли, Ксюша. Ах, этот Левка, хоть бы его не было». – «А что он чувствует? Наверно, ничего или же то же, что и мы». – «А он смотрит на нас». – «Разве он так смотрит, как мы?» На одной из перемен в драке с мальчишками Левка ушиб глаз, и мне было нестерпимо жаль видеть, как он, прикрывая его рукой и покраснев, шел в класс. Какая-то нежность зашевелилась в душе при виде этого тоненького, миниатюрного мальчика со светлыми волосами и раздосадованным лицом.

<27 октября 1932>

Ничего особенного в моей школьной жизни нет. Левка? Но у меня, кажется, все кончилось. Сегодня, не раз поймав его взгляд, я ничего не чувствовала, кроме легкого удовольствия, и, заметив его взгляд на других девочках, я почти не обращала внимания. В общем, довольно скучно. На последний урок пришла И. Ю.

с Кирюшей (брат Левки). Ира рассказала мне, что Левка, увидев малыша, бросился к нему, поднял на руки и поцеловал. Я не могла этого видеть, но когда я, уже одевшись, шла из раздевалки, то увидела Левку, стоящего около двери с Кирюшей. И опять назойливый вопрос всплыл в голове: «Каковы их семейные отношения?» По крайней мере, теперь я знаю, что Левка любит Кирюшу.

Вчера я была в театре на «Сверчок на печи». Вначале мне эта вещь не очень понравилась, но оригинальная разведка дополнила картину. В антракте мы с Ирой пошли в фойе, смешиваясь в толпе шелковых и ярких платьев, и на меня неприятное впечатление производили эти тряпки, в которые с таким удовольствием облекались женщины.

<31 октября 1932>

В мастерской, когда учитель рассказывал о частях станка, Левка с Алькой стояли немного позади и немилосердно коверкали названия частей, причем Левка прямо-таки захлебывался от смеха. Когда закончился опрос, все перешли на другую сторону мастерской, а мы с Ирой остались, о чем-то разговаривая. Вдруг меня кто-то дернул за руку, я обернулась и вытаращила глаза от удивления. Передо мной стоял Левка и, указывая куда-то вперед, захлебываясь от смеха, говорил: «Луга, смотри, Алька мотор пустил!» Я чувствовала, что надо что-то ответить, и, взглянув на сияющее восторгом лицо Альки, нравоучительно сказала: «Дурак ты!» – и поскорей отвернулась, чтоб не фыркнуть ему в лицо.

На четвертом уроке было пение. Мы, по обыкновению, сели так, чтоб видеть Левку. Он сидел рядом с пианино и посередине урока начал писать мелом на крышке: «Луга!» И так без конца писал, смотрел на меня и смеялся, показывая симпатичные продолговатые ямочки на щеках. Когда мы шли на четвертый этаж, Левка очутился впереди нас, но подождал, когда мы пройдем, и пошел за нами.

<1 ноября 1932>

У меня сейчас появилось новое желание – это учиться играть на рояле. Недурная, конечно, идея, но невыполнимая. А как хочется! Сегодня вечером Женя и Ляля, придя из института,

играли на пианино и пели, я присоединилась к ним. На душе было как-то легко и спокойно, я люблю такое состояние наплыва необузданной доброты. В общем, меня частенько тревожит мысль о том, что без умения играть я буду плохо чувствовать себя на будущих вечеринках. Да, я совсем не представляю, что буду там делать, и мне немного страшно и любопытно.

Тянет ли меня эта веселая жизнь? Да, тянет определенно. Под звуки фокстрота и тому подобной музыки мне невольно рисуется картина с оживленной молодежью, веселой, но не легкомысленной, и я мечтаю быть душою общества, но только мечтаю. Разум же мне говорит твердо и настойчиво, что я не гожусь, да, не гожусь в эту компанию остроумных людей с живым умом и высокими побуждениями. И, твердо веря в одно, я продолжаю думать о другом и рисовать блестящие перспективы в будущем. Мечты, мечты! О, неужели каждая девочка в моем возрасте мечтает так же? Если да, то последние надежды гибнут; если нет, то, может быть, я еще буду жить, как мне хочется, познаю счастье жизни и моло дости.

<2 ноября 1932>

Только что написала три первых слова, как меня мама позвала пить чай. Оставив дневник на столе, я пошла к ним в комнату; была половина двенадцатого. Я маме весело рассказывала о школе. Мы вместе смеялись и шутили. Вдруг в дверь раздался резкий сильный стук. Бетька неистово залаяла, я быстро вскочила, меня всю передернула нервная судорога, как это иногда бывает при неожиданном шуме. «Кто?» – спросила я, подходя к двери и беря одной рукой Бетьку за шиворот[12].

Грубый мужской голос крикнул: «Дворник». Я поняла, хотя в душе еще шевелилось сомнение, и, отпустив Бетьку, с легким колебанием открыла дверь. В коридоре свет не горел, на лестнице тоже было темно, и я рассмотрела лишь неясные очертания мужской фигуры, в потрепанном пиджаке, в фуражке и с большими усами. Дальше мелькнуло другое мужское лицо. Я, может быть, на секунду только приостановилась, размышляя: «Да или нет?» – но потом отступила в сторону, пропуская мимо себя дворника, двух военных и двух простых красноармейцев.

В это время в дверях комнаты показалась мама. «Кто здесь живет?» – спросил первый мужчина (русский), в новой, с иголочки шинели. «Луговская». – «А Рыбин живет?» – «Да», – мама указала на папу. После ряда формальностей этот же военный вытащил из шинели два листа бумаги, развернул их и, передавая

один папе, а другой маме, проговорил: «Это вам, а это вам». «Сколько вы комнат занимаете?» – спросил он маму. «Да всю квартиру». «Значит, все комнаты ваши?» – «Вестимо, – вмешался дворник, – раз говорят, вся квартира, уж значит, вся ихняя».

В это время военный спрашивал у папы: «Есть ли у вас какая-нибудь переписка?» – «Переписка? Нет, пожалуй, ничего нет», – отвечал папа спокойным голосом со слегка презрительным видом. «Ну, а литература?» – «Вот вся… – Он открыл небольшой желтый шкаф и указал на две нижние полки: – Ищите».

«Ну а мы пока пойдем в следующую комнату», – заметил другой военный, в кожаной рыжей куртке, в такой же фуражке и в широких синих штанах. «Пожалуйста». Он прошел в Женину и Лялину комнату, снял куртку и, положив ее на стол, принялся ворошить книги и тетради. Я стояла в коридоре, грызла ногти и спокойно смотрела, как производился обыск, скрывая в душе злость и ненависть к этим двум людям.

Меня поразила в их лицах поразительная несимпатичность. Первый, в шинели, был блондин с серыми проницательными глазами, тонкими губами, при улыбке слегка растягивающимися вниз, что делало его лицо очень неприятным; второй, в куртке, оказался евреем невысокого роста, с коротко постриженными черными волосами, типично еврейским носом и маленькими карими глазами, цвет лица его был ярко-розовый, а на совсем гладкой коже неприятно обозначалась сбритая борода.

Я прошла в комнату и села на постель, продолжая грызть ногти и стараясь унять дрожь в ногах. Вдруг я услышала голоса девочек, быстро вскочив, я бросилась в коридор: «Девочки пришли». Они со спокойными лицами вошли в помещение и разделись. Мама взглянула на них и сделала многозначительную мину: «Хотите поешьте, хлеб в кухне». Мы прошли туда, и, пока Женя и Ляля ели и пили чай, я рассказывала о происшедшем. Волнение тихонько закралось мне в душу, и дрожь в ногах усилилась. В комнате продолжался обыск. Ляля села и начала рисовать карикатуры, Женя принялась за какую-то книгу, а я, сидя рядом с ней, посматривала то на этого еврейчика, то на дворника, то на Лялю, то на маму, которая сидела на стуле с бледным лицом.

На каждое замечание военного мы отвечали какой-нибудь колкостью и посмеивались. Например, он достал копилку и, улыбаясь, заметил: «Большие, наверное, здесь сбережения?» – «Очень», – поспешила ответить мама. «Можно ножичком вынуть», – выпалила Женя, и в ее голосе чувствовались легкое презрение и насмешка. Или он слазил на шкаф и порылся там в пыльных бумагах. «Запылились, наверное». – «Да, есть немножко.

Надо предупреждать перед приходом». – «Хорошо, в следующий раз предупредим». – «Еще больше подсыпем», – заметила вполголоса мама.

Время шло довольно медленно. Ляля боялась за свой дневник, а я еще больше за свой – как вспомнила, что у меня там написано, так жутко становилось. Когда он перешел в мою комнату, напряжение дошло до последней степени. Мы остались втроем в комнате, дверь была открыта. Проходивший по коридору красноармеец посмотрел на нас и улыбнулся. Вскоре в мою комнату пришел и второй следователь. Папа ходил по коридору. «Всю жизнь провел так», – заметила Женя. «Кто, папа?» – «Да. А интересно так».

Покончив с комнатой, блондин перешел в коридор, он был без фуражки, и я заметила на его голове шапку густых волнистых волос. Он открыл шкаф для белья и расталкивал ногой грязную старую обувь, не нагибаясь. Потом перешел к сундуку и открыл крышку. Содержимое ящика оказалось не особенно чистым, и следователь, обернувшись к маме, сказал: «Переберите, пожалуйста». «Это не входит в мои обязанности», – отрезала мама. И дворник принялся выкладывать грязные валенки. Мы все собрались в коридоре и с усмешкой следили за действиями сыщиков. Но вот обыск окончен, и все собрались в маминой комнате (кроме нас троих). Я ходила мимо открытой двери и из отрывков слов составляла себе понятие о теме разговора.

Перед самым концом, около трех часов, мы, усевшись на кровати, напряженно ждали: возьмут или нет? Минуты проходили долго, в папиной комнате было совсем тихо. И вот послышались шаги, все пятеро гостей вышли в коридор. «До свидания!» – «Заходите почаще». Они засмеялись и хлопнули дверью. «Ура! Все в порядке». Утром в школе мне нестерпимо хотелось рассказать о происшедшем Ире, и только перед концом уроков я забылась.

<5 ноября 1932>

Сегодня нас погнали маршировать по улицам, что меня разозлило донельзя, и еще больше раздражало бессилие, в котором я находилась. Идти по грязной холодной земле, в сыром тусклом свете осеннего дня, постукивать на остановках замерзшими ногами и ругать советскую власть про себя со всеми ее выдумками и хвастовством перед иностранцами… и морщиться от разноголосого и нестройного пения. Я твердо решила не идти на демонстрацию, и это отчасти немного успокаивало мое оскорбленное самолюбие.

<8 ноября 1932>

Поразительное событие. Сейчас ко мне пришла Ира и никак не могла попросить меня, чтобы я рассказала ей о том, что случилось у нас первого октября. О, ребенок! Я отвечала на ее вопросы, пока она не догадалась, и тогда случилось что-то невообразимое – какое-то другое выражение появилось на ее лице. Она боялась произнести это слово, хотя для меня оно не представляло ничего особенного. Да, она была мала еще, чтобы слушать такие вещи.

О, как мне было смешно смотреть на эту девочку, которая считает чем-то неприличным говорить об обыске. Когда хлопнула за ней дверь, я встала на окно и, глядя на тротуар, по которому должна она пройти, со смехом и иронией шептала: «Она еще мала. Она еще совсем маленькая». О бог мой, как могут быть наивны люди, недаром я говорила это ей перед тем, как сказать, что она мала. Ха-ха! Она не ожидала этого и, вероятно, с содроганием думает теперь, что ее папу возьмут за то, что она бывает у меня. У меня! У которой был обыск. Ха-ха!

<12 ноября 1932>

За последнее время все вошло в свою колею, и совсем нечего писать. Вчерашний день отличался только похоронами сталинской жены Аллилуевой. Народу было масса, и немного неприятно становилось при взгляде на веселую, оживленную толпу любопытных, с веселыми лицами толкающихся вперед, чтобы взглянуть на гроб. Мальчишки с криками «Ура!» носились по мостовой, топая ногами.

Я ходила взад и вперед, прислушиваясь к разговору прохожих, и мне удавалось уловить несколько слов, в которых звучали удивление и немного ехидная ирония. Мне как-то не жаль было эту женщину – ведь жена Сталина не может быть маломальски хорошей, тем более что она большевичка. И зачем такой отчет, объявление в газете – это еще больше восстанавливало против нее. Подумаешь, царица какая!

Вообще, странно слышать, что у Сталина есть сын и была жена, я никогда не представляла его личной жизни и их семейных отношений. Вечером, когда пришли Женя и Ляля, я почему-то на всех немилосердно злилась, так действовали на нервы их оживленная болтовня, смех и нескончаемые восхищения катафалком Аллилуевой.

Они начали рассказывать про свой институт, про рисование,

и опять во мне заговорила зависть к ним, возможно, не зависть, а что-то в этом роде. Они умеют и рисовать, и петь, играть на рояле, танцевать, мало ли еще других вещей, которых я не умею и, знаю, никогда не сумею сделать. А чем я хуже их? Остается одно это несчастное писание, от которого ни пользы, ни проку нет, кроме пустой траты времени. А время так нужно на все, за что ни возьмись, нужно время.

<14 ноября 1932>

Вчера вечером я ждала маму, которая пошла в театр. Было уже половина первого, а она не шла. Наши все легли спать. Я поставила на керосинку чайник и, одевшись, влезла на окно и стала смотреть в открытую форточку. На улице было пустынно и тихо, редко когда по промерзшей земле начинали стучать чьи-нибудь ноги. Я прислушивалась к этому стуку, но мамы все не было. Замерзнув, я слезла с окна и села в коридоре на пол, укутавшись в пальто. Бетька была тут же, сидела рядом со мной и внимательно прислушивалась. В уголках ее карих глаз по временам вспыхивал и переливался красный огонек.

Я была почти уверена, что мама не придет, что она попала под трамвай. Я предполагала, что я буду делать без нее и стоит ли вообще жить. Стук парадной двери, гулко раздавшийся на лесенке, заставил меня вздрогнуть. Бетька приподняла уши, понюхала под дверью, и кончик ее опущенного хвоста неуверенно закачался. Я подошла к двери и, приложив ухо к замочной скважине, напряженно слушала. До меня долетели чьи-то тяжелые шаги. Бетти села и тихо заскулила. Это была мама!

<16 ноября 1932>

Вчера мне пришлось сидеть с Левкой почти рядом. Я уже, кажется, писала, что он в своих симпатиях очень непостоянен (как с девочками, так и с мальчиками), и это совершенная правда. Он, к величайшему смеху с нашей стороны, о чем-то заговаривал со мной и, вообще, дурил порядком.

С Алькой тоже творится что-то неладное: придет в класс, сядет где-нибудь на соседней парте и давай болтать с нами о том о сем.

Сегодня я маме сказала про вечеринку, и, как я и думала, она не имеет ничего против и даже, кажется, одобряет. Я рассказала ей все откровенно, что относилось к делу. Сейчас выстирала

платье, в котором пойду, оно у меня единственное, сушу его над керосинкой. Потом, одевшись, пошла сначала к бабушке, чтобы поесть, а там была Ляля, и она, слегка лукаво прищурившись, заметила: «Что, Нина, на вечеринку идешь?» – «Да», – преувеличенно холодно и небрежно ответила я.

К Ире я пошла в половине шестого, она была, конечно, еще дома и, к моей радости, совсем не наряжалась. Проходили минуты, а Ксюша все не шла, я уже начала волноваться, но вскоре она пришла, и мы все тронулись в путь. На улице было приятно прохладно, тускло светили фонари, и я старалась не думать о вечеринке, наполняющей меня каким-то неясным волнением. Ксюша тоже боялась. Но вот мы у цели: подошли к дому Наташи, где должна быть вечеринка. Поднялись на пятый этаж, за нашей дверью чудился шум и смех. Ира позвонила, кто-то открыл дверь, мы вошли в переднюю и огляделись.

В комнатах еще никого не было. «Неужели же мы первые?» Да нет, были еще девочки. В большой комнате, куда нас пригласили, стоял рояль, а по стенам висели многочисленные зеркала. Мы сели, не зная, что делать и о чем говорить. Ксюша очень стеснялась и даже немного раздражала меня этим. К счастью, все скоро пришли, кто-то сел играть на рояле, а мы начали играть в лото, и я удивлялась, как развязно Алька себя вел среди девочек. Скоро пришли И. Ю. и Левка. Я, искоса оглянувшись, увидала обращенное на нас его лицо; он был в модной фуражке с длинным козырьком. «Он опять в галифе», – шепнула мне Ира. «А, Левка! Я бить тебя буду», – закричал Алька, а когда тот разделся и сел рядом со мной, то он спросил Левку: «Что ты не приходил, я ждал тебя…» – «Я мать ждал, она меня одного не пускала».

Через некоторое время к нам подошла И. Ю.: «Бросьте эту игру, давайте бегать и смеяться». Она сложила карточки и погнала нас в другую комнату. Там, встав в круг, мы стали играть в «щетку». Сколько смеха! Я была не очень оживленная, сначала просто не освоилась, потом уже намеренно, а Ксюша все время стояла рядом с Левкой и, встречаясь со мной глазами, смеялась. Потом мы играли в шарады и в фанты, и мне досталось быть оракулом. Пришлось подчиниться, и когда ко мне подводили ребят с вопросом: «Что этому?» – то я старалась ответить с юмором, например: «Отрежет ноги трамвай». Все смеялись.

Сначала я отвечала ничего, потом пошло все хуже и хуже, я уже не знала, что придумать и что отвечать, чувствуя, что невыносимо краснею под шалью. И. Ю. пыталась подсказывать мне, и я так была ей благодарна. Ксюше досталось подойти к кому-либо и поцеловать, а она выбрала меня. Поставили ряд стульев друг против друга, посадили ребят и завязали Ксюше

глаза. «Луга, давай поменяемся», – предложил мне Алька. «Давай». Я посадила его на свое место, накрыла его шалью, а сама села на его место. Вот подошла Ксюша, обняла его сильно и искренне, намереваясь поцеловать. Я с силой потянула ее назад, оттащила его и быстро села на свое место, но она Альку заметила. Боже! Сколько же хохота было! Алька слегка покраснел и, садясь на место, заметил: «А она обнимается».

За чаем мы сидели недалеко от Левки и Альки, и мне не было скучно. Я, как всегда, молча наблюдала за всеми, чувствуя себя вполне хорошо. Ира старалась острить, и эта разговорчивость с ее стороны оставляла во мне какой-то неприятный осадок. Потом были танцы, и как же я жалела, что ничего не умею: ни играть на рояле, ни танцевать. Левка тоже не танцевал и все время стоял около рояля, облокотившись рукой о крышку в артистической позе. Когда опять стали играть в лото, он встал рядом со мной, и я слегка касалась его колен. В общем, мы прекрасно провели время, и хотя я не люблю всякие игры, это не помешало мне хорошо повеселиться.

<17 ноября 1932>

Ужасно сегодня в школе было скучно, совсем неинтересно. Это, кажется, первый день, когда я осталась недовольна школой. Сидя в солнечной комнате, я вдруг вспомнила летнее время, когда еще был перед ее окнами ресторан. Я вспоминала ряд ярких огней вдали и неясные силуэты людей, темный сад с узкими аллеями, молодые, так ласково трепещущие тополя, гирлянду синих и красных огоньков и фонтан, жемчугом разлетающийся в бассейне, в котором так очаровательно отражались фонарики и парочки. Какой-то неведомой, беспечной и заманчивой жизнью веяло на меня из этого сада, когда я стояла в темной комнате у открытого окна и вдыхала теплый ночной воздух с опьяняющим ароматом душистого табака. Тогда мое сердце неспокойно билось и волновалось.

В те дни, когда ночи были так прекрасны, я не раз, сидя в темноте на окне, начинала думать о Левке. Тогда этот образ вызывал во мне жгучую боль и краску на лице, тогда эта миниатюрная фигурка в смешных коротких брючках так ласкала воображение, и кажущиеся громадными голубые глаза переворачивали все внутри. Но это прошло. Ночи стали холодные, глаза поблекли, и сердце оставалось спокойно, когда они смотрели на меня, слегка мерцая. Я теперь равнодушна. И боже мой! Какое счастье было – и что осталось? Поневоле

поверишь, что любовь – великая вещь.

<24 ноября 1932>

Любовь прошла, в душе осталась лишь слабая тень, отголосок этой любви. Меня уже не тянет в школу, и я не раз подумывала остаться дома. Зачем мне теперь школа? Как ни странно, она нужна мне была только для одного, а «это» прошло почти бесследно. Левка производит на меня впечатление только тогда, когда он рядом бегает, смеется, бузит. Но стоит скрыться этой фигурке – и обаяние проходит. Левка между тем вел себя сегодня немного странно, он не раз глядел в нашу сторону, чему-то смеялся и шептался с ребятами. Я все замечала, но так, что он этого не видел, чаще всего обо всем сообщала мне Ира, которая постоянно глядит на него. Ей, кажется, нечем рисковать, она и Зина думают, что он глядит только на меня, я иногда тоже так думаю, но не уверена. Может, с его стороны это просто шутка, насмешливая шутка! Я, как мне кажется, хорошо разыгрывала равнодушие, когда он отпускал всевозможные остроты, чтобы привлечь внимание (кажется, мое). Ира шептала мне: «Он все делает, чтоб ты на него посмотрела». Я или молча кивала головой, или коротко отвечала: «Знаю».

Меня жутко злили двусмысленные улыбки Ксюши, которыми она меня награждала, как-то немного оскорбляло такое легкомысленное отношение к происходящему. Я считала, что нужно было быть как можно серьезней, а главное, равнодушней. Ноль внимание и фунт презрения! Но когда я невольно взглядывала на него, то все время ловила на себе его взгляд, и я чуть улыбалась или просто отводила глаза, но в душе моей все вертелось и клокотало. Сейчас уже не раз мне вспоминается то время, когда в душе моей еще горело пламя, теперь же оно затухло, и лишь тускло тлеют угольки. То недавнее прошлое! Как бы я хотела, чтоб оно вернулось, чтоб с щемящей болью могла вспоминать этот милый образ голубоглазого мальчика, чтоб моя рука могла написать восторженные и пламенные строки.

<25 ноября 1932> Сегодня в школе на втором уроке Гиря[13] начал бросаться хлебом, я в это время рылась в книжках, и вдруг сильный удар в висок заставил меня поднять голову. Мне не было больно, но как-то ошеломляюще подействовал на меня этот удар. Я, кажется, даже слегка выругалась и сердито осмотрела класс. Гиря стоял у доски со слегка поднятой рукой, его наглое лицо не смеялось, а было как будто удивленное. Левка сидел на скамейке около окна и смотрел на меня серьезно и даже с участием. «Гиря,

ты очумел?» – тихо сказал он, и в его словах выражалось все то, что было написано на его лице. Я слегка столкнула большой кусок черного хлеба, который, отскочив от моей головы, упал к ногам, потом спокойно начала рыться в тетрадях. В голове пробегали обрывки мыслей, все внимание мое было устремлено на то, чтобы сохранить внешнее спокойствие, но вместе с оскорбленным чувством в душу мою вливалась искор ка радости и легкого, приятно ласкающего удовольствия от заступничества Левки, от его серьезного взгляда.

На уроках я почти не смотрела на него, лишь мельком или урывками, хотя один раз мы встретились с ним глазами. Раньше я не понимала выражения – *встретились глазами*, но теперь понимаю это чувство: будто сталкиваешься взглядами, и эта встреча легким толчком отдается в сердце. Как-то сильно и всем своим существом чувствуешь, что эта пара темных сероватых глаз смотрит именно на тебя. Когда мы пошли домой, шел сильный снег. Мокрые белые хлопья липли к одежде и кололи лицо. В воздухе стоял сырой туман, сквозь покров снега проглядывали черные следы ног и лужи, наполовину заваленные. Девичье Поле было все белое, лишь кое-где сквозила земля, и тонко вырисовывались на снегу силуэты березок и голые сучья кустов.

<27 ноября 1932>

Зима, зима. Я, кажется, никогда так не наслаждалась зимой. Какая чудесная картина: снег… снег… белые рыхлые кучи стоят по бокам дороги, и светло-желтой дорожкой вьются тротуары. Небо серое и печально-спокойное. И деревья, и дома, и земля – все находится под покровом снега. Идешь, разговариваешь – и вдруг видишь группу деревьев, стоящих как-то особенно неподвижно, с растопыренными ветвями. Толстый белый слой на этих ветвях, сквозь их сетку просвечивают дом, большей частью такой же неподвижно-спокойный, освещенное красноватое окно и эта паутина серебряных переплетающихся нитей деревьев, сквозь которые немного туманно очерчиваются здания. Поглядишь на синеватый сумрак, плавающий кругом в застывшем воздухе, на белую легкую пелену – и как-то особенно щемяще-весело и радостно станет на душе.

Коньки, лыжи. Быстро представляешь себе блестящий, гладкий лед, оживленную толпу, тихое поскрипывание коньков или безразличное белое поле, лес, заваленный снегом, неподвижные деревья и легко скользящие по волнообразной горе тонкие лыжи. Странная вещь – жизнь. Одно время я как-то

свободно отдавала себе отчет во всем, а сейчас при всем желании не могу. Вот понимаешь, что это любовь, а вот это радость, а это еще что-то, но ко всему примешивается какое-то странное чувство, которое таится в самой глубине души. И не показывается вполне, а так, какой-то неясной тенью. И объяснить его я не могу, хотя не раз старалась заглушить его.

<5 декабря 1932>

Боже мой! За последние дни я, наверно, раз десять успела проклясть школу. Ни минуты свободного времени. Как ни обидно, приходится отступать даже от намеченных мною правил и учить биологию. Ну, думаешь, все, а глянь, завтра география, потом математика. А так хочется писать, читать, играть на рояле, да и нередко – помечтать, и ни минуты свободного времени.

Сегодня я проснулась в восемь часов, надо было учить биологию. На улице еще не рассвело, я лежала в легкой полудремоте, уткнувшись в прохладную подушку, и наслаждалась этими минутами покоя, которые так нестерпимо хотелось продлить, чего нельзя было делать. «А может быть, остаться?» – мелькнула в голове предательская мысль. Она росла. Я перебрала в уме уроки, которые должны были быть, и сонно соображала, что мне делать. Один голос настойчиво говорил, что надо идти, что один день уже имеет значение, а другой хотя и слабо, но так соблазнительно шептал: «Останься останься». И в голове рисовались неясные картины покоя, ничегонеделания целый день или, вернее, занятия своими делами.

Некоторое время я была целиком во власти второго голоса, но разум победил желание. Я встала и засела за учебу, но что-то все утро говорило мне, что опроса не будет, и хотя я учила, но как-то спокойно, не волнуясь и не торопясь.

В школе меня также не покидало спокойствие, хотя девочки и твердили, что опрос будет, но я как-то не верила в это и была совершенно спокойна и уверена, что со мной ничего не случится. Предчувствие оправдалось, и я в душе ликовала. Да, что-то случилось с Левкой, он стал такой хулиган, что даже мне, смотрящей на его выходки сквозь розовое покрывало личного расположения, становилось неприятно. Я как-то не смогла привыкнуть к тому, чтобы видеть его в куче хулиганов, не могла равнодушно смотреть, с каким дерзким и нахальным видом обращается он с учителями. Немного огорчало и обижало, что мой кумир начинал падать с той высоты, на которую его поставило мое воображение и благопристойный внешний вид.

<8 декабря 1932>

Вот уже два дня сижу дома. Скучно, вернее, не скучно, а как-то немного странно, как будто чего-то недостает… Прервана связь между прошлым и будущим, образовалась пустота, которую уже не заполнишь, делаю чего-нибудь, а в голове постоянная и раздражающая мысль о школе, даже не мысль, а что-то подсознательное. Читаешь, а где-то в глубине мозга стучит и ползет нескончаемой нитью мысль о школе: «Вот не пошла в школу, а там занимаются, идут объяснения, совершаются события, которые я уже не увижу». В душе шевелится легкое сожаление и досада, и так целый день.

Я не особенно скучаю о школе, но как-то длинно идет время. Вчера я утешала себя тем, что пропускаю школу, мол, из-за болезни, но сегодня температуры у меня уже нет. Вечером, правда, сестры, попробовав мою голову, уверяли, что у меня жар, и я как-то смущалась в их присутствии, чувствовала на себе их взгляды и неожиданно невпопад начинала смеяться, краснела, вскакивала и ходила по комнате, невольно возбуждая их подозрения. «Ты что, влюблена, Нина?» – спрашивала Ляля, я отвечала шуткой, а в душе говорила себе, смеясь: «Ведь совесть моя чиста?» Сама все-таки не знала, чиста ли.

<15 декабря 1932>

Тринадцатого Левки в школе не было, а без него так скучно и пусто, вчера же, когда я входила в класс и по обыкновению взглянула на парту у окна, я с удовольствием увидела его. Что ни говори, но я соскучилась, а может, просто привыкла, глядя на парту у окна, видеть светлый затылок или сияющее хорошенькое лицо с хитрыми серыми глазами или, гуляя по залу, следить за мелькающей фигурой в коротких смешных брюках так, что вдруг не увидеть его в толпе ребят или не услышать его разбитного голоса кажется просто невозможно. На уроке физкультуры мы столкнулись с Зиной так, что я выбила себе зуб и сильно ушибла нос. В начале следующего урока, когда мы уже сидели, я заметила, что около нашей парты вертится Левка, который неуверенно топтался, потом медленно отходил, поглядывая на нас. Наконец он подошел и спросил, показывая черную ручку Иры: «Чья это ручка?» Я не могла удержаться и, уткнувшись в парту, неудержимо смеялась, говоря себе: «Выдал, он себя выдал с ног до головы». В общем, мы с Ирой сделали очень интересный вывод, что Левка после каждой своей выдумки взглядывал на нас

и, разумеется, смеялся.

<21 декабря 1932>

Командир взвода у нас Левка, в его обязанности входит приводить группу на четвертый этаж, построить ее и, отдав ряд приказаний, принимать рапорты командиров отделений. Я была командиром второго отделения, он подошел ко мне и, пока я говорила, смотрел в сторону, потом немного смущенно и растерянно спросил: «А где рапорт? Ты мне должна письменный рапорт». – «А у меня нет, я не успела еще». Он прошел мимо, а я, смеясь, смотрела ему вслед. Когда нам говорили отметки, Левка что-то сказал мне, но я, по обыкновению, не расслышала вопроса (я редко слышу, что говорит мне Левка) и, бессмысленно улыбнувшись, отвернулась. Меня постоянно интересуют его глаза: когда не видишь их, он мальчик как мальчик, но стоит посмотреть ему в глаза на довольно близком расстоянии, и создается такое впечатление, будто они мерцают и там в глубине загораются и гаснут огоньки.

На немецком Левка сидел на первой парте второго ряда, и я зорко следила, стараясь подметить в его поведении что-то особенное, но мне не удалось этого сделать. Я теперь больше, чем всегда, боюсь смотреть на него, скорее, не боюсь, а не могу – стоит мне лишь на минуту взглянуть на него, как тотчас какая-то сила заставляет отворачиваться. Весьма любопытно и забавно – сижу на уроке и верчу глазами то на него, то от него.

<30 декабря 1932>

Вчера распустили нас на каникулы. Желание, которое за последнее время целиком овладело мной, исполнилось. Какое блаженство не думать некоторое время о школе, не рыться в тетрадях, не зубрить древнюю Вавилонию или физические свойства почв по биологии, не откладывать больше писания дневника, за который я не бралась последнюю неделю. До чего приятно ощущение полной свободы: захочешь – будешь рисовать, захочешь – писать или читать, а то, подхватив коньки, можно уехать на каток, куда так манят матово-прозрачный лед и мчащиеся стрелой фигуры. Девятого опять будет вечеринка у И. Ю., мне немного жутко, хотя я и стараюсь прогнать страх, но все же при воспоминании об этом в глубине души начинает что-то шевелиться, слегка покалывая.

Ровно с двадцать четвертого я не бралась за дневник, откладывая все на каникулы. Этот день был странный день, какого я не помню в своей жизни. Во-первых, был день моего рождения, и мне было неприятно больно мое равнодушие, с которым я отнеслась к подаркам, было немного стыдно перед мамой, и все это от того, что И. Ю. вздумала устроить вечеринку. Еще раньше я решила не идти, но, когда появилась возможность сделать это и я очутилась в положении добровольного заточения, чувства мои начали двоиться. К концу занятий мне уже так нестерпимо хотелось на вечеринку, что я еле сдерживала себя, старалась заглушить голос, который уговаривал остаться.

Я решила пойти, но мама оказалась против, и я должна была остаться дома. Весь день я была сама не своя, ничего не делала, ходила по комнатам и чуть не плакала от досады. К вечеру я все-таки вырвалась на несколько минут к Ире, и, когда вернулась домой, настроение было веселое и спокойное – все как рукой сняло. Хотела написать много, но нет уже настроения. Хочется написать какой-нибудь рассказ, но нет сюжета. Порой проносится что-то в голове, но неясное и туманно-бес форменное.

<4 января 1933>

Новый год прошел для меня совершенно обыденно. Как всегда, читала книгу и ждала маму, а около двенадцати часов ночи мы пошли домой. В двенадцать играли «Интернационал» и мощно пел хор. Ох, люблю я эту песню! Вот и начался новый год. Я два раза была на катке, и сейчас сильно болят ноги, по обыкновению, занимаюсь ничегонеделанием и страданием о пропавших зря часах – к сожалению, это у меня бывает всегда, и отделаться трудно.

Так жаль, например, сегодня было покончить со своим воображением, и я не покончила. Читала у бабушки Чехова только потому, что в комнате все время кто-нибудь находится, но и читая, ухитрялась думать о другом. У каждого есть свои недостатки. Например, как хочется сразу и сделать прекрасный рисунок, и написать что-нибудь хорошее, и хорошо играть на рояле, и много читать. Попробуй ухитрись. Мудрено! Кроме того, еще ходьба за картошкой в магазин, занятия немецким языком, поход на каток.

Скоро вечеринка у И. Ю., Ирина не идет, я тоже хотела не пойти, но заговорило вдруг самолюбие, мне стало стыдно, что без нее я не могу, так что решила идти, хотя и страшно. Сегодня записала под свежим впечатлением: «Да, это было давно». За чаем

мы с Женей и Лялей дурили на эту тему, вот мне и засела в голову эта мысль. О Левке я почти не думаю, а думая, представляю его очень смутно и туманно, хотя это еще не значит, что я к нему равнодушна. Хорошие глаза у него и у И. Ю., люблю их и сама не знаю, кого больше.

<10 января 1933>

Вчера около пяти часов вечера я шла с замиранием сердца к Ирине: «Пойдет или не пойдет?» Сумерки незаметно сгушались, но что мне было до этого! Я вошла во двор, поднялась по лестнице, вошла в сени и постучала в дверь. Через минуту мне открыли. «Ирина дома?» – «Дома, дома». Я прошла в столовую. Ирина была одета в белую блузку и красный джемпер, на груди она приколола изящную брошку. Я, уже не сомневаясь, спросила: «Идешь?» – «Иду». Я была счастлива. Мы выскочили из дому и пошли к трамваю. На остановке по требованию мы слезли и пошли по улице к дому И. Ю., и когда подошли, то парадный вход был закрыт. Через некоторое время его открыли, и мы по лестнице поднялись к двери. «Ой, страшно!» Но делать нечего, не стоять же все время на лестнице, я собралась с духом и постучала.

У дверей раздался голос И. Ю., она открыла, и мы вошли в длинный коридор. «Раздевайтесь, девочки», – сказала она, после чего провела нас в свою комнату. Какое-то время чувствовалась неловкость, и общий разговор как-то не вязался, но вскоре пришли другие девочки, с ними же появился откуда-то Левка, впрочем, он вскоре скрылся, но нам стало уже как-то веселее (на меня удручающее впечатление произвела квартира И. Ю., может быть потому, что вокруг шныряли чужие люди, или же виной была скука, которая сначала овладела всеми нами). Потом мы перешли в столовую, а оттуда в небольшую комнату, где я, Ира и кто-то еще сели на диван. Постепенно мы разыгрались, а когда стали пить чай, настроение почти у всех было приподнятое и веселое, все ели с аппетитом. Перед уходом И. Ю. собрала нас в комнате и начала разговаривать о школе и о наших ребятах. Я, почти не моргая, смотрела в голубые глаза И. Ю. и внимательно слушала ее, а потом вышла на улицу с чувством тихого счастья.

<18 января 1933>

Перед концом каникул, дня за два до начала занятий, мною

овладело вдруг ужасное отвращение к учебе и школе. Так не хотелось идти туда, заниматься зубрежкой уроков, в то время как эти часы можно употребить на чтение интересных книг, которыми я за каникулы начала увлекаться. Теперь придется отрываться от этой жизни и заменить ее скучными уроками, в ближайшее время не дающими никаких результатов. Но это было недолго.

Последнее время я живу, придерживаясь двух правил, до того улучшающих мое положение, что я нередко просто бываю довольна. Первое правило образовалось из пословицы, что «ученье горько, но плоды его сладки». Когда мне становится особенно невыносимо, моментально в голове где-то в глубине промелькнет эта фраза, и я успокаиваюсь. Другое правило заключается в том, что я живу сейчас будущим, например захочется вдруг есть, сразу говоришь себе: «Ничего, в будущем будет лучше». Или нестерпимо захочется пить так, что начинает жечь в желудке, но, подавляя желание, скажешь себе: «Скоро появится много конфет, тогда можно будет пить сколько хочешь чаю». Иногда мне так хочется читать, а надо делать уроки. Как быть? В душе поднимается досада, но ничего, говоришь себе: «Ученье горько, но плоды его сладки, настанет время, когда можно будет делать только то, что самой хочется, не думая о школе».

В школу я пошла в новом платье. Сначала было неприятно, но я заставила себя думать по-иному и, отбросив предрассудки в сторону, не обращала ни на что внимания. Оба эти дня, которые я проучилась, в школе был невыносимый холод, такой, что ручка вываливается из посиневших рук и по телу пробегает мелкая лихорадочная дрожь. Левка постригся и стал такой смешной и нехороший. Глядя на него, я невольно вспоминала Женю и Лялю года три-четыре тому назад, когда они, смеясь, говорили мне, что ребята раз в месяц у них в школе становились страшными из-за того, что стриглись. Левка страшно изменился: обычно волнистая голова его и густо поросший затылок были теперь коротко пострижены, затылок обострился, а уши как будто выросли, и от этого лицо его как будто переменилось. Несмотря на холод, мне было очень весело эти дни, тем более что мы на третьем или на втором уроке надевали пальто и немного согревались, уткнувшись в воротник и прижавшись друг к другу.

А вчера нас распустили после четвертого урока. На улице еще не совсем стемнело, были голубые зимние сумерки. Ясное небо наверху было светло-синее и только к горизонту как-то серело, как будто от неподвижных туч или застывших клубов дыма, и на фоне этой серой пелены, как извержение вулкана, ярко выделялась темная клубообразная громадина туча, неподвижно

застывшая в морозном воздухе. Фонари светлыми чистыми пятнами тянулись прямой линией вдоль улицы. Я с Ирой шла впереди, а Ксюша плелась сзади. Ира что-то трещала мне всю дорогу, и мне оставалось всю дорогу только молча удивляться, как это она ухитряется болтать, не переставая, – и ведь это каждый день. Меня злила и раздражала глупая болтовня то о каких-то платьях, то о разведенных муже и жене – в общем, на любую тему, а ей всего двенадцать лет, что же будет в четырнадцать? Остается только пожимать плечами.

Вечер

Часов в девять – в начале десятого пришла мама и принесла мою шубу. Я одела ее и просидела так с час, пока папа о чем-то разглагольствовал, мама тоже говорила. Я молча слушала, так как вопросы задавать и вообще говорить что-нибудь я не хотела. Несколько раз (еще раньше) я начинала возражать, и папа часто осекал меня, заставляя помолчать. Уже позднее перед тем, как что-либо вставить, я долго думала, а когда вдруг забывалась и опять попадалась на удочку, уже не злилась на папу, а только смеялась в душе над собой и злорадно говорила: «А, попалась! Ну, в другой раз будешь умнее». Все-таки какая трудная штука – умение владеть собой, и я давно борюсь с собой, но достигла совсем незначительных результатов, правда, что умею – так это молчать. Но то, что обычно меня мучает, я никому не говорю. С какой стати? У некоторых людей дурная привычка выбалтывать все, что знаешь.

<19 января 1933>

Вчера или позавчера на уроке обществоведения, когда учитель говорил что-то о кадрах и о том, что сейчас открываются новые институты, я начала подумывать, что неплохо было бы спросить его, а почему старые институты сейчас целиком распускаются. Пока я только собиралась спросить и сообщила об этом Ирине я оставалась совершенно спокойной, но когда я уже решила, что спрошу обязательно, сердце так сильно забилось… Я сидела и ждала, когда кончит учитель говорить, и твердила своему сердцу: «Ну, замолчи же». Но оно не только не замолкало, а, наоборот, начинало биться еще сильнее… Конечно, после моего вопроса учитель меня засыпал, а возражать мне уже совсем не хотелось.

<21 января 1933>

Двадцать семь градусов ниже нуля. На окнах появились узоры и пушистый иней. Я собралась идти на урок к немке. Оделась и вышла на лесенку, в голове вертелись обрывки немецких фраз из стихотворений, которые весь вечер и утро зубрила. Спускаясь по ступенькам, я мысленно твердила их себе, напрягая всю память. Я повернула на лестницу первого этажа и вдруг остановилась. Немецкие слова мигом выскочили. Внизу, куда только слабо достигал дневной свет из окна и где царил легкий полумрак, я различила белые клубы пара, медленно поднимающиеся с пола и ползущие вверх по ступеням лестницы. Слышно было бульканье и как будто журчание. «Ах, да это труба лопнула», – догадалась вдруг я и пошла дальше. В углублении между ступенями и дверью, ведущей на улицу, образовалась лужа теплой воды, через которую было бы трудно пройти, если б не батарея, которая лежала на полу, образуя мостик, и трубы которой обледенели. Кое-как открыв примерзшую дверь, я вышла на улицу.

Светло-розовое матовое небо было ясно; всюду, куда ни глянь, был размыт розовый свет; воздух был густо пропитан им, придавая всем предметам какую-то туманную неясность, заволакивая их розовой пленкой. Лицо охватил двадцатисемиградусный мороз и приятным холодком прошел по телу. Твердый снег звонко скрипел под ногами. Я спрятала руки в рукава и бодро зашагала по улице, опять начиная бормотать стихотворение. Мороз сильно хватал за нос, перехватывая дыхание. Вот и Ирин дом (я всегда заходила за ней).

Я вошла во двор и закрыла за собой калитку. Справа возвышалась глухая стена большого серого дома; слева стоял маленький одноэтажный домик с замороженными окнами. Солнце, поднимающееся розовым шаром, неясно освещало блестящий снег. Я вошла в теплые сени и, дернув за закрытую дверь, три раза сильно ударила по обитой кожей двери. Некоторое время никто не подходил, но вот послышались шаги. Отперла Луша[14]. «Дома Ира?» – «Дома». Я пошла по коридору. «Нина?» – крикнула из комнаты Ирина мама. «Да», – отозвалась я и, войдя в комнату, громко воскликнула: «Здравствуйте». Ира сидела за столом боком ко мне и что-то внимательно перебирала. «Что это ты делаешь?» Она не отвечала. Аленушка[15] молча покосилась на меня своими большими голубыми глазами.

«Слушай, Нина, – начала О. А.[16], – Ирина сегодня не пойдет… У нас арестовали папу…» Голос ее прервался, и некоторое время мы все молчали. Я тихо протянула: «Ааа…» – и стояла в нерешительности, не зная, что делать дальше. «Никому не говори и не объясняй учительнице немецкого языка, почему не пришла Ира». «Хорошо, хорошо», – твердо и уверенно ответила я.

Я знала, что от меня никто ничего не узнает. Мысли вихрем носились у меня в голове. Эта безмолвно сидящая семья поразила меня: молчаливая Аленушка, Ирина и плачущая мать. «Пускай страдает и она, я ведь тоже страдала». Мне вспомнилось и то, что было с нами четыре года назад, у нас тоже отняли папу. Я тогда проснулась утром, ничего не зная. Бабушка вошла и спросила: «Пойдешь в школу? Папу арестовали». – «Нет». Когда она ушла, я сначала заплакала. В душе вдруг поднялась вся злость и досада на того, кто смел отнять папу.

И теперь у Иры отняли его, нарушили счастье и спокойствие, грубо разбили весь образ жизни, все привычки, все, что дорого сердцу. Мы тоже хорошо жили до папиного ареста, но… потом как с неба свалились в омут лишений и волнений. И они, евшие по утрам сливочное масло, пившие кофе, потеряют все, если вдруг его сошлют куда-нибудь в Усть-Сысольск, в маленький северный городишко… Ира будет учиться и копить в душе злобу на них. О, сволочи! Мерзавцы! Как смеете вы делать это! Ходила по комнате, скрежетала зубами и, иногда останавливаясь, шептала: «А мать Иры не будет работать». Моя мама работала, а она не будет и за какие-нибудь года три постареет на десять лет, но работать не сможет. А Ира?.. Неужели после трехгодовой разлуки она разлюбит отца? Я разлюбила, долгое время не могла освоиться с ним и даже чуть ли не называла его на «вы».

О, большевики, большевики! До чего вы дошли, что вы делаете? Вчера И. Ю. делала нашей группе доклад о Ленине и коснулась, конечно, нашего строительства. Как мне больно было слышать это бессовестное вранье из уст боготворимой женщины. Пусть врет учитель обществоведения, но она со своей манерой искренне увлекаться – и так врать. И кому врать? Детям, которые не верят, которые про себя молча улыбаются и говорят: «Врешь, врешь!» Сегодня мне снился отвратительный сон. Полностью я его не помню, но один отрывок сильно запомнился мне: еще во сне казалось мне, что это что-то знакомое, но что – я не могла вспомнить. Мужчина, обнаженный до пояса, кажется с красивым перекошенным от боли лицом, борется с кем-то, и тот, второй, обхватив его руками и положив на грудь ружье, так надавливает, что раздается треск костей. Я была охвачена каким-то непоборимым отвращением…

<21 января 1933>

Главное место во всех происшествиях занимает все-таки Левка. Я не преследую его своим взглядом, как раньше, а лишь

втихомолку слежу за ним так, чтобы никто не заметил. Три дня назад мне показалось, что Левка бегает за Зиной, со стороны это может показаться смешным, ведь никто не поверит в серьезность происходящего, но это для меня серьезно. Меня неприятно кольнуло от подобного вывода, но что же делать? Я ругала себя, удивлялась, как я еще могу надеяться на то, что Левка ко мне неравнодушен, когда все ясно, но все-таки надеялась. Всегда влюбленному во всем мерещится что-то необыкновенное, и каждый поступок любимого вызывает у него надежду. Это странно, глупо, но что поделаешь?

На одном из уроков Зина сильно приставала к Антипке, позднее Будуля посмотрел на нее, засмеялся и выпалил: «То к Левке приставала, теперь к нему». Оба засмеялись, а Зина немного смутилась, хотя и ответила какой-то шуткой. Я же была рада, а чему – сама не знала, но это приятно поразило меня. А вчера мне еще раз суждено было удивиться: на пятом и шестом уроках Левка сел перед нами рядом с Антипкой, я старалась быть совершенно равнодушной и глядеть на его спину как и на спины других ребят, но это мне плохо удавалось. В конце уроков Левка собирал у всех талоны на завтрак, я также протянула ему свой. Он как-то замешкался, вытаскивая список, а Будуля повернулся к нему и лукаво спросил: «Что ж ты у Лугочки не берешь?» В общем, какая-то каша опять заваривается, и это делает школу интересней.

<6 февраля 1933>

В классе мой интерес давно уже вызывает Димка, маленький мальчик лет двенадцати, хотя по развитию можно дать и больше, с черными, тщательно расчесанными на косой пробор и приглаженными волосами, с дугообразными бровями, небольшими черными глазами и тонкими, почти всегда презрительно улыбающимися губами. Я следила за ним обычно исподтишка, в какие-либо отношения не входила, так как он с девчонками обращался особенно презрительно. Я давно заметила, что он развитой и очень умный парень, и это кололо мое самолюбие, в общем, я считала его за чудака, но на последнем собрании он высказался до того удачно, что просто удивил меня. А сейчас порылась в дневнике, и до того мне теперь кажется глупым то, что раньше всю меня захватывало с головой. И почему так быстро летит время? Это просто непостижимо.

<13 февраля 1933>

О, время, время! Что бы я дала, лишь бы оно замедлило свой бег. Иногда, лежа еще в постели, смотришь на черную стрелку часов, безжалостно поворачивающуюся, и думаешь: «Чтобы ей остановиться». Но нет, время идет, идет без остановок, без перебоя… Месяц или два тому назад, когда я была очень неравнодушна к Левке я не замечала бега стрелки. Я носилась в каком-то вихре без времени и без часов, дни проносились стремительно, и от них оставалось лишь приятное смутное воспоминание.

А теперь я вошла в обычную колею, и чертовски досадно, что уже не могу с трепетом душевным встречаться с Левкой и по целым урокам смотреть на него не сводя глаз. Хотя я, правда, иногда посматриваю туда, но почему-то не могу долго смотреть, и только он повернет голову в мою сторону – сразу отворачиваюсь. В общем, у меня сейчас довольно сносное душевное состояние, я даже, кажется, начинаю иногда увлекаться занятиями. Не преувеличивая, у меня сейчас нет ни одной свободной минуты, учусь и учусь, редко читаю и совершенно не гуляю. Я стала в последнее время до смешного равнодушной ко всему окружающему.

Иногда мне очень хочется пойти куда-нибудь в бесконечное снежное поле, затеряться среди белых легких снежинок и гулять, наслаждаться природой. Но времени нет. Последнее время я даже перестала надеяться на будущее, я ни на что не надеюсь и решительно ни о чем не думаю, лишь иногда мечтаю. Это совсем особенное чувство: я переношусь совсем в другой мир, конечно в будущее, но без надежды, как будто начинаю читать книгу. Раньше, когда я была меньше, я называла это «игрой», а теперь, кажется, никак не называю.

<15 февраля 1933>

Сейчас я читаю биографию Лермонтова… Вообще, я, прочитывая биографию какого-либо писателя, ищу в первую очередь чего-нибудь одинакового между ним и мной. Это желание появилось у меня уже довольно давно, и, когда я нахожу общие черты (что бывает весьма редко), бываю всегда как-то рада, как будто это дает мне большие надежды стать писателем. Но все-таки я не умею писать. Разве это талант? Когда не могу как следует написать хотя бы одной страницы и приходится сидеть над каждой фразой и соображать, как написать ее. С этим далеко не уедешь, иногда думаешь, что с годами все это придет, плюс еще и то, что я начала писать с малых лет, хотя Лермонтов начал

писать с тринадцати лет, причем сразу же писал очень хорошо.

Ну в общем, о будущем загадывать трудно, ведь раньше, с год тому назад, сомнение в себе сильно отражалось у меня в душе, а теперь как будто чувства притупились, и всякие неприятности действуют на меня в два, а то и в три раза меньше прежнего, отчасти это и хорошо… Странно, даже дневник я пишу как будто не для себя, а для кого-то другого, и нередко боюсь написать чего-нибудь не так. Я стараюсь как-то задавить это чувство, но не тут-то было, чувства, вообще, очень непослушная штука: ты говоришь им одно, а они тебе совсем другое.

В школе особенных новостей нет. Я продолжаю следить за Левкой, ничего, конечно, нет особенного и необычного. Сегодня мне пришла в голову интересная мысль: насколько различны мои отношения с Левкой и с Алькой. Алька мой друг, а Левка… как сказать, любовник, что ли? Это, конечно, не точно, но суть в том, что к двум ребятам у меня совершенно разное отношение. Вчера я стояла на перемене у батареи одна, из класса вышел Левка и, проходя мимо, посмотрел на меня и спросил: «Что, Луга, тепло?» Я ответила: «Тепло». А когда он отошел, не без удивления и радости подумала, что по отношению к нему попала в совершенно такое же положение, и в этом нет ничего особенного, но… И как скверно, что Левка младше меня, хотя это, конечно, глупое самолюбие, но на самом деле – не обидно ли? Равнять этого мальчика со мной, ведь я уже не совсем ребенок.

<24 февраля 1933>

Много я за это время передумала и перечувствовала. Иногда ужасно хотелось все это записать, но паршивое время… ни одной минуты. А что теперь писать! Я становлюсь все замкнутей и молчаливей. Хорошо это или плохо? Иногда я начинаю искать различные доводы, опровергаю их, опять нахожу, чтобы сделать себе все ясным и понятным, и все-таки перевес остается на последнем моем решении – быть как можно более скрытной. Я уже не смеюсь и не шучу с родными и постепенно удаляюсь от них.

Но у меня, кажется, нет и внутреннего мира, в котором я могла что-либо созерцать. Я живу как во сне – спокойно, тихо, без всяких событий. Событий нет, конечно, никаких, но есть внутренние переживания, и подчас довольно сильные. Что такое внутренний мир? Возможно, я и ошибаюсь, говоря, что у меня его нет, но не все ли равно – внешний мир или мои переживания? Странная человеческая душа – она способна надеяться в любом

положении. Кажется, уже все кончено, но где-то робко начинает шевелиться надежда, постепенно увеличиваясь, нарастая и в конце концов захватывая все сердце. В последнее время мне несколько раз пришлось испытать на себе это умерщвление и возрождение надежд, а как мучительно и больно чувствовать, что надежда (особенно долго лелеянная) вдруг пропадает и в сердце становится как-то пусто и тяжело.

Первый случай произошел в школе по отношению к Левке – меня вдруг оставила всякая надежда, что он меня любит (как странно и смешно произносить это слово). Случилось это на уроке рисования, я, вероятно, показалась смешной мальчишкам, они заржали, потом начали кричать «дура», и мне даже показалось, что Левка кричит «косая». Я вспыхнула и, продолжая спокойно рисовать, почувствовала вдруг, как что-то рушится в душе моей и, смешиваясь с оскорблением, исчезает надежда. Как неприятны такие минуты… Теперь я, конечно, нашла ряд доводов и восстановила мир в душе, хотя, рассуждая здраво, все это самообман. Но самое сильное разочарование, постигшее меня в эти дни, – так это конец веры в свой литературный талант, веры, которую я грела в своем сердце в течение нескольких лет. Я бездарна, так что теперь в душе нет ничего, кроме непередаваемой тоски и пустоты. Эти обстоятельства заставляют меня не раз шептать с горечью: «Жизнь, если взглянешь с холодным вниманием кругом, такая пустая и глупая шутка».

<12 марта 1933>

Веет весной. В каждом порыве ветра чувствуется запах весны. В каждой струе воздуха есть что-то новое, свежее и молодое. Весна… Незаметно и неслышно подкрадывается она, и лишь изредка долетает ее теплое дыхание. Вчера таяло, солнце уже довольно сильно припекает, и на мостовой образуются мокрые черные полосы. Весна проникла мне в душу, и так нестерпимо тянет куда-то «туда», ближе к ней, в лес и поля.

В прошлом году в конце апреля я ходила с Лялей на Воробьевы горы. О, как я наслаждалась весной. Шла и как будто старалась захватить как можно больше весеннего воздуха в свои легкие; глядела на светлое голубое небо с легкими весенними облаками, на холодную веселую темную речку, по которой проносились тонкие льдинки, на чуть зеленеющие деревья, и в каждом звуке ударяющейся о берег льдины, в каждом крике веселых воробьев, в каждом возгласе ребят, копошившихся на том берегу, в каждом дуновении ветра мне чудились тысячеголосные

крики: «Весна!» Природа ликовала и приветствовала приход долгожданной красавицы. И я стремилась в чащу кустов, на высокие крутизны, в сырые болота, чтобы слиться в одно целое с природой и присоединиться к громкому крику… И помню, когда мы возвращались домой в десятом часу вечера и я с восторгом вспоминала прошедший день, к моему наслаждению присоединялось еще какое-то чувство, от которого я старалась освободиться, которое не понимала и не могла высказать… и которое давило на меня. Чувство какой-то неудовлетворенности, тоски о чем-то.

В прошлый выходной я перебирала свои бумаги и наткнулась на рукопись о моей прогулке на Воробьевых горах и другие. И опять вдруг так нестерпимо захотелось писать. Неужели же это все самообман? Неужели у меня нет таланта? Неужели каждый в моем возрасте может при желании написать кучу рукописей разного содержания и довольно ничего? Недавно задумала написать вещь под названием «В погоне за счастьем», в голове нет ничего определенного, и я не стараюсь сейчас вывести яркие образы, нарочно оставляю все в тумане до каникул. Иногда в голове под каким-либо впечатлением проносятся быстрые и яркие, как молния, сюжеты, но нет возможности записать их вовремя. А день спустя они тают, тускнеют и бесследно пропадают, как облака в голубом небе.

<15 марта 1933>

Сегодня не пошла ни в школу, ни на немецкий язык, потому что плохо себя чувствую, а вернее, такое дурацкое настроение, что ничего не хочется делать, даже за чтение не принималась. Недавно Женя и Ляля посоветовали мне записывать книги, которые я прочитываю. Довольно интересная идея, и главное – это, вероятно, развивает, так как я постараюсь книги критиковать.

Димка начинает меня порядком злить. Смешной парень! Если бы он был немного попроще, немного более простым мальчиком, ведь на него нельзя смотреть без смеха: маленький джентльмен (он любит употреблять это слово), всегда в чистом, аккуратном костюме, с презрительной и немного надменной улыбкой, с умными, часто насмешливыми темно-карими глазами. И главное, с большим запасом знаний и сообразительной головой. Дурачится ли он? Или это у него совершенно естественно? Вот что меня занимает, ведь вместе со смешным в нем есть и хорошие черты. Иногда он так по-детски и заразительно хохочет, что, глядя на него, остается только удивляться.

Вчера он принес в школу свою стенную газету, в которой высмеивал некоторых ребят, – газета получилась очень смешной и веселой. Когда все сбежались читать ее и кругом слышался смех, он прохаживался рядом, изредка косясь на свое произведение. К несчастью, я все чаще и чаще начинаю думать, что я – простая смертная и виной этому отчасти наш Дима, ведь именно в нем я увидела не совсем обыкновенного мальчишку и ярче поняла себя. Однако трудно примириться с тем, что я обыкновенная, как-то досадно думать, что у каждого есть такой же сложный внутренний мир, что каждый так же глубоко переживает, как и я. В общем, это скорее всего, но все же, читая про подростков в книгах, я ни разу не встречала моих черт, хотя у взрослых я и встречаю – это придает мне некоторую гордость.

<24 марта 1933>

Вот уж прошла половина каникул… Скучно, глупо и неинтересно. Что такое жизнь? Хожу с каким-то неприятным осадком в душе и через каждые пять минут спрашиваю: «Что такое жизнь?» Есть ответ, ответ достаточно верный и простой: «Жизнь – это пустая и глупая шутка». Легко сказать, но как-то не хочется верить, что на самом деле жизнь – это шутка, да вдобавок глупая. Вчера вечером я шла по улице, смотрела в голубые сумерки, прислушивалась, как на бульваре крикливые няньки громко окликали своих детей, смотрела на высокие большие дома, на темные мелькающие фигуры людей и думала: «Ну что такое жизнь? Ходить в лавки, кричать на детей? Зачем построены эти дома, эта мостовая, так хорошо вымощенная?» Сегодня утром ходила к Ксюшке, спрашивала, пойдет ли она со мной в театр, а сама думала с какой-то щемящей тоской: «Ну зачем это все, и театр, и все, все?.. Что такое жизнь?»

Женя и Ляля сидели в своей комнате и пели, я долго ходила по коридору, слушая их, потом вошла в комнату и села у окна. Из открытой форточки до меня иногда долетал свежий ветер, комната была освещена солнцем, и на Жениной спине колыхались темные трепетные тени цветов. Я стояла, слушала, смотрела на коричневый джемпер Жени, на легкие тени и думала уже как-то с досадой – что такое жизнь? Недавно пришла из театра, где был концерт и выступали ученики музыкальной школы. Вначале я слушала внимательно и немного завидовала всем этим девочкам и мальчикам, но потом… Потом устала, слушать стала рассеянно. Как удручает меня всякая забота о школе, хочется совершенно забыться и провести хоть несколько

дней, ничего не делая и ни о чем не думая. Усталость это, что ли, сказывается? Не знаю.

А тут папе отказали в паспорте[17]. Какая буря шумела у меня в душе! Я не знала, что делать. Злость, бессильная злость наполнила меня. Я начинала плакать. Бегала по комнате, ругалась, *приходила к решению, что надо убивать сволочей*. Как это смешно звучит, но это не шутка. Несколько дней я подолгу мечтала, лежа в постели, о том, *как я убью его. Его обещания – диктатора, мерзавца и сволочи, подлого грузина, калечащего Русь.* Как? *Великая Русь и великий русский народ всецело попали в руки какого-то подлеца.* Возможно ли это, чтобы Русь, которая столько столетий боролась за свободу, которая наконец добилась ее, – эта Русь *вдруг закабалила себя?* Я в бешенстве сжимала кулаки. Убить его *как можно скорее! Отомстить за себя и за отца.*

В тот день, когда решалась папина судьба, я не могла сидеть дома, оделась и вышла на улицу. Было сыро, холодный туман стелился по темным улицам, иногда прорывались отдельные клочки серой живой пелены, и на минуту можно было отчетливо различать предметы, а потом опять все заволакивалось туманом. В его сырой мгле то и дело скользили неясные человеческие серые фигуры и пропадали во тьме. Я с омерзением смотрела в серый тусклый туман, и тогда мне впервые пришла в голову мысль: «Что такое жизнь?» И как судьба жестоко смеется и издевается над людьми.

<29 марта 1933>

Конец. Папы нет. Он ушел сегодня утром. Куда? Это страшно писать: стены увидят и донесут. Но его нет больше с нами. Не все ли равно, куда он пошел?[18] Папа уехал – больной, слепой на один глаз, – а я здесь сижу и пишу дневник.

Вечер

Событий произошло как будто совсем немного, но все это пролетело с такой невероятной быстротой, так ярко и живо, что кажется, будто их было очень много. Как вихрь… неудержимым потоком хлынули в меня новые мысли, новые чувства и переживания. Если я начну описывать все по порядку, то не получится того полного и верного впечатления, которое бы мне хотелось дать. Очень плохо, что я уже остываю и что то чувство чего-то высшего, не обыденного, которое доставляло мне такие странные минуты мучительной тоски, уже пропадает. Я чувствую, что опять въезжаю в обыкновенную жизненную колею. Фи, как становится все гадко и глупо!

Я жажду переживаний, сильных нравственных переживаний, от которых в душе может происходить какаято работа, какая-то борьба. Я начинаю жить нравственно. Эти душевные переживания я черпаю во многих и разнообразных вещах: в музыке, в красоте как природы, так и людей, в жизни, но не в той, которой я живу, да и многие другие, а в деятельной, полной смысла, борьбы и страданий жизни, опять-таки основанных на переживаниях. Таким образом создается неразрешимый круговорот, может быть, тот круг событий и переживаний и называют жизненным водоворотом. Возможно, я еще не начинала жить. Если детство лишь приятное предисловие к жизни, то я могу надеяться на будущее, в котором для моей ненасытной на переживания душе найдется много пищи. Но я, кажется, совсем заболталась, и все это вздор. Человеку свойственно надеяться. И я считаю, что это правда, нет человека, который бы жил, не надеясь, ведь надежда не покидает нас даже в самые безнадежные минуты жизни.

Часов в пять, когда я сидела у бабушки и читала книгу, пришел папа. Я, как и всегда за последнее время, посмотрела вопросительно на него: «Ну, что?» Дальше этого вопроса я редко заходила. Да и зачем? За последние дни я сильно полюбила папу. Раньше ведь я немного питала к нему чувств, но теперь, после того как ему отказали в паспорте, то есть, другими словами, велели убраться в десятидневный срок из Москвы, совсем другое дело. Я люблю его, когда он революционер, люблю его человеком идеи, человеком дела, человеком, стойко держащимся своих взглядов, не променявшим их ни на какие блага жизни. За последнее время он сильно осунулся, пожелтел, морщины стали резче вырисовываться на хмуром суровом лице.

<30 марта 1933>

Вчера не хватило терпения написать все, что я хотела, скажу только вкратце, что папа пошел в милицию узнать, позволят ли ему по бюллетеню от врача пробыть в Москве лишних два дня. Мы с нетерпением ждали его возвращения. Прошел час, его не было, потом еще полчаса. Между нами был уговор, что в случае отказа он пойдет прямо к маме на работу. Тетя смотрела в окно, взволнованно ходила, что-то говорила, а бабушка лежала и лишь иногда посматривала на часы. Думать было нечего уже о его возвращении, но… человеку свойственно надеяться, и я надеялась, как надеялись и остальные. Около восьми часов кто-то открыл дверь, я подняла голову от книги и стала прислушиваться. Он или не он? На этот раз надежда не обманула, и я опять

принялась за чтение, чутко прислушиваясь к его шагам. Но когда дверь не спеша отворилась, щеки мои горели, и я чувствовала, что медленно краснею, радуясь этой незначительной отсрочке на два дня.

Папа сел, весело улыбаясь, и начались незначительные расспросы. «Наконец-то пришли, – говорила бабушка, – а я думала, что у меня сердце разорвется. Раньше хоть заснуть могла, а теперь…» Голос ее дрогнул, задрожал и оборвался на высоких нотах. Она заплакала и с судорожными рыданиями упала на постель. Папа начал оправдываться, а Соня[19] достала какие-то капли. Я взглянула на отца, лицо его не было мрачно, и на нем остановилась как будто немного растерянная улыбка. Он был смущен, и, как мне показалось, в глазах его блеснуло что-то похожее на слезы. Я сказала ему что-то в осуждение и сама удивилась своему звонкому голосу, слегка неуверенно прерывавшемуся на каждом слове, как будто мне что-то мешало в горле и приходилось с усилием выдавливать слова.

Бабушка скоро успокоилась. А я сидела, нагнувшись над книгой, и думала: «Что за человек! Это ангел, а не женщина. Какая же она была в молодости, если сейчас, в шестьдесят семь лет, имеет такое чудесное сердце. Обычно люди к старости приобретают привычку ворчать, вздыхать, вечно жаловаться, но от нее я за всю вместе с ней прожитую жизнь не слыхала ничего подобного. Как я, да и другие мало ценили ее раньше, да и сейчас мало ценят!» Я испытывала к бабушке сильную любовь и нежность, смешанную с жалостью <…>

Сейчас я читаю «Анну Каренину», и какое сильное впечатление производит на меня эта вещь. Истинно Толстой был художником, если мог так живо и мастерски, а главное, верно описывать людей и их переживания. Года два-три назад я начала читать «Анну Каренину» и, не дочитав, бросила, я тогда еще не понимала того, что так ясно и понятно мне сейчас, некоторые места в ней я даже перечитываю по два – по три раза.

<31 марта 1933>

Завтра в школу. Чувствую, как будет трудно учиться эту последнюю четверть, хочется впасть в усыпление, чтобы не отвлекаться, ходить как заведенная машина, делать уроки и хоть на время не желать ничего. И кажется, так скоро пронесутся эти два месяца, а там!.. Там открывается широкая и счастливая жизнь, полностью забудется школа и ученье.

Эх! Надо блестяще выдержать эту последнюю решительную

борьбу, и сейчас все кажется таким легким и даже интересным. Но я чувствую, что пройдут первые две недели, наступит весна – и так невыносимо потянет в поле, куда-нибудь дальше от нее, обыденной жизни. В-ва! Интересно, как будет после начала занятий. Я уже составила в голове план проведения последней четверти. Неужели нет у меня настолько силы воли, чтобы прожить каких-нибудь два месяца так, как я должна, как говорит мне мой рассудок? Надо заставить себя руководить желаниями.

Сегодня папа опять пойдет в милицию – что-то ему скажут там? С ним собирались идти Соня и Носкова очень симпатичная простая женщина, хорошая Сонина товарка и член Московского совета. Они, как в шутку говорит папа, взяли его на свое попечение. В милиции есть у них какой-то знакомый, при помощи которого они надеются выхлопотать отцу хотя бы незначительную отсрочку. Все относительно успокоились после первого взрыва негодования и отчаяния.

В доме почти все пошло по-старому, по крайней мере с внешней стороны: папа вечерами занимался, утром читал газету, шагал по комнате и куда-то уходил, мы перестали нападать на него, и те незначительные ссоры, которые происходили между нами, совершенно прекратились.

От этого ли или от чего-то другого я стала почти с удовольствием исполнять домашнюю работу, изредка морщась, когда уж очень надоест. Сейчас папа опять ушел. «Ну прощай, Нина, может быть, не увидимся!» Он сделал мне последние незначительные наставления насчет цветов и ушел, но сказал, что отсрочку дней на пять ему, возможно, дадут. Если отец надеется, то это уже много значит. А все-таки я его люблю, и мне самой приятно чувствовать эту любовь, в которой я однажды сомневалась, и эти сомнения заставляли меня мучиться и страдать.

<1 мая 1933>

Сегодня я не ходила на демонстрацию. Не было ни одного года, когда на Первое мая я оставалась бы дома. Но… нет ничего вечного, и я изменила своему обычаю. Обычно я всегда ходила с мамой, но она уехала на эти праздники к папе в Можайск, и я осталась одна. Какая тоска! Как пусто и пасмурно кажется все кругом в отсутствие мамы. Как тоскливо и грустно на сердце.

Когда я вышла сегодня на улицу, то меня поразило одно явление. Кругом было совершенно пусто, как будто все вымерло. Лишь изредка проходили медленно и вперевалочку празднично

одетые молодые парни. Одиноко стучали мои башмаки, и гулко отдавался их стук на пустой улице. Странно было видеть в солнечный теплый день, полный невидимой жизни, мертвую освещенную улицу. Я на минуту зашла к Ире. Во дворе у нее всюду начинали распускаться деревья, и из открывающихся почек робко вылезали молоденькие светло-зеленые листья, такие нежные и ласковые. Когда я пришла домой, по радио передавали Красную площадь. Слышался оркестр, играющий марш, где-то вдали кричали «ура», и такими милыми и знакомыми показались мне эти звуки.

<2 мая 1933>

Завтра в школу. Я даже немного рада этому, слишком уж все тошно и гадко дома. Если б не уроки, я бы не пожелала идти в школу, я бы нашла себе развлечение и удовольствие, но теперь… теперь хочется куда-нибудь убежать от этого свободного времени, которое необходимо занять учебой. В школе время пройдет не так заметно. Эх, хоть бы скорей приезжала мама! Мама! Как пусто и дико кругом без тебя, как сердце сжимается сильно и больно! И жить расхотелось. Что удерживает меня от смерти? Почему я сейчас же не отравлюсь? Почему? «Жизнь! Зачем ты собой обольщаешь меня, если б силы дал бог, я разбил бы тебя». Но я почему-то не могу разбить свою жизнь. Или еще не так гадко жить, или правда бог не дает силы. Хочется скинуть с себя эту ипохондрию, и я скину ее, но не совсем, освободиться от нее совсем я не властна.

Вечер

Как не хочется заниматься. Боже мой! Хочется все бросить, все оставить и жить. Ведь я хочу жить. Жить! Я не заводная машина, которая может работать без перерыва и отдыха, я человек. Я хочу жить! Забыться бы! Хорошо, что завтра школа, немного отдохну от себя, но зато, правда, не буду знать общество. Да черт с ним, в конце концов! Это только Генка[20] может увлекаться им и часами читать, что сказали Ленин и Сталин и какие достижения сделал наш Советский Союз. Эх, жизнь, жизнь! Подрали бы тебя собаки. И опять задаю себе вопрос: «Кем стал для меня Левка?»

Минула страсть, и пыл ее тревожный
Уже не мучит сердца моего,
Но разлюбить тебя мне невозможно!
Все, что не ты, – так суетно и ложно,

Все, что не ты, – бесцветно и мертво.
Добавлю от себя, что и ты также суетен и ложен.
Но… с пошлой жизнью слиться не могу я,
Моя любовь, о друг, и не ревнуя,
Осталась та же, прежняя любовь.

А. Толстой

<5 мая 1933>

Сегодня весь вечер читала «Дым» Тургенева. Давно я не читала его произведений. Сколько новых достоинств нахожу я в том, что год тому назад казалось мне скучным и гадким. Я с наслаждением прислушивалась к красивым, мягким переливам его звучной речи, и, восторгаясь красотой и плавностью его слога, я все больше уверялась в совершенном отсутствии у меня таланта. Но странное впечатление осталось у меня в целом о прочитанном, каким-то тяжелым темным комком легло на меня воспоминание о нем. Я никак не могу понять этого отсутствия воли у влюбленных. Или я еще сама не была влюблена, или это особенный уж такой склад людей. Не знаю, но я не могу прямо переносить равнодушно собачью покорность, которая появляется у героя после того, как он влюбился в Ирину. А как у меня плохо еще развита речь, ведь я не могу даже передать самые простые впечатления и чувства.

<13 мая 1933>

Как будто совсем недавно был январь, и я с ужасом думала, что осталось учиться еще так много, – а теперь? Теперь осталось только полмесяца. Только полмесяца! И я буду свободна. Иногда меня начинают разбирать сомнения: буду ли я счастлива, когда кончу учиться? Прекратятся ли эти страдания, которые измучили меня? Не останется ли все по-старому? Но это было бы ужасно!

Последние два-три дня я совсем гадко себя чувствую, ощущение того, что я страшная, мучает меня, как никогда. За сегодняшнее утро я столько раз подходила к зеркалу и не могла смотреть без отвращения на свое лицо. Я не могу выйти на улицу, так противна кажусь самой себе, так ужасно больно ходить со всеми этими простыми, обыкновенными людьми, дышать с ними одним воздухом, смотреть на них и чувствовать, что не одна пара

глаз глядит на меня, может быть, с затаенным отвращением. Года два назад я начала уже удивляться, как могут Женя, Ляля, мама и папа, все наши знакомые и мои подруги смотреть на меня, разговаривать и смеяться со мной, как и с другими; как могут выносить мой взгляд, уродливый и гадкий, ведь я сама не могу смотреть без отвращения на косых. Всякое уродство плохо, но это, по-моему, одно из худших.

Когда я была поменьше, лет одиннадцати или двенадцати, я особенно сильно чувствовала насмешки мальчишек и обижалась на их крики. Одно время это начало сглаживаться, да и сейчас я на них обращаю меньше внимания, но самоощущение ужасно. Хочется иногда не думать об этом, забыть и не обращать внимания, но послед нее время я почти никогда не забываю об этом. А с этим счастье невозможно…

Юность со своим весельем закрыла для меня дверь. Я же не могу находиться среди веселой, счастливой молодежи и чувствовать, что порчу их настроение своим присутствием. Сижу, бывало, в школе, как будто ничего, весело и хорошо смотришь, наплевав на все, в глаза девчонкам, но вдруг вспомнишь про себя и с болью отвернешься.

Вчера я почти весь день думала, что удерживает меня от того, чтобы отравиться. Есть выход простой и легкий. И кончатся все мои мучения. Что удерживает меня? Что заставляет меня ходить по этим улицам, украдкой взглядывая на прохожих, что заставляет учить ненавистные, постылые уроки, что заставляет молча с горькой болью в душе слушать, как Левка, который все-таки нравится мне, проходя мимо, нет-нет да и крикнет сквозь смех вполголоса: «Луга косая»? Есть средство избавиться от всего этого, есть возможность покончить со всеми страданиями. Неужели же серьезно обольщает меня эта противная, переполненная мучениями жизнь?

Неужели может привлечь меня «пустая и глупая шутка»? И я еще мечтаю о чудесной юности, двери которой закрыты для меня навсегда. И я еще мечтаю быть хорошенькой девушкой со своими косыми глазами. Ну разве это не глупо?

<18 мая 1933>

А жизнь… эта пустая и глупая шутка! Но она, кроме того, еще злая шутка. Последняя моя надежда погибла. Еще так недавно я с наслаждением думала о лете, о том, что я была счастлива. Но теперь я не жду его. Как я могу успокоиться, когда знаю, что через три месяца начнется опять совершенно та же глупая и скучная

жизнь! Опять, как и теперь, буду я дрожать перед опросом по биологии и часами зубрить совершенно мне ненужные вещи. Опять, неизвестно зачем, буду стремиться догнать кого-то и, чувствуя, что это на недосягаемой высоте, опять страдать и злиться. И зачем все это? Для чего? Вероятно, просто так, потому что надо же что-то делать, вот и решили пичкать нас разными науками. И вот со всем этим хламом в голове попробуй-ка провести спокойно лето. Я не могу.

Как бы я была счастлива, если бы меня оставили совершенно одну, дали бы книги, позволили бы уйти совершенно в себя и забыть, что делается на свете, тогда, может быть, я была бы совершенно спокойна и счастлива.

Позавчера вечером пропали мои очки, пропали в нашей квартире и пропали совершенно. Как нестерпимо раздражает меня это: ищешь, ищешь, а их нет, – не знаю, на кого и думать. Как будто все сговорились ухудшать мое настроение: кто-то очки взял, кто-то мячик спрятал, или Ксюшка взяла, не знаю.

А тут еще подвернулся заем «Первый год второй пятилетки», который просто бесит меня. Вчера я не вытерпела и сорвала с двери плакат с лозунгами. В школе вчера биологичка задавала нам уроки на лето и велела всем их выполнить, потому что, мол, правительство приказало. Правительство! Да как оно смеет приказывать! Собралась какая-то кучка подлецов и вертят всем народом, как будто бы мы обязаны им подчиняться, как будто бы мы должны слушаться всякую сволочь жидовскую и благоговеть перед Сталиным. Сегодня Женя заявила, что идет на демонстрацию по поводу выпуска займа. «Ты идешь?» – удивленно воскликнула я. «Велят. Я не стала спорить, не стала, потому что это бесполезно». – «Идите, требуйте займа. Я бы ни за что не пошла». – «И мы такие же были в школе», – спокойно возразила Женя, как будто даже с легкой иронией. О, подлецы! И они еще могут спокойно, равнодушно говорить: «Велят». Какая гадость и низость!

Эх, русский народ, что уж говорить о темных крестьянах и рабочих массах, когда вполне образованные люди, студенты, делают такие подлости, и совершенно спокойно. И даже, наверное, назвали бы того человека дураком, который воспротивился бы правительству. «Иду, чтобы косо не смотрели», – заметила, между прочим, Женя. Ха-ха! Испугаться потери расположения со стороны начальства. И это говорят студенты, что же думать о народных массах. Нет, русские не могут завоевать свободу и не могут жить свободно. С самого того момента, когда славяне позвали править варягов, они находятся под чьей-нибудь властью. *И всегда будут под властью.*

Приходится согласиться со словами Тургенева, что «русскому народу свобода нужна меньше всего», и не нужна потому, что он не может ее удержать.

<21 мая 1933>

Настроение меняется часто и очень резко… Я теперь решила не загадывать на будущее, решила не думать о том, что будет через три месяца, не думать, как мы будем жить без И. Ю. Не надо, глупо и неразумно думать об этом – все равно это ни к чему не приведет, я хочу сейчас только одного – кончить школу. Не все ли равно, как я проведу лето, буду ли счастлива? Я хочу закончить все отношения с людьми, за исключением, конечно, своих, от которых нетрудно отделиться и от которых я уже отделилась.

Последнее время меня раздражает и злит решительно все: и оживленные беседы Жени и Ляли, и их ссоры, и отношения наших к политике, и весь теперешний невыносимый строй. До чего я дошла, даже не могу хладнокровно отвечать на расспросы домашних о школе и о том, как я сдаю экзамены. Моя замкнутость дошла до последней степени. Мне больно и трудно переносить даже малейшие попытки посторонних проникнуть в мой внутренний мир. Чувствую, что обижаю всех, так заботящихся обо мне, но не могу по-другому. Не то что не могу, мне сказать нетрудно, но позднее немного боюсь почувствовать такой разлад и неразбериху в себе… боюсь, что мир, построенный мною, рухнет.

Я этого боюсь ужасно, потому что разрушь мой мирок, и я разрушу то относительное спокойствие, которое, несмотря на все страдания, все-таки больше по душе мне, чем что-либо другое. И кроме того, я так привыкла ко всему этому, что просто не могу представить себе, как можно жить по-другому. Мне бы совсем хорошо было, если бы не эти надоедливые, несносные люди – точно мухи жужжат, лезут, невыносимо раздражают, ползая по тем местам, которые я стараюсь уберечь от всякого неаккуратного прикосновения.

<24 мая 1933>

Вчера вечером мы долго сидели с мамой у бабушки, дожидаясь приезда папы[21]. Я, к удивлению своему, заметила, что в глубине души не хочу, чтобы он приезжал, и была

неприятно удивлена этим. Как гадко, как нехорошо! Теперь я просто не могу понять, почему ко мне забралось такое чувство. Я спокойно сидела в кресле за столом, читала и знала, что, если приедет папа, я уже лишусь этого спокойствия. Придется оторваться от книги, заставлять себя улыбаться и, что еще хуже, пожалуй, рассказывать про себя. Папа приехал около двенадцати часов, когда мы уже почти не ждали его. Я, стараясь заглушить в себе досаду, встала и пошла в переднюю. Начались разговоры, расспросы. Он рассказал, как там хорошо, и звал меня прямо после окончания школы к себе. Я, конечно, согласилась, но мои планы на лето… неужели мне так и не суждено будет исполнить свои мечты?

По папиным рассказам, там у него было очень хорошо: черемуха, сирень, рядом река, а кругом небольшие лесочки, где береза, орешник, кустарники, а в них – сотни соловьев. Я гоню от себя эти мысли о природе у папы, потому что боюсь, что воображение мое представит мне слишком все хорошо, так что стараюсь совершенно не думать об этом.

Уже на опыте я узнала, как легко обманывает воображение и как потом больно разочаровываться и расставаться с чудесными картинами, созданными воображением, заменив их скудной действительностью. Я это слишком хорошо знаю. Но и теперь уже перед моими глазами мелькают кусты сирени, белые прозрачные легкие цветы черемухи, молодые кудрявые березки и маленькие серенькие поющие птички, которых я, кажется, никогда не слыхала.

<25 мая 1933>

Вчера, только я поднялась с постели, даже не успела слезть на пол, в глаза мне бросился нижний ящик моего стола, где обычно лежали дневник и белье. Ящик был не совсем плотно вдвинут, и из него торчали белые клочья материи, вероятно всунутые впопыхах. Я бросилась к нему и открыла. Дневник лежал с самого края и почти не был прикрыт бельем. «Однако это подозрительно. Неужели кто-то брал его?» При мысли, что все вокруг узнают мою внутреннюю жизнь, мои желания и стремления, узнают мои сокровенные мысли и чувства, в душе поднялась буря негодования. «Неужели они могли это сделать?» Через некоторое время Женя принесла мне шелковую небольшую красную наволочку, на которую была надета еще вязаная. «На, Нина, это, кажется, твоя?» – «Да», – проговорила я и спокойно взяла ее.

Но стоило только ей уйти, я с остервенением бросила наволочку на стол и, схватившись за голову, воскликнула: «О мерзавцы! О подлецы!» Наволочка эта лежала как раз в нижнем ящике, так что теперь не было сомнения, все ясно. Я присела на пол, не зная, что предпринять, но потом вспомнила, что на окне уже несколько лет валялся старый ржавый ключ. «Вдруг подойдет?» Я схватила его, и после некоторых усилий мне удалось повернуть его: ящик был закрыт.

Я уже почти не злилась на того, кто взял дневник: «Теперь уже не возьмут, теперь я в совершенной безопасности». Однако когда я вечером пришла в свою комнату, то опять заметила следы покушения, видно было что ящик пытались открыть, но ключ меня спас. Я решила разузнать, кто и зачем лез ко мне в ящик, и спросила у Ляли: «Ты не лазила ко мне в ящик, там все перерыто…» – «Перерыто не перерыто, но я хотела открыть. Ты чего, закрываешь его?» – «Да». – «Зачем? Мне надо было взять гербарий». Против этого я ничего не могла сказать.

Тоска грызет и гложет мое сердце. Что мне делать? Так скучно и неинтересно жить. Целый год я не бралась за рисование, за музыку и за перо, с радостью ждала лета, когда я смогу и рисовать, и играть, и писать. Ха, ха! Я решила, что я какой-то гений и вот ни с того ни с сего возьмусь за карандаш и начну чудесно рисовать. Сегодня вечером мне пришлось расстаться и с этой мечтой. Я совершенно разучилась рисовать.

И вообще, все надежды мои гибнут. Все, чем я жила весь этот год, все, что возбуждало и поддерживало меня, вдруг рухнуло, и остались какие-то убогие развалины. Скверно! А тут еще Женя и Ляля играют и поют и весело болтают. Сердце ноет, что-то подходит к самому горлу и сосет. Ужасная жизнь! Хочется иногда сказать кому-нибудь все все, что давит меня, хочется прижаться к маме или к девочкам и расплакаться по-детски горько и навзрыд. И облегчить себя немного. Что же, что делать? Не могу я так жить. Если б был под рукой яд…

<27 мая 1933>

Пыл мой и оживление, в котором я находилась, постепенно стали спадать, я опять стала чувствовать себя плохо. Невольно начала разбирать все чувства свои и мысли, все оживление мое в последние дни казалось мне глупым и ненужным, главное же меня злило то, что в эти минуты я забывала контролировать свои поступки.

Минуты, когда я ухожу от себя, я считаю лучшими и счастливыми минутами своей жизни, но, к сожалению, они бывают очень редко, и после них я отвратительно себя чувствую. Замолкнувший на некоторое время рассудок начинает действовать с новой силой и неумолимо и жестоко начинает рассуждать, овладевая всем моим существом, а в душе чувствуется какая-то унылая пустота. Начинается даже что-то вроде головной боли, и так скверно все становится, поднимается злобная досада на себя и других, и напрягаются нервы…

<2 июня 1933>

Вот я опять в Москве. Я приехала вчера к вечеру, а уехала тридцатого утром. Разочаровалась ли я в природе, которую увидела у папы? О нет! Я была потрясена и поражена. Выехали мы с мамой из Москвы девятичасовым поездом. Народу в вагоне было довольно много, поезд ехал раздражающе медленно, тяжело громыхая колесами. В окно дул холодный порывистый ветер, небо, покрытое сплошными низкими тучами, было серо и пасмурно. Мимо пробегали поля, леса и небольшие деревушки, у самого полотна бесконечной вереницей тянулись низкорослые, густо насаженные елки. Их темная зелень странно перемешивались с небольшими кустами светло-зеленой нежной акации.

Я смотрела в открытое окно, на мелькающие березы, ели, иногда буроватые тонкие осины. Разве можно изобразить словами природу, описать ее так, чтобы можно было представить ее в ярких и естественных красках?! О нет, это «нечто», недосягаемое и недостижимое, не изображается словами, лишь гениальный художник сможет изобразить это. С того времени, когда я начала писать, моей целью было изображение природы, я много билась с этим, но… не добилась ничего. Решила попробовать писать не ручкой, не карандашом, а кисточкой, ведь я умела когда-то

рисовать. А после школы можно было бы пойти в Текстильный институт на художественное отделение. Конечно, придется много работать и трудиться, ну так что же? Когда есть цель, тогда легче жить, и я твердо решила добиваться этого.

После «Голицыно» поезд поехал немного быстрее и иногда так разгонялся, что я не могла даже разглядеть версты на быстро мелькающих столбах. Между прочим, в поезде мне в голову пришла оригинальная мысль: «Почему бы мне не перевоспитать себя? Почему бы не сделать себя счастливой?» На опыте я уже знала, что сделаться счастливой, оставаясь такой, какая я есть, теперь нельзя, поэтому надо как-то перемениться. В своих мечтах я представляю себя веселой и жизнерадостной девушкой, полной веселья и огня, полной жажды жизни и счастья, а главное – хорошенькой (не смейтесь, пожалуйста).

Как видите, я нарисовала полную противоположность себе. Но это ничего, это еще полбеды – если я перестану думать о бесполезности своей жизни, если я забуду ряд неразрешимых вопросов-загадок, я могу стать такой, какой хочу быть. Но как же не думать обо всем этом? Правда, я смогу забыть все это на два-три дня, может быть, на неделю, но не более. Как бы то ни было, а в вагоне я твердо решила переродиться. «Если ты, – говорила я себе, – могла заставить себя сделаться несчастной, то заставь теперь себя сделаться счастливой».

Ведь я не всегда была такой молчаливой и суровой букой, было время, когда я была, как и большинство детей, довольно веселой, самолюбивой и немного болтливой девочкой. Как-то осенью (я хорошо помню этот день) я разговаривала с Лялей. Мы сидели на окне, и осеннее теплое солнце заметно склонялось к горизонту, помню, было так тепло и приятно, так легко и весело на душе. Речь шла о том, что все люди в минуты горя с кем-нибудь да поделятся им, да и не только в минуты горя… Каждую, иной раз и незначительную, новость они стремятся скорей рассказать другому, и я тогда много этому удивлялась и решила для себя, что я никогда не буду такой.

Первое время я сильно страдала, многое хотелось иногда рассказать, и время от времени я все же позволяла себе это, но меня не слушали внимательно, часто я замечала, что то, что интересует меня, ни капельки не занимает других. Научившись молчать путем стольких страданий, я в редкие откровенные минуты требовала напряженного внимания от своих слушателей, но, не получая его, еще больше замыкалась в себе, ведь болезненно обостренное самолюбие не допускало этого невнимания. Итак, к нашей станции я подъехала с твердым намерением измениться.

Пройдя несколько шагов по многочисленным железнодорожным путям, мы увидали папу. Он медленно шел нам навстречу, опираясь на толстую белую палку. Во всей его слегка сгорбленной, исхудалой фигуре, в загоревшем и обросшем бородой лице проскальзывала сильная усталость. Время брало свое. Мы вошли с ним в одно из отделений вокзала, где висели таблички «зал» и «буфет». Справа, у самого входа, продавались газеты и журналы, здесь собралась небольшая очередь, и папа встал в конец. Я и мама подошли к одному из столиков, положили на стулья вещи и стали ждать. Через несколько минут подошел папа с газетой, и мы тронулись в путь. Пройдя через весь город, мы пошли по глинистой сырой дороге среди бесконечных зеленых полей и бурых пашен.

Серое небо угрюмо нависло над холмистой землей, ветер сильными порывами налетал и несся дальше. Я постепенно начинала разочаровываться в своем решении стать веселой и счастливой, пришлось удовольствоваться только самим решением, не злиться и не раздражаться по-пустому. За небольшим холмом мы увидели блестевший изгиб небольшой реки. На одном берегу тянулись небольшие березовые лесочки и перелески, покрытые кустарником. Спустившись с холма, мы увидели небольшой поселок, окруженный деревьями, у ног вилась быстрая и извилистая река, перерезаемая небольшими островками, покрытыми кустарником и травой, между которыми желтел песок.

По небольшому мостику мы перешли на другую сторону и стали подниматься по скользкой дороге. Перед нами стояли два одноэтажных каменных домика, соединенных полукруглой аркой с обвалившейся кое-где штукатуркой, под которой проходила дорога. Войдя во двор, мы поднялись по шатким, прогнившим ступенькам и вошли в коридор. Папа открыл крайнюю дверь, и мы вошли в комнату. Я увидала маленькую, невысокую комнатку, стены ее были в голубых обоях. Первое впечатление, несмотря на немного затхлый воздух, было очень приятным. В комнате царил приятный полумрак от небольшого окна, в бутылках стояли пушистые ветки черемухи с белыми свисающими цветами.

У окна стоял стол, покрытый белой бумагой, вдоль стены – простая железная кровать, покрытая темно-синим стеганым одеялом, за ней в углу висела широкая полка с мелкими вещами, другая такая же полка висела против окна. Здесь же стояла тумбочка, покрытая белой бумагой. Целая куча ореховых удочек лежала в углу. Справа у двери была небольшая кирпичная плита.

Эта убогая маленькая комнатушка со своей бедной обстановкой была на самом деле грязна и непривлекательна, если бы не белые листы бумаги на столе и тумбочке, не душистые грозди черемухи, не голубой полумрак, в мягкой синеве которого все предметы становились как-то красивей и изящней.

<4 июня 1933>

Я еще никогда не проводила так хорошо время, как в этот приезд к папе, чем-то особенным, необыденным и поэтическим пахнуло на меня из этой глуши. Как было приятно, вернувшись с реки, промерзшей, промокшей и голодной, растопить печь, согреться и, бросившись на постель, отдыхать: и физически, и нравственно. Как хорошо и легко было на душе, как спокойно билось сердце, когда я вечером со смыкающимися от сна глазами сидела за столом рядом с дремлющей мамой, дожидаясь папу. Как приятно было читать рассказы Тургенева и прислушиваться к однообразному плачу гитары за стеной, слушать легкое равномерное постукивание фабричной машины и дробный глухой звук падающих капель. С каким наслаждением я ложилась на жесткий сенник и, укрывшись теплым ватным одеялом, засыпала крепким, здоровым сном без сновидений.

К вечеру следующего дня мы опять, несмотря на дождь, решили пойти на рыбалку. Быстро несла свои прозрачные воды Москва-река, светлой извивающейся лентой бежала она по полям среди кустов и плакучих ив. В этих кустах мы и расположились на ловлю, за спиной нашей сквозь ветки деревьев белела фабрика, а впереди расстилалась река; когда же путь ей преграждали небольшие острова, она, как бы сердясь и негодуя, с шумом несла свои воды, плескаясь в узких рукавах. Я сидела на небольшой корзинке, укутавшись в кожух. Дождь сердито барабанил по брезенту, ветер, холодный и резкий, порывами налетал на деревья. Я смотрела, как он широкой волной катился по кудрявым верхушкам берез, тонкие стволы которых покорно сгибались и жалобно шумели листвой. Домой мы возвращались, когда было уже совсем темно. Мелкий холодный дождик сменился крупным летним ливнем, и было приятно идти под его бодрящими ударами.

На другое утро мы с мамой начали собираться к отъезду. Ветер несколько стих, дождь не шел больше, и вместо тяжелых темных туч небо было покрыто желто-серой, плотной, неподвижно висящей в вышине пленкой. От реки поднимался густой белый туман. Часов в десять мы вышли из дому, и я

особенно горячо поцеловала папу на прощание, так как мне было немного стыдно перед ним за то, что я не остаюсь. Желтая грязная дорога бесконечной лентой потянулась перед нами. Через несколько часов мы увидели Можайск. Через задворки и огороды мы выбрались на дорогу в предместье города, где маленькие ветхие домишки стояли по обеим сторонам улицы. По очень грязной и ухабистой дороге мы поднялись на крутой холм, там находилась центральная часть города. Мы прошли площадь и по небольшому бульвару направились к вокзалу. Тощие деревца, редко торчащие среди травы, да одинокая клумба близ памятника Ленину украшали его.

Этот памятник был, вероятно, одной из достопримечательностей города Можайска. Строивший его стремился, вероятно, изобразить карикатуру и никак не ожидал, что его произведение попадет на такое почетное место. На разрисованной в виде мрамора подставке стоял человек-карлик с непомерно короткими ногами и большой лысой головой. По этой голове, по небольшой торчащей бородке и еще по позе оратора можно было догадаться, что человечек, похожий сзади на плохо обтесанную глыбу камней, был не кто иной, как Ленин. Еще не было двенадцати часов, когда мы пришли на вокзал, порядком уставшие, и сели в поезд на Москву.

<10 июня 1933>

Дни идут однообразно, скучно, но непомерно быстро, так быстро, что я чувствую, что эти три летних месяца пройдут бесследно, что я не успею освоиться с новым своим положением и войти в новую колею. Я чуть ли не жду с нетерпением начала занятий, чтобы уйти от себя, забыться и не думать ни о чем. Вчера вечером, когда я уже собиралась ложиться спать, пришла ко мне Ляля. «Ах ты, профессор! – с притворной важностью сказала она. – Все мы поражаемся, какой ты профессор». «Кто это все?» – спросила я, немного заинтересованная. Я была несколько удивлена, что обо мне так говорят, и приятно удивлена; что ни говори, а у меня чертовски большое самолюбие. «Что это из тебя выйдет? – продолжала Ляля, не отвечая на мой вопрос. – Растешь ты такая серьезная, молчаливая». «Не знаете вы, наверно, – думала я, уже лежа в постели, – что профессор ваш страдает день и ночь». Смешно кому-нибудь постороннему прочесть это слово: «страдает», – после чего он полуудивленно-полупрезрительно скажет: «Какое там страдает – притворяется!» Притворяюсь ли я? Я сама не знаю. Знаю только, что мне тяжело, что какой-то

камень на сердце нестерпимо и постоянно давит. Что мне мечтать о будущем? В нем не видно ничего хорошего, никто ведь не снимет с сердца тяжелый камень, а с этим камнем я не могу быть счастливой. Можно стать веселой, живой, это все можно, но нельзя ведь стать счастливой.

<20 июня 1933>

Целых девять дней не бралась я за дневник, и не потому что не было каких-то происшествий, просто было лень браться за него, и все время я чем-то отговаривалась. «Как ты скучно проводишь свой отдых», – сказала мне сегодня Ляля. И она совершенно права: такого скучного лета и такого однообразия у меня не было никогда, никогда не жила я такой серой, будничной и неинтересной жизнью. С каждым годом и каждым месяцем мне становится все хуже жить, желания мои, чувства и даже ощущения притупляются, и я, кажется, впадаю в безысходную тупую апатию. Как иначе назвать отсутствие всякого интереса к окружающему? Апатия ли это? Я не колеблясь бы ответила «да», если бы… по временам в моей душе не поднималось жгучее стремление жить, вырваться из своей клетки, улететь на волю и… жить! Что я подразумеваю под этим? Я и сама хорошо не знаю, но что-то прекрасное. Как иногда бывает трудно быть одной, совсем одной, непонятой, отверженной и нелюбимой. Как тяжело быть среди людей совсем другого склада души и мыслей, зависеть от их резких, уверенных и оскорбляюще ошибочных суждений. Иногда мне хочется иметь друзей истинных и любящих, я мечтаю о них.

Вчера прочла «Гоголь-гимназист». У каждого великого писателя в детстве были отличительные черты, что-то особенное, из ряда вон выходящее. Я очень люблю читать о детстве великих людей и в этом чтении преследую две цели: во-первых, получаю огромное удовольствие и, во-вторых, ищу сходство этих людей с собой. Со стороны это покажется смешным, но что мне остается делать, если все пути испробованы, а талант еще не обнаружился! Если с каждым днем гаснет надежда и поддержать ее нечем, вот я и прибегаю к последнему средству. Естественно, что я нахожу очень часто еле заметные и одинаковые черточки между собой и писателем. Хотя это не удовлетворяет меня вполне, а все же как-то легче становится.

<4 июля 1933>

Можайск – Марфин Брод

Погода сегодня отвратительная, и, признаться, мне порядком скучно. Совершенно нечего делать. Женя и Ляля рисуют, а я бы сейчас с удовольствием почитала, да нету книг: все осталось в том злополучном свертке. Хорошо еще, что мы теперь переехали в другую, большую комнату, она кажется раза в три больше прежней и имеет прекрасный вид: стены и потолок побелены, два больших итальянских окна выходят в поле, и из них виден парк, а по вечерам заходящее солнце бросает сквозь стекла теплые лучи на пол и белые стены.

Несколько раз мы (я и Женя, Ляля) начинали спорить о настоящем времени, о теперешнем состоянии рабочих, о культуре и о многом другом в том же духе. Они всеми силами старались защищать настоящее, а я, наоборот, опровергала его, даже тогда, когда, не имея больше аргументов, переставала спорить, неизменно оставалась при своем мнении.

Я никогда не могу согласиться с ними, признающими в настоящем строе социализм и считающими теперешние ужасы в порядке вещей.

<8 июля 1933>

Пятого вечером уехали в Москву папа и мама. Как тоскливо мне, как странно смотреть на опустевшую мамину постель и, слушая жуткий безумный совиный хохот или протяжный ее крик, думать, что моя дорогая мама далеко-далеко. Последние два дня идет почти непрерывно дождь, делая лишь небольшие передышки. Мы вчера и сегодня шныряли по мокрому лесу в поисках грибов, мокрые и продрогшие, в почерневших от воды юбках, пробирались между березками под ярко-зелеными ветвями, с которых при малейшем ветре сыпались тысячи холодных капель. Выглянувшее вдруг солнце яркими снопами разбросало по лесу свои лучи, тысячами огней загорелись дождевые капли, повисшие на листьях и сочной зеленой траве. Все вокруг осветилось, и из глубины чащи, из мохнатых от мха стволов смотрели на меня десятки маленьких и ярких солнышек.

Как-то я назвала всю теперешнюю молодежь, Женю и Лялю в частности, тряпками. Да разве и не правда? Разве можно сравнить бывшее студенчество с теперешним? Есть ли какое-нибудь сходство между грубыми, в большинстве случаев совершенно неразвитыми людьми, способными из-за малейшей выгоды на всякую подлость, с полными жизни, умными и серьезными (за

небольшими исключениями), готовыми в любую минуту пострадать за идею молодыми людьми прошлого века? Я решила вести себя теперь по-другому: во-первых, быть жизнерадостной, всегда оживленной и веселой и, во-вторых хоть отчасти быть похожей на последних. О, я смогу быть такой! Я знаю. Надо только маленькое усилие, и… я совсем другая.

<12 июля 1933>

Вот уже два дня я мучаюсь в нерешительности: ехать ли мне в Москву пятнадцатого вместе с мамой или оставаться жить до семнадцатого здесь, у папы? И то и другое так заманчиво, что, право, не знаешь, на что решиться. Вчера вечером сестра Женя, находясь в отчаянно ворчливом расположении духа, что, признаться, с ней бывает очень часто, со всеми ругалась, на всех злилась и особенно была невыносима со мной. Брань, едкие замечания так и сыпались на мою голову. О, как я злилась! Как клокотало у меня в груди и просилось наружу накипевшее за время житья здесь негодование, оскорбленная гордость и самолюбие! Но я молчала и, затаив обиду, с нетерпением ждала того времени, когда можно будет не промолвить ни одного слова с Женей и почти не видеться с ней. «Буду стараться с ней быть как можно холодней и сдержанней, – думала я, – ни о чем не спорить, поменьше иметь общих дел».

Однако это только одни мысли – как можно было исполнить все это, живя в одной комнате, проводя ночи на одной постели и находясь в тесном соприкосновении между собой во всех домашних обязанностях? Все это лето прошло в бесконечных ссорах. Мы доходили до такой мелочности, что не подавали друг другу чашки и на малейшую просьбу отвечали только: «Сделай сама». Признаться, я особенно преуспевала в этом, но сестры сводили меня просто с ума, постоянно требуя: «Подай», «Принеси», «Закрой» и т. д. В конце концов мы стали просто на ножах друг с другом, и особенно плохо стало без мамы, когда мы жили все вместе. В эти дни было что-то невероятное, мы ругались с утра до вечера, в воздухе висело: «Скотина», «Дура», «Идиотка».

До чего можно огрубеть! Даже теперь, когда стычки все-таки продолжаются, я не могу без ужаса вспоминать наше житье-бытье там без мамы. Чему приписать эту распущенность, это неумение себя сдерживать и эти ужасы мелочности? Как жизнь коверкает людей! Разве мама в наши годы была такой? Да мы сами раньше неужели такими были? Конечно нет. Да и немудрено, как не быть мелочными, когда приходится считаться из-за куска хлеба, как не

ругаться и не злиться, когда невыносимый голод сосет и точит что-то в желудке. Передумав все это вчера, я решила уехать пятнадцатого в Москву. «Пора отдохнуть, довольно я мучилась летом», – говорила я себе. И так потянуло в Москву, в привычную старую обстановку, в свою комнату, к старому и милому времяпрепровождению.

<13 августа 1933>

Да, вчера вечером я почти решила ехать в Москву. Холодная августовская ночь нисколько не тянула к себе, а, наоборот, пугала и отталкивала, возможность бессонной ночи не покидала меня. Но сегодня природа опять начала брать верх, о, как она притягивала меня, не покидала бы вовек! Что за проклятущая жизнь! Вероятно, ни разу мне не придется делать то, что хочу сама я, а лишь всегда исполнять чужую волю. Ехать в Москву, когда хочется жить здесь; жить здесь, когда хочется в Москву; сидеть дома, когда тянет куда-нибудь в лес, под густые тенистые ели; ходить в школу и зубрить немецкий, когда так хочется забыть все это, наплевать на науку. На что мне наука, когда я не стану от нее ни лучше, ни счастливей. Я, кажется, все же прихожу к убеждению, что лучше ехать в Москву. Однако если будет хорошая погода и Женя останется, то и я сделаю то же. Впрочем, трудно решить, что я сделаю завтра, но постараюсь быть готовой к отъезду. Сегодня с мамой решили ловить рыбу. Как можно отказаться от этого, если на улице так хорошо, ветра нет, солнце тепло греет, река не шелохнется, застыв в созерцании. Видеть, как рыба медленно прогуливается по дну реки, шевеля плавниками, и не ловить ее – это свыше моих сил.

<20 августа 1933>

Вот уже третий день я в Москве. Кончились мои сомнения и нерешительность. И что же? Неужели я рада этому переезду? Четыре дня тому назад мне так хотелось попасть в свою комнату, уединиться и отдохнуть от людей и передряг житейских. Собираясь сюда, я забывала, что не найду и здесь покоя, я стремилась уйти от жизни, запереться в себе, но что я нашла? Я нашла тех же людей, те же ссоры, те же разговоры, ту же ужасную мучительную жизнь… Что бы я сейчас дала, чтобы прожить хоть лишний денек там, в чудной глуши, у папы.

Встали в то утро мы с Женей довольно рано и принялись за

основательную уборку. На улице светило холодное утреннее солнце, длинные синие тени лежали на мокрой росистой траве и влажной дороге. Я тогда не чувствовала ни сожаления, ни радости, но, когда мы с Женей пошли в парк, легли на теплую зеленую травку среди кустов и яркой зелени листьев с пестрыми солнечными пятнами, когда солнце пригрело мне лицо и руки, я вдруг с особой остротой поняла, чего лишаюсь и что теряю. С горечью смотрела я на луг, красивую белую лошадь, что паслась там, на противоположном берегу реки.

На станцию мы с Женей вышли в первом часу дня. Хорошо помню широкую, извилистую дорогу, тонкий слой пыли, бесконечный прямой ряд столбов, убегающих вдаль. Кругом были необъятные желтые поля, на горизонте синели полоски лесов, а между холмами виднелись изгиб реки и высокий овраг, розовой каймой огибающий ее. Вдали виднелись неясные очертания деревень, окруженных полями, и стога сжатой ржи выделялись на светло-желтом фоне…

В Москву мы приехали часов в шесть. Жара уже спала, не было ни духоты, ни пыли. И город не произвел на меня никакого удручающего впечатления. Нас встретила мама и, взяв часть вещей, поехала на трамвае, а мы с Бетькой пошли пешком. Остаток дня прошел хорошо, я даже несколько оживленно говорила с бабушкой, смеялась и чувствовала себя вполне сносно. Домой мы возвращались парком. Темнота сгущалась, и розовая полоска на западе медленно тускнела и постепенно сливалась с темным небом. Как эта ночь была непохожа на ночи в деревне.

<21 августа 1933>

60 копеек – кило белого хлеба! 50 копеек – литр керосина! Москва ворчит. В очередях злые, голодные, усталые люди ругают власть и проклинают жизнь. Нигде не слышно ни одного слова в защиту ненавистных большевиков. Скачут вверх рыночные цены, от повышения цены на хлеб и на другие предметы широкого потребления захватывает дух. И невольно в голову приходит мысль: что же будет дальше, когда сейчас вдвое подорожал хлеб и картошка на рынке стоит 5 рублей осьмушка[22], в то время как в государственном магазине ее вовсе нет? Что же рабочие будут есть зимой, когда сейчас нет ни овощей, ничего?

Все магазины Москвы делятся на несколько разрядов. Коммерческие магазины, в которых есть очень много всяких продуктов, отпускающихся всем желающим. В этих магазинах всегда чувствуется оживление: у прилавков толпятся

разукрашенные и намазанные, нарядно одетые барыни, так называемая советская аристократия (по секрету, конечно), состоящая в большинстве случаев из евреек, жен коммунистов и ответственных работников. Здесь совсем нет простого люда, и большие помещения магазинов пропитаны запахом разнообразных духов.

Коммерческие магазины находятся на шумных центральных улицах Москвы. Большие их витрины богато разукрашены, и никому с первого взгляда не придет в голову мысль, что все это стоит сумасшедших денег и что по этой-то очень простой причине в них не видно рабочих. Уже около двух лет государство занимается подобной спекуляцией и, безжалостно уничтожая частников-нэпманов, создает государственного нэпмана.

Рядом с этими шикарными магазинами почти незаметны маленькие скромные лавочки с небольшими, но полными всяких продуктов витринами, и не раз соблазнившийся прохожий пытался заходить вовнутрь, но неизменно останавливался у входа, прочтя вывеску «закрытый распределитель». Не все могут получать оттуда продукты.

Вдоль Тверской и особенно Петровки среди пестрых разнообразных вывесок можно встретить крупное объявле ние над входной дверью «Торгсин»[23]. Это своего рода музеи и выставки довоенных времен. Здесь есть решительно все, и коммерческие магазины покажутся против этих совсем низшими. Торговля с иностранцами идет очень бойко, так как, в сущности, торгуют прекрасно и с советскими гражданами: тащи только золото и серебро. Эти «Торгсины» наглядно показали, насколько упали наши деньги и что наш рубль равен одной копейке золотом.

И наконец, четвертый и самый многочисленный разряд магазинов – это государственные кооперативы, палатки и т. д. Они рассыпаны на обширных московских окраинах вдали от шикарных городских улиц. Большую часть времени в них совсем не видно людей, за исключением тех дней, когда рабочим и служащим выдают их жалкие пайки. Тогда здесь толпятся громадные очереди, слышатся брань и крики.

Вечер

Какое ужасное настроение было у меня в первые два-три дня. Я с ужасом спрашивала себя: «Что же будет дальше, если сейчас я дошла до этого?» Целыми вечерами, полными бездействия и тоски, я слонялась из угла в угол, из комнаты в комнату и временами думала, что схожу с ума. Каким отчаянием и безнадежной щемящей тоской наполнялось сердце! Звуки рояля и заунывные песни раздавались в комнате. «Господи! Да что со мной? – спрашивала я в тоске. – Неужели так будет каждый

день?» И мысли об опиуме вновь и вновь приходили мне в голову. Негодование и злость душили меня, казалось, нервы каждую минуту собираются лопнуть. Я задыхалась в этой ужасной и тягостной атмосфере грызла пальцы, хватаясь за голову, мне хотелось плакать, рыдать… Но я терпела, со спокойным лицом разговаривала с мамой, а отвернувшись, мучительно кусала губы, еле сдерживая слезы. Появилось непреодолимое желание броситься к кому-нибудь на шею, прильнуть к чьей-либо любящей, все понимающей груди и расплакаться, не сдерживаясь и по-детски. О, какой одинокой чувствовала я себя в эти минуты, какой покинутой и ненужной.

<28 августа 1933>

Жизнь – это вереница сплошных разочарований. Что встречало меня с самых пеленок? Разочарования, разочарования, разочарования. С тех пор как я помню себя, они сопровождали мою жизнь. Сначала разочарование в людях, а потом горькое и мучительное разочарование в жизни. Я помню то время, когда мир казался мне прекрасным. В те дни я не задумывалась о всей странной несправедливости жизни, не знала, как подлы люди, я видела только красивую лицевую сторону жизни и не заглядывала за кулисы. И это было такое счастливое время! То было детство с его быстрыми радостями и горестями, веселое и беззаботное детство. Но оно прошло…

Я продолжаю разочаровываться решительно во всем. В маме, в папе, в сестрах… Я все уже вижу в настоящем свете. И с горечью убеждаюсь, что нет ничего прекрасного на этом свете. В одном еще не разочаровалась – это в себе. Ха-ха! Не странно ли? Но верю еще в себя, верю в возможность своего счастья. Но придет время, когда и эта вера растает, придут дни еще более мучительного разочарования, разочарования в себе.

<31 августа 1933>

Странные дела творятся в России. Голод, людоедство… Многое рассказывают приезжие из провинции. Рассказывают, что не успевают трупы убирать по улицам, что провинциальные города полны голодающими, оборванными крестьянами. Всюду ужасное воровство и бандитизм. А Украина? Хлебная, раздольная Украина… Что сталось с ней? Ее не узнаешь теперь. Это вымершая, безмолвная степь. Не видно золотой высокой ржи и

волосатой пшеницы, не колышатся от ветра их тяжелеющие колосья. Степь поросла бурьяном. Не видно на ней обширных и веселых деревень с их беленькими украинскими хатками, не слышно звучных украинских песен. Там и сям виднеются вымершие, пустые деревни. Украина разбежалась.

Упорно и безостановочно стекаются беженцы в крупные города. Не раз их гнали обратно, целыми длинными составами туда – на верную смерть. Но борьба за существование брала верх, люди умирали на железнодорожных вокзалах, поездах и все же добирались до Москвы. Но как же Украина? О, большевики предупредили и это несчастье. Те незначительные участки земли, засеянные весною, убираются Красной армией, посланной туда специально для этой цели.

<4 сентября 1933>

Вот и опять учение. Я пока с радостью принимаю его. Новые надежды, новые планы и соображения роятся в голове. Этот летний отдых много значит для школьников, обновленной и бодрой приходишь учиться, с новой жаждой борьбы и завоеваний. Я вспоминаю сейчас мое настроение к концу прошлого года. И… улыбаюсь. Не слишком ли далеко я зашла тогда? Не попробовать ли мне соединить как-то учение с развлечением? О, эти счастливые мечты, но вряд ли удастся их осуществить. Пройдет несколько месяцев, и опять наступит разочарование, ничто не будет мило, в душе будет одна горечь, злость и бесконечное отчаяние. Но сейчас хорошо! На душе спокойно и весело. Разнообразие, наступившее со школой, затянуло меня, меня интересуют и новые педагоги, и сами ученики. Да, я люблю школу. Бегать, бузить! Вот школьный девиз. И никто из моих домашних не предполагает, как преображаюсь я в школе. С каким удовольствием выскочишь в сад после занятий, как приятно стучит сердце от беготни.

<5 сентября 1933>

Осень – рыжая кобыла – чешет гриву,
Над речным покровом берегов
Слышен синий лязг ее подков.

Первый приступ пессимизма с начала учения. Не очень

сильный и быстро минувший, но не в этом дело, это доказательство того, что я не выдержу и месяца. Скорей бы кончить школу. Как это Жене и Ляле удается все делать? И прекрасно учиться, и играть на рояле, и петь, и танцевать, и рисовать. Без сомнения, они родились под более счастливой звездой, им все удается, их все любят, ими нередко восхищаются. А я? Что такое я? В последнее время я начинаю убеждаться, что я совсем неспособная и если и добивалась иногда первенства, то только своей громадной усидчивостью.

Как природа жестока и как она умеет смеяться! Наградить желанием, усидчивостью, поразительным и редким терпением и даже немалой силой воли и позабыть главное – способности. Как я жестоко раньше заблуждалась! Как я могла считать себя наравне с сестрами? Как я могла думать об этом? Не смешно ли? Быть глупенькой и со своей глупостью быть уверенной, что умна до гениальности. У меня ведь и лицо глупое, вы только посмотрите на это тупое, ничего не выражающее лицо, загляните в эти сердитые глупые глаза, никто же не скажет, что с таким лицом можно быть умной. Почему Создатель так посмеялся надо мной? Зачем я не умерла раньше? А Женя и Ляля! Они всего за месяц прошли весь девятый класс и сдали экзамены в институт на «отлично»! И в школе они ничего не делали, а все-таки шли всегда первыми там. А я? Кто может поверить, что я только один экзамен по биологии учила до головокружения, до тошноты? И что все биографии я вызубрила наизусть?

<22 сентября 1933>

Боже мой, что за мука!.. Да будь проклят день моего рождения, когда я впервые увидала свет. Я теперь понимаю, почему взрослые люди так любят вспоминать свое детство, так жалеют его, ведь года два назад я не понимала этого. Что хорошего в нем? Мне казалось, все было так плохо, а теперь что бы я дала, чтобы воротить его. Да пойди вороти! Его не воротишь, а пройдет еще несколько лет, я кончу семилетку, поступлю в институт… О, тогда я буду жалеть еще больше, тогда я буду жалеть по-настоящему школу, веселье и свободу. Да, свободу, потому что это все-таки свобода против того, что будет потом.

В школе я забываю про себя, про свои мучительные безысходные мысли, начинаю жить и действовать. Уроки не так скучны и невыносимы, как дома, кругом люди, свои люди, с которыми живешь одними интересами и мыслями, чувствуешь себя большой и сильной, чувствуешь, что в тебе живут все они, а в

них ты – все за одного и один за всех. Лиза[24] вчера на сборе пионеров пустила про наших девчонок, выписавшихся из пионеров, и про меня гнусную клевету. Не любимая никем раньше, она стала еще более противной. Долго и оживленно мы говорили на переменах и решили объявить ей бойкот, почти все сегодня согласились с нами и поддержали нас. О, мы отомстим ей! Мы не дадим смеяться над нами, мы заставим пожалеть ее о своем остром язычке. Всеобщий бойкот не шутка!

<28 сентября 1933>

Уроков, боже мой, как много уроков. Мерзавцы большевики! Они вовсе не думают о ребятах, не думают о том, что мы тоже люди. Какой-то Бубнов[25], черт знает что, а не человек, плетет себе, что в голову взбредет. Пишет статьи в газеты о школе, что надо повысить учебу, дисциплину, а никто из них не понимает самой простой вещи – ведь они только снижают успеваемость. Я сама чувствую, что стала учиться куда хуже, сейчас всякий интерес к учебе пропал, все опротивело и надоело. «Скорей бы вырасти и уехать из страны варваров и дикарей», – думала я сегодня утром.

<17 октября 1933>

Сегодня мы с Ксюшей пошли гулять к Новодевичьему монастырю. Когда мы подошли туда, то на несколько минут на повороте нам пришлось остановиться, чтобы пропустить заворачивающий автомобиль. Это была странного вида машина, издали несколько смахивающая на «скорую помощь» или перевозку больных: большие окна и ярко освещенная внутренность… Она медленно и совсем близко проехала мимо нас, так что я ясно различила сидящих на скамьях вдоль стен людей. Их было человек пять-шесть, двое были в штатском, а остальные – в военном.

Они сидели молча, неподвижно, как-то странно напряженно и пристально всматриваясь в прохожих[26]. Сидящий у окна ближе к нам военный долго смотрел на нас, проезжая мимо, и даже повернул голову. Не может быть, да не ошиблись ли мы? Неужели это он?[27] Я не верила, я и теперь не вполне верю. Мы ускорили шаги. Скорей, скорей! Надо вовремя прибыть к монастырю, где мы могли бы застать его.

Мы почти бежали, у конечной остановки было много народу.

Редкие фонари тускло светили, покрывая мраком улицы. Мы с Ксюшкой подошли к кладбищенским воротам[28]. Сквозь узкую калитку в чугунных воротах виднелась асфальтовая дорожка входа, по которой редко проходили темные фигуры людей, справа неясно виднелись деревянные бараки для рабочих. Перед нами сплошной чернотой зиял спуск к пруду, вдоль которого тянулась толстая монастырская стена. Черные кривые ивы наклонялись над водой, вдали виднелись широким рядом светлые огоньки – там была набережная.

Безлюдность и темь неприятно бросались в глаза. Мы стояли на мостовой у больших ворот и вполголоса, почти шепотом, разговаривали. «Автомобиль может быть там, за стеной, у пруда, там никого нет». Но там было так темно, что мы не решились углубляться в жуткую темноту и долго стояли, тихо разговаривая и дожидаясь, когда кто-нибудь пойдет по этой дороге. Наконец какой-то мужчина прошел мимо нас и направился к пруду.

Мы тронулись за ним, спускаясь по крутому спуску. Страшной казалась темная облезлая стена, вода была спокойна и неподвижна, кое-где в ней отражались фонари, да далеко на берегу ютились дома. Сзади слышались звонкие голоса не то женщин, не то детей, и, ободренные этим, мы довольно быстро продвигались вперед, пока не дошли до поворота. Городской свет не проникал сюда, и все тонуло тут в полном мраке. Впереди я услыхала выкрики и мужской говор. «Идем обратно! Все равно ничего не добьемся». Рысцой бежали мы обратно.

Гулко отдавались наши шаги под каменными сводами ворот. Густые елки тесными группами стояли вдоль аллеи, могил и крестов не было видно. Все здесь было разорено. На темном фоне ярко вырисовывались высокие колокольни белой старинной церкви и блестели позолотой своих куполов. Несколько стройных голубых елей окружали небольшой белый склеп с золотым куполом. В сущности, чего мы хотели?

< 18 октября 1933 >

Сегодня мы с Ксюшкой часа в три пошли на Воробьевы горы. День был тихий и теплый, подернутый голубой дымкой тумана. У перевоза мы долго сидели на пристани, закинув головы и смотря в небо. Особенно запомнился мне маленький деревянный мостик, внизу скачущий веселый ручей и звонкие всплески воды, бегущей с крутизны. Слева широкая дорожка, усыпанная листьями, и высокие прозрачные березы с розовато-желтыми листьями за оградой. Всюду этот синий сумрак.

Странная штука жизнь. Запутанное сплетение невероятных обстоятельств и противоречий. Но еще более странная вещь человек: он страдает, мучается, изнывает в тоске и злобе, умирает с голода и холода – и все-таки живет. Зачем он живет? Для того, чтобы в один прекрасный день на заре осуществления всех своих заветных надежд попасть под поезд или, сделавшись стариком, быть свидетелем смерти дорогих ему существ и умереть потом одиноким и ненужным? Найдите мне человека, который мог бы сказать чистосердечно и откровенно, не вспомнив ни одного темного пятнышка в своей жизни: «Да, я прожил счастливо». Я не понимаю жизни. С какой стати создали людей и дали им способность мыслить лишь для того, чтобы страдать. Я слушаю сейчас музыку, слушаюсь и наслаждаюсь и… становлюсь еще более несчастной. Тоска, вдруг появляющаяся в сердце, непонятная, глупая и мучительная. Нет счастья, есть только покой. Когда пройдет детство и юность, пора надежд и желаний, то наступит этот покой, но он-то еще хуже, еще ужасней, ведь в нем уже не унесешься в рай на чудесных крыльях фантазии. Как странно – несчастлив бедняк, несчастлив и богач, страдает урод, страдает и красавица, проклинает свою жизнь и молодой, и старик: у каждого свое особое и непонятное другому, но сильное горе.

<29 октября 1933>

Плохая у меня особенность – с течением времени обида на кого-либо остывает, и я иду на компромисс. Так, теперь я опять разговариваю с Алькой, хотя в прошлом году думала по-другому. Однако сейчас я все-таки стараюсь сдерживать себя и не заводить слишком дружественных отношений. Какие в последнее время ребята наши стали хулиганами, почти все, включая и Левку. У меня все-таки к нему стало другое чувство, чем к остальным, совсем уже не то, что было год назад, но все же… ведь он красив, подлец!

Как-то на физике он и Алька что-то нарисовали и бросили бумагу на мой стол. Ксюша передала мне, а я недолго думая разорвала ее. На переменке Алька подошел ко мне и спросил: «Луга, ты прочла наше произведение?» – «Вот еще! Я разорвала ее». – «Ну и хорошо сделала», – вставил Левка, хитро улыбаясь. Черт возьми, а ведь он красивый парень! Надо сознаться, к величайшему стыду моему, что я еще до сих пор краснею, когда разговариваю с Левкой. Не так давно он вдруг на уроке обернулся ко мне, взглянул пристально и долго и так хитро и лукаво, с

таким задором прищурил левый глаз. Я, как будто не обратив внимания, отвернулась, а потом все смеялась про себя да вспоминала пару серых блестящих глаз. Все-таки Левка порядочный подлец и хулиган, а я почти и не замечаю этого.

<30 октября 1933>

Сегодня выходной… Я ждала его, ждала всю пятидневку, и вдруг… Что за жизнь? Этот день мне совсем испортили. Надо идти к девяти часам в школу, через десять минут придет Ксюшка, и я тронусь в путь. Ужасная вещь человеческая жизнь, комок сплошных противоречий. Нет в жизни истины и справедливости, все ложь, все обман. Обман даже в самой правде, во всем, во всем, и всегда он будет существовать. Никогда люди не увидят того времени, когда на свете все будут равны, когда один не будет иметь права принуждать и оскорблять другого, когда не будет сильных, правящих всем, и слабых, не имеющих прав. Жизнь – это борьба. В борьбе всегда выигрывает сильный, и сильный возносится до небес, а слабый пресмыкается у его ног. А что такое женщина? Женщина – это собака, которая стремится подняться до хозяина, занять с ним одинаковое положение и не может достичь этого. Что такое освобождение женщины? Это мираж, просто галлюцинация.

<8 ноября 1933>

Лучше бы не было этого отдыха и перерыва, держали бы уж все время в клетке, а то выпустили, дали расправить крылья и вздохнуть полной грудью, а потом опять засадили. Как странно и смешно мне вспоминалось настроение, с которым я шла в этом году в школу, все казалось так легко и интересно. Сколько было планов и надежд у меня, только подумать, до чего же я была наивна два месяца назад. А теперь? Что со мной делается теперь? За ученье взяться нет сил, а не учиться нельзя. Почему? Почем я знаю, я не знаю, все учатся, ну так и я буду.

Опять на меня находит прошлогодняя хандра, но в этом году мне как будто легче, потому что я не молчу уже целыми днями, морщась от боли, а иногда даже подолгу говорю маме и папе о школе и проклинаю перед ними свою жизнь. Я последнее время стала страшно несдержанная, постоянно ворчу и ругаюсь. Что же делать? Ведь так тяжело жить молча, да и ни к чему. Ах, как ужасно жить! Хоть бы школа сгорела и нас бы распустили, право,

я была бы рада. Не могу я ничего делать, запустила уроки и продолжаю запускать. Как переменить эту ужасную жизнь? Иногда позавидуешь старине, когда не надо было учиться и целый день можно было делать что хочешь.

Эти Октябрьские праздники странно прошли для меня. Шестого ноября я и Ляля пошли в Малый театр на «Любовь Яровую». Я давно не ходила в театры и в последнее время так отвыкла от них, что просто не тянуло, а теперь так хочется туда. Да, поистине я не видала еще никогда до этого дня настоящих артистов, играли хорошо, но так, как в этот раз, никогда не играли. Просто чудо и прелесть! Жизнь наша обычно пошла, скучна и неинтересна, слишком она переполнена мелочами. Но зато на сцене, там, где нет этих мелочей, она прекрасна, причем прекрасна и в минуты отчаяния, и в минуты безумного счастья. Там ты видишь ее во всех характерных ее проявлениях, не загаженную и испачканную, там сама начинаешь жить и, смотря на чужие человеческие страдания, чувствуешь себя счастливой и действительно живущей. Забываешь обо всем, решительно обо всем и видишь перед собой лишь этих интересных новых людей, полных чего-то неведомого и увлекательного, что называется жизнь.

Только и можно жить чужой жизнью. Уже не принадлежать себе, не быть собой, а чувствовать и переживать то, что чувствует другой. Я никогда не предполагала, что люди могут так играть, ничего неестественного и деланого. Нет, я не могу описать, какое сильное впечатление произвела на меня эта вещь. В антракте сидела безучастная и странная и все представляла себе Любовь Яровую, ее голос, в котором слышались слезы и страдания. О боже мой! Как хорошо она играла! А поручик Яровой? Как дрожал его голос, когда он, схватившись за голову, говорил: «Люба! Я не могу уйти от тебя».

Я страдала вдвойне, глядя на них, страдала вместе с ними и страдала за них. «За что боролись эти люди? – спрашивала я. – За что портили, губили свою жизнь и умирали?» Нередко так было горько, обидно за них, за этих благородных, идейных людей. Как над ними жестоко надсмеялись наши подлые большевики, превратив их идею и мечты в ужасную карикатуру, построив на их страдании, на их жизнях, которые они клали за великое дело, свое благосостояние, богатство Сталина и страдания народа. А после театра еще отвратительней и гаже показалась мне наша жизнь… Вчера с Женей пошла на «Демона». Мне везло в эти дни: второй раз бесплатно попадаю в театр. Эта вещь была совсем в другом духе, и я даже кое-где не слушала, а вспоминала все ту же «Любовь Яровую».

< 9 ноября 1933 >

Сегодня я не пошла в школу и целый день сижу дома. На улице снег, и меня тянет погулять, но нельзя – некогда… За что я мучаюсь, за что сижу целыми днями и получаю «отлично», ведь все, что проходили в прошлом году, забыла и помню не лучше Альки. Что стоит сейчас плюнуть на все и получать «удочки», и тогда… целый день я свободна: хочу гуляю, хочу играю и рисую, хочу пишу. Как хорошо! Но… я чувствую, что не смогу бросить ученье, не позволю себе стать ниже Ирины и других. Это слишком вросло в меня – непреодолимое стремление добиваться первенства во всем: я чересчур честолюбива.

При этом все думаю устроиться так, чтобы и заниматься мало, и учиться хорошо. Может, попробовать делать все уроки в школе, что возможно, поменьше зубрить и меньше дурачиться. Месяц, другой, а там привыкнешь к этому и втянешься. В прошлом году я хоть спала вволю, а теперь и это не успеваю делать, и с каждым новым днем я все больше ненавижу школу и ученье, мечтаю освободиться от них, но незаметно для себя так сильно втянулась в эту скучную и однообразную жизнь, что не смогу уже бросить ее, если даже и представится возможность.

Иногда так хочется гулять, валяться в снегу, но я знаю, что меня в действительности это даже не обрадует, так отвыкла я от всего этого. В прошлом году я была страшно глупа, записывая про Левку, как это было наивно и в то же время старо, сейчас читаю и удивляюсь, как я могла писать эту чушь. Пройдет года два, и я, пожалуй, перечеркну эти строки. На демонстрацию я не ходила, накануне поздно легла спать, и не хотелось рано вставать. Утром слушала радио: крики «ура» и оркестр. И было как-то больно и досадно чувствовать, что ты не принимаешь участия во всеобщей жизни[29].

Молодость хороша стремлением к борьбе, стремлением к справедливости, она ищет правду, добивается ее, а потом, как наберется опыта и узнает жизнь, охота бороться в ней пропадает. Она смиряется с людьми и с ложью, врастает в них сама, ее уже не удивляет и не коробит подлость, то, что вокруг «все не так». Я теперь уже во многом смирилась с жизнью, и то, что раньше возмущало меня, теперь уже не трогает. Я сначала радовалась, что спокойней стала жить, а выходит, ничего хорошего нет.

< 11 ноября 1933 >

Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ.
Быть может, за хребтом Кавказа
Укроюсь от твоих царей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей[30].

Любить как свою родину, так и любить ее людей, но еще ужасней жить среди дикарей, необразованной, некультурной народной массы. Среди грубого, дикого русского народа, ничего не понимающего, ни в чем не разбирающегося, свирепого, стихийного, как зверь, признающего только жратву и подачки, не знающего ни чести, ни гордости. Жить с нескончаемой злостью на все и на всех, начиная с самых низов, с темных крестьян[31], ненавидеть глупую, но до смешного покорную, то ужасающе бунтующую толпу и стремиться всеми силами помочь ей. Нет ни одного государства на свете, равного по своей обширности, даровитости и темноте нашей бедной и «немытой России».

<12 ноября 1933>

Через полтора месяца мой день рождения, но он уже не радует меня, уже прошло то время, когда я подолгу думала о нем и высчитывала дни и часы до него. Заставляю себя радоваться и не могу, несколько лет тому назад я думала, что двадцать пятое декабря будет для меня вечно счастливым днем, но… До прошлого года я любила этот день, ждала его, и вдруг все переменилось, я стала другой, непохожей на прежнюю Нину, у меня появились новые желания и интересы, а все старое, доселе интересное, опостылело.

Старые радости уходят навек, страшно и жутко думать, что с каждым днем и годом они все больше и больше уходят и грустно станет жить. Счастлив тот, кто любит и кого любят, вернее, счастлив тот, кто родится под счастливой звездой. Такие же, как я, «неудачники», могут только страдать и плакать. «Пусть неудачник плачет». Для меня любовь – это лишние мучения, ведь я люблю, люблю маму, люблю И. Ю., но все же как-то мучительно, порывами.

Проклятье быть уродом и иметь человеческую душу. Если бы у меня были деньги. Деньги, деньги! Что вы можете сделать?.. О, я бы каждый день ходила в театры, пересмотрела бы все вещи

там. Мне не нужна была бы тогда моя жизнь, я бы смотрела на чужую и жила бы ей. Я ничего не потеряла бы, ведь несчастной я не стану, а может быть, стану счастливой… Зачем же я стала читать книги и учиться? Для чего я стремилась научиться думать и понимать? О, если я была необразованной, темной крестьянской девчонкой, то я была бы счастливой, пусть много работала бы, зато хорошо бы и веселилась. Настанет когда-нибудь день, когда я прокляну минуту своего рождения.

<14 ноября 1933>

Настроение у меня страшно быстро меняется: то безнадежно тоскливое, то вызывающее, полное странных мечтаний и надежд. Эти перемены очень раздражают, злят, заставляют нервничать, хотелось бы всегда быть одинаковой: или радостной и сильной, или ненавидеть жизнь. Но весь ужас в том, что душа моя не слушает разума и воли. Сегодня у меня настроение одно, и я мучаюсь, проклинаю жизнь и готова всех растерзать, а завтра взгляд мой вдруг круто переменится, жизнь покажется не такой уж гадкой. С удовольствием возьмешься за ненавистные уроки и построишь вдобавок блестящий и грандиозный замок желаний о своем будущем. Но цели, определенной и реальной цели у меня нет. Зачем я живу? Во имя чего? Одному богу известно, просто копчу даром небо.

Даже мои писания, о которых так много думалось и говорилось раньше, пошли в отставку, просто нет времени заниматься ими, и постепенно пропадает желание. А было ли по-настоящему у меня когда-нибудь желание? Не иллюзия ли это была, пустая погоня за совершенством? Я любила сочинять только в голове, на бумаге же дело поворачивалось в другую сторону, пыл проходил, и ничего не получалось. Сейчас я и не мечтаю стать гением, ни о чем не мечтаю, даже обычная моя «игра» нейдет на ум.

Интересно иногда рассмотреть свое прошлое, разобрав его по ниточкам. С малых лет у меня появились в характере некоторые слабости: подозрительность, доходящая иногда до нелепости, и мечтательность. О чем думала, что представляла или, вернее, во что «играла», как я называла это, вероятно, не решусь никому рассказать. А в последние годы я любила по целым часам сидеть в комнате и сочинять различные вещи, разговаривать, изображать и переживать, на разные лады переделывая одно и то же.

Когда мне было семь-восемь лет, подозрительность моя дошла до болезненности: я в каждом слове чувствовала скрытый

смысл и заговор против себя, всего боялась и, оставшись одна, осматривала все углы и закоулки – нет ли кого? В те годы мне часто снились поразительно яркие и страшные сны, которых я с ужасом ждала и от которых просыпалась в холодном поту и с сильным сердцебиением. Один сон, часто повторяющийся, сам по себе не представлял ничего особенного, но он внушал чисто физическое и тошнотворное отвращение. Несколько лет это ощущение повторялось уже наяву, и я пыталась понять, внимательно изучая его, что же это такое, но не могла…

<18 ноября 1933>

«Проклятье быть уродом!..» В прошлый выходной я встала очень поздно, хмурая, сердитая и готовая заплакать… Настроение было ужасное. И вдруг, совсем неожиданно, как с неба свалилась, пришла в голову мне обаятельная по своей новизне мысль: «Бросить все и заниматься дома». Мое дурное настроение как рукой сняло – целый день я дома, и одна. Я представляла себе всю прелесть этой неожиданно перевернувшей меня жизни: играть на рояле, гулять, писать, рисовать, читать вдоволь и, конечно, учиться. Весь выходной я думала только об этом, эта новая мысль так затянула. А когда потянулись скучные, однообразные и будничные дни, мне уже не было тяжело и горько, я ложилась и просыпалась с неизменной мыслью: «Скоро, скоро». По временам приходили сомнения: «А может, это невозможно? Что за чушь я придумала?» Невесело тогда становилось на душе, школа мне стала невыносима, до того там было все противно и гадко, опротивели педагоги и ученики, боязнь перед опросом – опротивело все.

<29 ноября 1933>

Как и когда это случилось?.. Не все ли равно! Только я уже пятидневку не хожу в школу. Сижу дома одна, настроение все дни хорошее и веселое: подолгу смеюсь, сидя одна, или же начинаю бегать по комнатам, улыбаясь, часами играю на рояле и немного читаю. Каждый день приходит Ксюша, принося известия из школы, оттуда, с чем так хотелось бы совсем покончить. Как злит и раздражает эта неволя и связь с тем миром, гадким и противным, который хотелось бы совсем забыть, но хорошо, что хоть часть моих желаний исполнена. Время идет быстро и незаметно, занимаюсь теперь гораздо меньше и с большим

удовольствием, сегодня только немного омрачился мой отдых. У Жени ужасное и тяжелое настроение, которое часто бывало у меня, и я вновь им заразилась, опять появилась какая-то неудовлетворенность, какая-то злоба на жизнь.

Папа за обедом мне в шутку сказал: «Пойдем, Нина, путешествовать по России. Паспорт все равно мне не дадут». «Пойдем», – воскликнула я, так и вздрогнув вся от неожиданной радости. И в уме уже рисовались пленительные картины… Леса, поля, новые лица, новые города… Шумные потоки и широкие, спокойные реки. Темная сеть ветвей и листьев, пахучая и душистая трава, влажная хвоя, бесконечно широкое море колыхающейся ржи, ветер, милый летний ветер, и над всем этим небо, синее, далекое, то сердитое, то ласковое, покрытое тучами или ясное, чуть смеющееся вечером и бирюзовое по утрам…

Лечь где-нибудь в лесу, там, где не ступала нога человека, у мохнатых зеленых стволов берез, прильнуть телом к теплой земле, уткнуться в пахнущую здоровьем и весельем яркую траву и, заложив под голову руки, долго смотреть вверх, где сплетаются, образуя живой трепещущий шатер, гибкие ветки, где бьются зеленые листочки, шумят и блестят на солнце, где плавно раскачиваются стройные верхушки белоснежных берез и виднеется синее небо, вымытое и ликующее, залитое лучами солнца. На что мне книги, ученье? Я не создана для душной комнаты и людской толпы. Свободы! Свободы жаждет сердце… Слиться с природой хочется мне, взлететь высоко над землей вместе с вольным ветром и лететь… в далекие и неведомые страны. А меня держат в тюрьме, мучают, пытают и отравляют мне жизнь.

<5 декабря 1933>

Вторая пятидневка прошла быстро и незаметно. Такой ужасной кажется возможность опять идти в школу, а придется, и очень скоро, уже начались четвертные зачеты, и мама говорит, что мне их надо сдать. Больше пяти дней не просижу, пожалуй, школа мне сейчас не кажется такой отвратительной, как прежде, но боюсь, что вскоре все пойдет по-старому. Сейчас я чувствую себя прекрасно, настроение спокойное и веселое, ведь я совсем не вижу людей, ни с кем не общаюсь, все одна и одна, и некому напомнить про мое косое безобразие.

Сама же забываю я про него, но стоит мне только увидеть постороннего человека, промолвить с ним два-три слова, как с мучительной ощутимостью начинаю представлять свой взгляд,

противный и неприятный. Стараюсь не глядеть в лицо собеседника, отворачиваюсь и наклоняю голову, и тупая злость против всех и себя появляется в моей душе. Ужасно ощущать свое безобразие, но еще ужаснее находиться с ним среди нормальных людей, чувствовать, что все видят его. Они думают, что я по натуре такая молчаливая, дикая. Да нет! Недаром говорят, что «чужая душа – лес густой».

Никогда не узнает никто, что такой сделало меня мое собственное уродство. И теперь я урод вдвойне: урод физический и урод нравственный. Одно создало другое. Одно – это физическое уродство исковеркало, переделало на свой лад мою душу, сделало из нее какой-то ужасный комок противоречий, неуживчивый, мучительный. Заставило меня молчать, злиться, заставило страдать. А там, в самой глубине души, все-таки иногда прорывается пламенное желание быть человеком, таким, как Женя, Ляля, мама, все. А сознание, что это невозможно, так невыносимо.

<15 декабря 1933>

Дни идут и идут… Не то что быстро, а как-то незаметно. Но девятнадцатого декабря мне необходимо идти в школу, и это будет еще ужасней, чем раньше, ведь я так отвыкла от людей, стала такой дикой и странной. Чего я требую? Только одного – жить одной, и все, я раньше не думала, что счастье для меня заключается в таком немногом. Мне это временное уединение совсем не принесло пользы, наоборот, я так отвыкла от людей, что даже в присутствии своих родных чувствую себя отвратительно и решительно не знаю, куда девать себя.

Все кажется у меня смешным и безобразным: большие красные руки в непомерно коротких рукавах, сутулая фигура, которую я стараюсь выпрямить и которая от этого становится еще более неестественной и некрасивой. Все время находясь у бабушки, я не забываю об этом – о своем лице, о глазах и фигуре. Может быть, это легкомыслие? Не спорю. Но так тяжело думать, что вещи, которые приносят такую боль и мучение, не что иное, как только легкомыслие. Наверно, это действительно мое болезненное и обостренное самолюбие, хорошо бы мне побольше находиться среди людей, приучая себя не обращать внимания на свое безобразие. А я делаю наоборот.

Мама была права, говоря, что после перерыва мне еще трудней будет среди учеников в школе, но я все-таки не променяю обыденную жизнь среди людей, даже привыкнув к ней,

на краткие периоды моего одиночества. Зато как блаженны бывают дни, когда я остаюсь одна, – и тогда я бываю счастлива (почти всегда). Папа, смеясь, говорил, что мне самой скоро надоест мое отшельничество, но он глубоко заблуждается: чем больше я нахожусь одна, тем милее мне мое одиночество. Да, не всякому, конечно, понравится такая жизнь: каждый день ничем не отличается от предыдущего и будущего, а в то же время он так хорош.

В эти дни я много играю на рояле, жаль только, что не могу еще разбирать трудные вещи. Но я должна научиться, я серьезно взялась за это. Сегодня нарядилась в брюки Ляли, специально для физкультуры, и бегала по залитым солнцем комнатам, прыгала, играла с Бетькой. За окном голубое небо, белые неподвижные облачка, а внизу снег и яркие солнечные блики. А у меня на душе тихо и спокойно – словом, рай земной. Ну разве можно променять это на школьный шум и гам, на бесконечные волнения или томительно скучные часы уроков?

Мне очень часто хочется узнать, что думают другие женщины и девочки, тогда бы я окончательно поняла себя. Мы, женщины, не знаем себя, потому что нам не у кого подучиться. Все великие писатели – это мужчины, и, описывая женщин, они смотрят исключительно со своей точки зрения, они нас не знают. А мне так необходимо часто знать мысли женщин, их желания и потребности. Я лично представляю собой бесконечную путаницу и хаос всех желаний и потребностей, как мужчин, так и женщин. И (надо поставить в заслугу) страшно презираю последних за их глупость и бессилие выйти из-под власти мужчин и перестать быть рабынями, за что-то специфически женское.

<16 декабря 1933>

Нынче Ксюша предложила мне вдруг не ходить в школу до каникул. Я сидела и думала, а в душе все громче и смелей звучал голос, говоривший «Останься!». Я теперь почти уверена, что останусь. Все равно решение зависит только от мамы и папы, хотя перед ними немножко стыдно, что так быстро меняю свои решения, но зато как пленительно манят эти десять дней. А там еще пятнадцать свободных и беззаботных дней.

Сегодня я взяла свои старые тетради 1928–1929 годов с сочинениями и, читая их, не могла не смеяться. Как они наивны и по-детски просты. Однако в 1929–1930 годах появляется в рассказах некоторая идейка в связи с коллективизацией и разорением крестьян, я начинаю выступать против большевиков,

ругая их от лица своих героев. Вообще, появляется серьезность и кое-что похожее на теперешнее мое писание.

<20 декабря 1933>

Сижу дома… Погода теплая и тихая, тучи сыплют мелким и легким снегом, даже не холодным, а приятно освежающим лицо, поддернутое пленкой синее на западе небо, в тумане виднелась неясная даль. А я сижу дома, по временам так тоскливо становится, я скучаю по морозному воздуху, по голубой дали и синеющему светлому небу. Я дала себе слово каждый день на каникулах гулять, и гуляла бы, если б Ксюша осталась в Москве: ходили бы вдвоем на каток и бегали по Воробьевым горам. Но она уезжает в деревню, единственный человек, с которым я могла бы гулять. А теперь? Ходить одной, оглядываясь каждую минуту по сторонам – нет ли рядом хулигана? Ну нет, это невозможно.

Я как-то услыхала случайный разговор мамы и папы обо мне и папины слова: «Она настолько ограниченна, что не интересуется ничем, ее не касающимся, и даже разговаривать разучилась». Горько и обидно стало мне от этих слов. Хотела вначале поговорить с папой, а потом раздумала. С какой стати унижать себя лишний раз? Трудно будет мне жить на свете. Куда я гожусь? Быть или конторщицей и корпеть всю жизнь над бесконечными цифрами, или учительницей непокорных, противных учеников, которые издеваются над тобой и дразнят. Незавидная судьба! А большего я не достигну, но, может, к тому времени меня покинут мечты и угаснут мои надежды. Но жить будет, я знаю, еще тяжелей, недаром же старики с таким волнением и грустной радостью вспоминают молодость. Чем все это кончится? Моя тоска, моя хандра…

<21 декабря 1933>

В странных, ненормальных условиях протекает моя жизнь. Меня можно сравнить с пожизненным заключенным, у которого нет никакой надежды на освобождение и который, не надеясь, все же мечтает об этом освобождении. Все время я думаю об одном. И эта единственная вещь есть я. И правда, если взглянуть на мой дневник, то нет там ничего, кроме меня. Все я да я. Правда, я как-то давно ничего не писала, пожалуй с весны прошлого года, то есть перед этим летом.

Как я кляла школу и ученье в прошлом году! А все-таки тогда

было легче, чем теперь. В общем, я теперь знаю, что ни за что не решусь оставить школу. Тогда меня удержала И. Ю. и отчасти в начале года Левка, теперь И. Ю. ушла, а Левка стал просто хулиганом и мальчиком с дуринкой в придачу. И я опять ненавижу школу, как и раньше. «И скучно, и грустно!» В душе пусто и нерадостно, тоска в сердце. В начале прошлого года было совсем не то, но лучше или хуже – не знаю.

Сегодня я порылась в дневнике, почитала про Левку, и стыдно стало. Боже мой! Какая я была дура, как я могла быть способна на такую глупость? Вся эта история с Левкой отвратительна, а мы были только в пятой группе. Пожалуй, всю кашу заварила я сама, и как вспомню об этом, начинаю презирать себя: и за глупое увлечение, и за то, что не могла скрыть его от девчонок, от Иры и Ксюши. Какой позор! Бегать за ним, краснеть от одного его взгляда и счастливо улыбаться на каждое его слово.

<22 декабря 1933>

Недавно, часа в четыре, вышла из дому, пойдя с Бетькой гулять. Было еще светло, в поле пусто и тихо. Выйдя на дорогу к реке, пошла, не отставая, за какой-то женщиной. Стыдно сознаться, но мне было страшно своего одиночества, которое я так люблю. Ведь это была моя первая прогулка, самостоятельная и без провожатых, поэтому понятно, что я чувствовала себя как-то странно, не находя рядом знакомого человека.

К счастью, дорога была оживленна, изредка навстречу мне попадались пешеходы, за мной шел какой-то мужчина, раз проехал извозчик на чудном вороном рысаке. Если б почаще устраивать такие прогулки, я, пожалуй, перестану бояться всякого встречного мужчину. Эти мужчины, пожалуй, испортили мне жизнь и в дальнейшем испортят ее еще больше. И кто виноват? Мама.

Зачем она мне с ранних лет внушала этот постыдный страх перед ними, не позволяя ходить одной?

Как мучительно было сознавать свое бессилие и ничтожество, невольное и полное подчинение мужчине. Как вырваться из этого подчинения, когда ты всегда находишься в их власти? Из-за этой боязни я теряла прекрасные минуты и даже часы уединения в лесу и поле. Я боялась возможности встретить «мерзавца», который вдруг возьмет и оскорбит. Есть еще время переделать себя, и я буду бороться, как только представится возможность. Я уже не боюсь выходить одна ночью на улицу, ходить по пустым полутемным лестницам, и это уже шаг вперед.

<24 декабря 1933>

Так тянет на улицу гулять, дома скучно и ничего не хочется делать. Последние дни я начинаю запускать уроки, никак не могу собраться, чтобы взяться за них, опять появилась неудовлетворенность, какое-то смутные желания. Можно ли вести отшельническую жизнь в пятнадцать лет? В самую лучшую пору жизни, чтоб никаких удовольствий и развлечений, одна бесплодная, скучная и ненужная наука, пахнущая мертвечиной и гнилью? А мне всего пятнадцать лет!

Правда, я уже отвыкла от какой-либо другой жизни, и нет мучительных резких порывов к веселию, но однообразие, отсутствие интересов и одиночество долгих дней и месяцев вылились в бесконечную тупую тоску. Интересно, что меня сейчас ничего не интересует: ни живопись, ни музыка, ни какая-то наука, ни писание. Все скучно и неинтересно, все представляет лишь необходимые в жизни и скучные обязанности. Даже спорт, коньки и гимнастические упражнения не доставляют удовольствия.

С некоторых пор, за что ни возьмусь, твержу себе «так надо», а не говорю «я так хочу». Излюбленными моими занятиями теперь, да и раньше было лежать по утрам в постели по нескольку часов, время от времени дремать и мечтать об одном и том же, но на разные лады. И это удовольствие я старалась доставлять себе как можно больше, хотя и говорила себе, что надо вставать. Как тянет иногда мечтать, хотя невольно и думаешь: «Зачем, это только мечты?» Мечтать я могу подолгу, целыми часами, ярко все представлять себе и разговаривать, заменяя несколько лиц. Что мне еще хочется – это читать, читать без конца, но и тут противное слово «надо» не дает покоя, запрещает читать романы и велит копаться в скучных, сухих историях. А как я люблю романы… Забываешь про все, живешь интересной чужой жизнью, переносишься в неизвестный чудный мир.

<26 декабря 1933>

В начале этого месяца я очень просила маму записать меня к глазнику в больнице, мне не давало покоя мое уродство, было еще свежо воспоминание о школе и общении с людьми. Каждый день я напоминала маме, но она не обращала внимания на мои просьбы, отговариваясь, что нет денег, а в сущности считая это лишним. Она отчасти права, потому что об операции, конечно, нечего и думать, но я тогда еще надеялась и ждала. Теперь же, находясь все время дома и никого не видя, я забыла о своих

глазах и перестала говорить о них с мамой.

Вдруг она сама вчера и сегодня напоминает об этом и просит отца записать меня, и отец, раньше неодобрительно относящийся к моей просьбе, без возражения соглашается. Мне показалось очень странным это их внимание – уж не прочли ли мой дневник? Только из него они могли узнать что-либо, и это вполне возможно, хотя я и не очень огорчилась. Бог с ними! Пускай читают – не все ли равно? Лишь бы не заговаривали, а если заговорят, то я не буду молчать и выругаю их как следует.

У меня отвратительные отношения с родными. Привыкнув к одиночеству и обособленности, я стала не в меру самостоятельной и не терплю, чтобы мне делали замечания и читали нотации. Я не хочу быть такой, но стоит только кому-нибудь на что-либо мне указать, я начинаю ругаться и резко обрываю. Наиболее обостренные отношения у меня с папой. Почему? Не имею никакого представления. Мы с ним более-менее одного характера, и от этого, наверное, все и происходит.

Разговариваю я с ним очень мало, да и вообще я до смешного мало говорю, но уж если мы с ним заговариваем, то обязательно поругаемся. Какое-то непонятное, но неудержимо сильное раздражение появляется у меня против него. И что за чертовщина! Никак не могу с собой сладить. Папа всегда был немножко ворчлив, но к старости (как это большей частью и бывает) эта слабость страшно усилилась. Он ворчит решительно на все: на радио, на маму, на нас и больше всего, пожалуй, на меня, я ведь все время под рукой верчусь. Это для него необходимая вещь, как еда и спанье.

Однако это не мешает мне уважать его, и уважать очень сильно. Если у меня есть авторитет, на который я почти во всем могу ссылаться, так это отец. Его слова для меня все (надо сделать оговорку, что только в политике и в науке)[32]. Насыщенные злостью и сарказмом слова отца я принимаю за правду, и чем более они резки тем приятнее мне. Папа – молодец, из простого крестьянина стать вполне образованным, умным и поразительно развитым человеком нелегко, и мы ему, конечно, не чета.

Мы сами о себе невысокого мнения, но еще более низкого мнения о нас отец. Он вообще ругает всю советскую молодежь, а мы для него самые глупые, неразвитые и ограниченные во всем люди. Этому еще способствует и то, что мы женщины, а все женщины для него дрянь, да и не только для него, но и для многих мужчин. Хорошо еще, что у меня нет брата: разница обращения с ним и с нами была бы колоссальной.

< 1 января 1934 >

Недавно пошла с Ирой на улицу, чтобы поболтать, ведь с ней не приходится задумываться, о чем говорить, она сама говорит без умолку. Мне было неинтересно и чуточку смешно ходить с ней и слушать совершенно меня не касающиеся и легкомысленные ее похождения. Возможно, и ей было невесело, но она с большим удовольствием описывала свою жизнь и времяпрепровождение в обществе очаровательных друзей – пятнадцатилетней хорошенькой своей подружки с ее поклонником, тридцатилетним греком. Целый вечер у них фокстроты и флирты.

Если бы я услыхала это от кого-нибудь другого, то не поверила бы, что Ира в свои тринадцать лет занимается этим, и в этом отношении она кажется куда старше меня. Сейчас уже в ней видна девушка, интересная, тоненькая и веселая, умеющая поговорить с любым кавалером и потанцевать. И хоть она и говорит, что ей сначала было неприятно, зато потом ей понравилось там. Вот какими должны быть девушки! А не такие уроды, как мы, думающие о каком-то равенстве, требующие, чтобы нас считали за людей. Кто внушил нам эти глупые мысли? Почему нам стыдно, когда за нас мужчины платят в трамвае, когда надо ходить на чужие деньги в театр? Что за глупости! Надо наконец понять, что мы только женщины и ничего более и ждать другого обращения с собой смешно и глупо.

Я уверена, что Ира не удивится, а будет польщена, когда в один прекрасный день грек подаст ей пальто или бросится помогать застегнуть ботики. И она будет права. Ляля и теперь уже считает нормальным, что в трамвае мужчины должны освобождать место женщине, хотя для меня это еще позорно. Как только я пойму, что мужчина неизмеримо выше меня, так брошу стремление встать с ними на одной высоте и буду даже рада подачкам, которые дают нам мужчины.

Словом, стану женщиной и не буду замечать особой полунасмешливой и оскорбительной улыбки при разговоре с женщиной, их изысканно преувеличенной вежливости. Сегодня папа сильно дал мне почувствовать себя женщиной, заявив: «Куда вам до ребят. Ребята молодцы, а вы ведь девчонки». И я стояла, чуть-чуть улыбаясь и не сердясь: конечно, он прав, разве можем мы равняться с ребятами? И вспоминались мои мечты и стремления, которым не суждено сбыться.

< 7 января 1934 >

В квартире я была одна, и это было счастье. Я говорила себе: «Есть два выхода: один – это как-то изменить свою жизнь, но это невозможно; другой – это вообще покончить с жизнью, но он также невозможен. Остается только одно». И я смеялась над невольной нелогичностью выхода: «Остается только продолжать жить, ничего не изменяя. Но ведь это невозможно. У нас три невозможности, и последняя является самой возможной невозможностью». Мне было тяжело, тяжело от своего бессилия. Если б мне кто-нибудь догадался в шутку предложить пузырек опиума, я бы не отказалась и спокойно б выпила. Но… так, чтоб не знал никто… не могу. Как-то странно и страшно, а что подумает мама, что с ней будет, и со всеми другими, но особенно с мамой.

Мучает меня все, что неизбежно, а то, о чем мечтаю, невозможно. Страшно мучает меня мое одиночество, но… почему я не могу расстаться с ним? Да мне некуда, некуда убежать от него! Вчера ходила с Женей и Лялей на Воробьевы горы. И это был за последние дни первый счастливый час забытья, мне было весело, и ни разу я не вспомнила о своей роже, меня просто не было со мной. А потом, когда вернулись домой, опять все пошло по-прежнему, все злило и раздражало – и сестры, и отец, а иногда и мама, но больше всех я сама. Ах, если б я могла быть без себя!

Чаще и сильнее меня мучает мое лицо и мой пол. Я – женщина! Есть ли что-либо более унизительное? Но я все же человек, и мне обидно и стыдно ухаживать за папой и Колей[33], когда они обедают. Какое они имеют право сидеть, разговаривать и смеяться, заставляя меня приносить им ложки, тарелки и отрывая от своей еды? Пускай я хуже их, ниже, ну и что? Я все-таки человек, свободный человек! Я хочу быть свободной! Но нет, они сломят меня, добьются своего, отец и сейчас упорно стремится создать из меня именно такую, униженную рабу. Он хочет, вероятно, чтобы я не задавала себе рокового вопроса, которому сам меня учил: «Почему они имеют на это право?» Неужели я сдамся? Нет, никогда!

< 11 января 1934 >

Сейчас сидела в кухне, рисовала. В квартире никого нет, кроме меня и Бетьки. Вдруг в дверь раздается стук, стук не наш[34], но страшно настойчивый. Некоторое время я продолжала рисовать, не обращая внимания. Я уже привыкла к этому, открываться я не собиралась – знала, что это чужие. Если бы не нелегальное положение папы, бояться было нечего, но так как он

живет у нас без паспорта – всего ожидаешь. Вдруг придет милиция? Теперь перед XVII съездом всюду ищут без паспортов. Чего они боятся? Неизвестно…

Долго звонил и стучал незнакомец. Я отложила в сторону карандаш и бумагу, сняла башмаки и неслышно вышла в коридор. В это время из соседней квартиры вышла женщина и проговорила громко: «Да их, наверное, дома нет». – «А что же собака здесь?» – ответил мужской голос. Человек еще некоторое время стучал, Бетька сидела на своем сундуке и звонко лаяла, а я стояла около нее с сильно бьющимся сердцем. Наконец Бетька перестала лаять, поэтому я решила, что человек ушел. Однако минут через двадцать пять раздался уже более тихий стук в дверь, постучали, кажется, три раза, но я не уверена в этом.

Опять залаяла собака, а я стояла, боясь пошевелиться, и думала: «Надо удирать, как только можно будет. Но и удирать-то ведь нельзя: каждую минуту может прийти папа, я должна быть дома, чтобы открыть ему дверь. Впрочем, жду только до четырех часов, а там захвачу Бетьку и тихонько убегу к бабушке. Придет или не придет этот человек опять?» До четырех часов оставалось полчаса, не знала, как заполнить их. Жутко было, не могла ни на чем сосредоточиться. Проклятые большевики, как я ненавижу их! Все лицемеры, лгуны и подлецы…

<17 января 1934>

Вечером в двенадцатом часу, когда мы пили чай, пришел папин знакомый и тихим шепотом сообщил, что домоуправление решило сегодня ночью делать облавы. «Уезжайте сию минуту», – сказал он папе. «Сейчас, сейчас». Папа был спокоен и даже несколько добродушно настроен – вероятно, от необычности своего положения. Он начал допивать чай, закусывая хлебом, но я все же подметила в его действиях некоторую поспешность и сдерживаемое волнение. И невольно подумалось: «Какое надо иметь самообладание и волю, чтобы в подобных случаях оставаться спокойным». Я и то чувствовала себя не по себе, сердце как будто чуть колыхнулось.

<18 января 1934>

Сегодня выходной, а вчера и позавчера я ходила в школу, и, как я и ожидала раньше, эти два дня показались мне интересными и веселыми, бузили мы вовсю. Но ведь это было и в

начале года, я теперь себя знаю и не ошибусь, знаю, что через две недели опять все надоест и опротивеет и опять я захочу домой. С досадой гоню приходящие иногда глупые мечты о том, что все полгода буду так же веселиться и любить школу. Но пока все ново, с удовольствием рассматриваю педагогов и ребят, с удовольствием слушаю объяснения, так приятно чувствовать себя неотъемлемой частицей большого, сильного организма. Немного обращала внимания на Левку разумеется без прошлых глупостей, внимательно всматривалась в него, поскольку с ним был связан ряд забавных воспоминаний. Он красив, теперь я в этом не сомневаюсь, и когда вырастет, будет очень красивым. Уже сейчас его лицо ярко выделяется на фоне разнообразных ребячьих лиц.

<31 января 1934>

Что со мной сделалось? Всего три-четыре дня назад я была весела и довольна, смеялась в школе, много болтала. И вдруг все перевернулось, опять скука и тоска, но я хочу понять причину этой перемены, хочу и не могу пока. До двадцать восьмого все было хорошо, в этот день я в школу не пошла, мне надо было ехать в больницу – папа записал меня к врачу.

Странное дело, на каникулах перед школой я страшно страдала из-за своих глаз, боясь, что в школе после такого большого перерыва я буду себя чувствовать свое уродство особенно болезненно. И вдруг… ничего подобного! Ничего не тревожит и не волнует, про глаза совсем забыла, не хотелось даже идти к врачу, ведь меня «это» уже не тревожит.

Врач сказал, что надо делать операцию, и я не удивилась и не испугалась, потому что давно привыкла к мысли о ней, но и не обрадовалась. Вначале меня даже забавляло, что я на несколько дней попаду в больницу, и я была прекрасно настроена: то, что раньше было несбыточной мечтой, воплотилось в жизнь; то, что казалось раньше невероятным и тревожным, теперь стало обыкновенным и естественным. Та мечта была хороша, потому что была мечтой, и я свыклась с ней, любила ее, но… когда появилась возможность ее осуществить, я испугалась, почувствовав, что этого делать не надо.

Я представляла себе, что стану нормальной, но я ведь знаю, что счастливей от этого не стану. Сделают мне операцию или нет, все равно, я о ней не думала. Так почему же испортилось настроение тогда? Не могло же на него повлиять собеседование в школе? Нет, дело совсем не в этом. Чувствую всю бесплодность, все безобразие современной жизни, и это страшно тяготит.

Видеть эту несправедливость, ложь и жестокость и чувствовать, что ты бессильна. Но что делать? Неужели никогда человек не будет совершенно свободен? Неужели свобода – это только иллюзия? Неужели вся та бесконечная многовековая борьба, которую ведет человечество за свободу, погибла даром?

Вчера утром поднялся стратостат в честь XVII партийного съезда. Трое смельчаков[35], невзирая на плохую погоду, с риском для жизни понеслись к суровым облакам и скрылись в сыром тумане. По сведениям, полученным со стратостата, было известно, что они поднялись на высоту 20,6 км. Последние известия долетели до земли между тремя или четырьмя часами дня – стратостат стал спускаться и вошел в полосу сгущающегося тумана. А потом все кончилось, ночь и сегодняшнее утро не принесли ничего нового, и только днем мы узнали, что были найдены щепки от гондолы и ни на что не похожие человеческие трупы. Это были не те трое смельчаков, которых воздушный шар унес накануне в далекую стратосферу. Они были там, далеко-далеко, одни в безвоздушном и бесконечном пространстве, потом ощутили в ушах ветер, когда с невероятной быстротой неслись к земле, дыхание захватывало, а там внизу их ждала неминуемая и ужасная смерть.

<10 февраля 1934>

Мне пятнадцать лет, и говорят, что это лучшие годы в жизни. Я это не нахожу. Когда я была ребенком, я была такой счастливой от своей детской глупости и наивности, счастливой, потому что не читала книг и ничего не знала еще. Теперь я поняла, что счастье – вздор, его нет на свете, его не найдешь. Иногда покажется, что оно тут рядом, сидит и дразнит, и только руку протяни – и сможешь обладать им. Но это обман, мираж. Что такое счастье? Это солнечный зайчик, видишь, как скачет он по стене, сидит на ладони, стоит только сжать кулак – и… он вдруг выскользнет из рук и желтым пятном беззвучно носится по лицу и пальцам.

Как теперь мне жить? Невозможно же жить так, как я живу! Что же мне делать? Если б нашелся такой человек, который помог бы мне найти дорогу. Я похожа на ребенка, заблудившегося в большом незнакомом городе. Он ходит день, ходит два, спрашивает: «Где мой дом?» Но кому какое дело, где его дом, откуда он, кто может знать, где его дом? Каждый занят только своим делом, своей думой, а ребенок может проходить неделю,

две и месяц по чужим улицам чужого города, пока кто-то не расшибет ему голову камнем или пока тяжелые колеса трамвая не раздавят его. Но мое положение еще хуже, я запуталась совсем, не могу даже идти наугад, так как зашла в тупик. Кто даст мне руку, кто поможет найти «дом» ребенку? Меня никто не понимает, мной никто не интересуется, меня не хотят учить жить! У каждого так много своего, все так заняты, чтобы интересоваться мной. А сама? Что же, мне стыдно сказать, что я страдаю, мне стыдно открыть свою душу? Но кому я скажу?

Папе, который презирает нас, вечно ворчит, называет каждый день бестолковыми, ничего не понимающими чуть не дурами. Ему, который, когда я, плача, просила взять меня из школы, хотел успокоить мои слезы тем, что обещал часто ходить в музеи и в кино. Как будто они были вызваны мимолетным детским капризом, как будто я могла из-за пустяков настолько унизиться, чтобы плакать при нем. Мне и так стыдно, что я не смогла удержаться от слез и дала ему повод называть – хотя бы про себя, но все же называть – меня легкомысленной, глупой девчонкой. И этому человеку вверить всю свою душу, все свои тревоги, все свои мечты? Он, пожалуй, и теперь предложит сходить в Политехнический музей. Можно рассказать все маме. Но что пользы? Она, может быть, и поймет, как мне тяжело, как я страдаю, но она не поймет, из-за чего я страдаю. Она пожалеет меня, но не укажет дороги, а на следующий день забудет весь разговор в хлопотах о хлебе насущном.

Девочкам (сестрам) я не скажу вовсе, они вряд ли пожалеют меня и ничему не научат, им самим только по восемнадцать лет. А одна я дорогу не найду, я запуталась в своих мыслях и желаниях, меня мучают сомнения, и я не понимаю себя, чувствую только, что одна, совсем одна во всем мире. А так хочется друга, хочется ласки, хочется любить. Кого любить? Я не говорю о каком-нибудь молодом человеке, этого я не хочу, я просто хочу любить. Почему у меня тоска? Я и сама не знаю. О чем у меня тоска? Она не говорит, она пришла и сосет и рвет душу, и, кроме нее, нет ничего. И я хочу освободиться от нее, почувствовать в одно прекрасное утро, что у меня внутри легко и светло. Эх, жизнь! Не сбудется это никогда, загубит мою молодость тоска-кручинушка. Папа говорит, что жизнь – борьба, что надо бороться, но как бороться, за что бороться, чего добиваться?! Бороться ли с тоской, бороться ли за деньги – я не знаю. Я понимаю только одно: я несчастна, я страшно несчастна, изныло сердце. «Ах, исстрадалась, истомилась я». Если б я имела цель, любила эту цель, жила бы ради нее, тогда б не страшна была бы борьба!

< 17 марта 1934 >

Уже с четвертого марта я нахожусь дома, не раз меня тянуло к дневнику, да все не могла собраться. Глаза болят и страшно быстро утомляются, а тут надо еще переписывать мои больничные записи. Да и сегодня немного придется написать, уже десятый час, и скоро придет мама. Как долго я находилась в больнице – целых пятнадцать дней. Странная новая жизнь понравилась и полюбилась мне, помню смутно, как приятный сон, время моего выздоровления, когда я с закрытыми глазами целыми днями лежала в постели, иногда прислушиваясь к тихим разнообразным разговорам больных, а больше находясь в состоянии полусна и дремотной слабости. Я быстро свыклась со всеми, и совершенно чужие люди, на которых вначале смотрела с неприязнью, стали близкими и понятными. Сблизили нас общее горе, общие страхи, общая жизнь в одном помещении, одни и те же желания и интересы. Теперь я даже жалею, что не написала ничего раньше еще в больнице, – теперь стало забываться, все превратилось в громоздкую, хаотическую кучу смутных и неясных воспоминаний.

Прожив дома столько времени, я стала забывать подробности больничной жизни, и в первую очередь вытеснились из памяти неприятные и мучительные минуты, как это всегда бывает, и осталось что-то неясное, но хорошее. Окунувшись в ужас домашней обстановки, в сверлящую тоску ничегонеделания и желания чего-то, я затосковала по больнице, нет-нет да и потянет вдруг опять туда. Сегодня вечером, сидя с Женей, не смогла удержать в себе свою тоску и не поделиться своим одиночеством. Долго думала, как завести разговор о себе, хотелось высказаться, а что-то все-таки удерживало. И наконец, сказала одну лишь фразу: «Ах, в больницу хочется!» Женя немного внимания обратила на эти слова, а если б она чуть пристальней вслушалась в них, то поняла бы меня, пожалуй, поняла бы, как мне тяжело.

< 18 марта 1934 >

Не так давно я сказала Жене: «Можешь ли ты подать мне пузырек опиума, зная, что я отравлюсь?» – «Почему же нет? Конечно могу». – «А я бы не смогла… Жень, ты серьезно говоришь?» – «Конечно». – «Так подашь мне?». – «Подам, только сама достань опиум». – «Идет. Хорошо, но только не обмани». После этого нет-нет да и вспомню о нашем разговоре. «Надо отравиться, – говорю себе. – Глупо жить, когда знаешь, что впереди не будет никаких изменений, что вся эта долгая жизнь

будет, как сегодняшний и прошедшие дни, сплошным мучением, безысходной тоской о чем-то. Глупо и смешно так жить».

А как покончить с этой жизнью? Мне еще столько осталось сделать, мне еще так хочется пожить, и все мои желания связаны с этой жизнью. «Кончу ли я эту тетрадь к концу марта?» – думаю я, а через минуту, опомнившись, говорю себе: «Ведь для тебя теперь уже не существует конца марта». Да, трудно умирать, когда еще не все счеты покончены с жизнью. А перебороть себя надо, довольно я уже пожила и узнала все, а не сделав это теперь… как пожалею я потом.

Сейчас мама крикнула мне: «Не пиши много, а то глаза заболят». А что мне, на что они мне нужны теперь? Но зачем же я делала операцию? Ах да, ведь я думала понравиться! Но нет, мне не повезло и тут. Сегодня, когда смотрела на девочек, с трудом старалась сделать глаза прямыми, и особенно невыносимо было чувствовать, что один из них смотрит в сторону. Сейчас подошла к зеркалу и долго смотрела на себя: «Нет, все такая же! Умереть пора… Довольно, довольно». А умирать не хочется. Смогу ли я перебороть себя в последний и решительный раз? Надо сходить за опиумом к бабушке. Пойду-ка сейчас… Эх, как трудно…

<21 марта 1934>

В этот день я не отравилась. Почему? Ведь я пошла за опиумом к бабушке, но спросить у нее не удалось по некоторым обстоятельствам. В сущности, я бы уже не отравилась, если б даже и взяла его, я это чувствовала и шла туда только затем, чтобы исполнить как-то противную обязанность, чтобы оправдать себя в собственных глазах. Все равно я бы не отравилась – я еще слишком хочу жить.

Но собираясь умирать, мне надо подумать об участи моего дневника. Что будет с ним? Понятно, не найдя никакой записки, все бросятся к нему как к единственной разгадке столь странного поступка, начнут читать его, судить и рядить. И знаю я, сколько улыбок и усмешек вызовет мое самое сокровенное, то, что я прятала ото всех и любила по-своему, то, что доставляло мне так много мук. Не дай бог, если мой дневник попадет под папину критику. И хоть я и умру, а неприятно все же знать, что тебя начнут хулить, называть глупой, ограниченной девчонкой, сентиментальной мечтательницей и хандрой. Все это, может, и правда, но они не поймут меня, не поймут моей тоски, не поймут, что я хоть и из-за пустяков, но страдала по-настоящему, как, может быть, не всякий из них страдал. И спустя десять –

пятнадцать лет сестры будут рассказывать своим детям с чуть презрительным сожалением о странной своей сестре Нине. Последние дни мне иногда так хочется высказать кому-нибудь все, открыться полностью, закричать им: «Я жить хочу! Зачем вы меня мучаете, заставляете учиться, учите приличиям? Мне ничего не надо! Я жить хочу, смеяться, петь, быть веселой. Мне ведь только пятнадцать лет, ведь это лучшая пора жизни. Я жить хочу, научите меня жить!» Но я никому этой правды не скажу – они не поймут и посмеются надо мной. Мне даже не надо, чтобы понимали, но я требую, чтобы к моим мыслям относились серьезно и с некоторым уважением. А то как-то не так давно сказала я отцу, что скучно мне, так он несколько раз так смеялся надо мной и говорил: «Ненавижу таких людей, которые говорят без конца: скучно мне, скучно мне!» – «Ну так знай, никогда не буду тебе говорить это», – зло сказала я. То же самое было и с мамой.

<24 марта 1934>

Начинаю втягиваться в старую, привычную жизнь, опять та же неразговорчивость, тоска, мечты… Опять на улице опускаю глаза перед прохожими и болезненно ощущаю всякий, иногда и случайный взгляд, стараюсь быть незаметной, сутулюсь, наклоняю голову. Пока еще и это не очень тяжело, но пройдет полмесяца – и как начнет нервировать все это… Как подумаю, что всю жизнь надо мучиться из-за этих глаз, так прямо жутко становится, они погубили половину моей жизни, наверно, и остальную погубят. Чего могу я добиться с ними? Чему посвятить себя? Стать музыкантом… или художником… или писателем?

Я все уже перепробовала. Музыка, признаться, больше всего у меня хромает; во-первых, я не чувствовала к ней влечения и, кроме хорошего слуха и способности быстро запоминать, не имею никаких музыкальных талантов. Так что ее придется бросить. Рисовать я начала очень рано, хорошо помню свой первый рисунок – крестьянская хата, срисованная с пенала и увеличенная в несколько раз. После этого я полюбила рисование, много срисовывала, фантазировала сама, и не без успеха, в шутку даже мама говорила, что я буду портретистом. Но мне не удавалось писать красками, с первых шагов я не владела ими и поэтому особенно возненавидела, игнорируя их совершенно.

Стать писателем – тоже привлекательная будущность. Стихи я начала писать семь-восемь лет назад, потом постепенно стала переходить на прозу, так как не удавались большие поэмы, а

сидеть по часу над каждой строчкой, подбирая рифму, было так скучно. Я с увлечением стала писать повести, рассказы и отрывки. Удавались ли они – трудно сказать. Что могла написать хорошо совсем еще маленькая девочка, мало читавшая и еще менее жившая?! Произведения мои были наивны и подчас глупы, я их не показывала никому и поэтому не слыхала серьезной критики. Надо было, конечно, выбрать что-то одно, если б я хотела, чтоб из меня что-то вышло. Но что? Я не знала. А в последние годы я забросила все, потому что потеряла ко всему интерес.

<26 марта 1934>

Почему-то мне вспомнилось лето, когда я несколько дней гостила у тети на месте, где она работала. Как хорошо там было! Узкая извилистая река с небольшими березами по берегам и неизменными ракитными кустами; кое-где раскиданные деревушки. Я все время была там одна и боялась всего: каждого шороха листьев, каждого поскрипывания сосен. Но все же тянуло на волю, в лес, в глушь, и с жутким страхом я решалась пойти туда. Дом стоял на опушке небольшого леса, поднимающегося на пологий склон. Сосны росли вперемежку с низким и густым кустарником. Вниз к болотцу вела узкая аллея, по бокам которой росли густые молодые елки, уходящие под откос. Я часто бродила в причудливых узких коридорах, застревая в чаще колючих цепких ветвей, переплетенных паутиной и не пропускающих лучи солнца. Иногда со страхом и тайным удовольствием забиралась на высокие сосны и сидела там подолгу, далеко от земли.

Как-то я пошла по дороге, которая пересекала в конце аллею, по бокам ее росли березы, и целый день по сочной траве скакали резвые солнечные зайчики. Она постепенно перешла в тропинку, затерявшуюся в болотце, и ноги мои вязли в мокрой траве, а кругом все блестело и искрилось в ярких лучах солнца. Я внимательно глядела в темные тени кустов и на трепещущие листья, стараясь все запомнить. Но больше времени я проводила на кладбище, где пробиралась среди заросших и забытых крестов, рассеянных среди сосен и увитых цепкими, удивительно разросшимися кустами малины, где я часами собирала спелые ягоды. А по вечерам я ходила на косу, глядела на длинные синеватые тени деревьев, освещенные низким бледно-розовым солнцем. Не раз ходила и на широкий пруд и прыгала там через канаву или собирала нежные и влажные незабудки в мокрой траве.

Вот кончается мой дневник… Наконец-то. Я почему-то с

большим нетерпением ждала этого. Теперь возникает вопрос: куда спрятать его? Вдруг нагрянет обыск, и его возьмут случайно, наткнувшись на совершенно нецензурные слова о Сталине. И он очутится в руках шпиков. Будут читать его, смеяться над моим любовным бредом. Надо спрятать.

Вторая тетрадь

<28 марта 1934>

А! Все-таки начала новую тетрадь в марте! На улице пахнет весной, снег стаял почти весь, даже за городом его почти не встретишь. Огороды залиты вешней водой, и на бурых грядах торчат сухими колышками прошлогодние высохшие кочаны, а на подсохших буграх и горках чуть зеленеет сухая прошлогодняя трава. Река стала бурлива и широка, вода имеет чуть стальной оттенок от просвечивающего сквозь нее нетронувшегося льда, и она неспокойно колышется и накатывает на мокрый глинистый берег небольшие длинные волны, слегка дыбившиеся на гребнях.

Ветер, сильный и крепкий, налетая на одинокие группки деревьев, шумит в их еще голых ветвях. Воробьевы горы, что видны за рекой, кажутся маленькими и миниатюрными, кое-где на них чернеется вязкая от воды оттаявшая земля. Настоящая весна не наступила еще. Посмотрим, какое она произведет на меня впечатление, но пока она не трогает и не мучает меня, только дышу я бодрее и глубже на этом здоровом молодом ветре, а больше я ничего не чувствую.

Через три дня в школу, и я очень рада, что не думаю о ней, веду себя так, как будто мне еще осталось гулять две недели. Все эти дни увлекаюсь цветами: посеяли с мамой семена, и теперь раз по десять в день я заглядываю в банки, ожидая всходов. Строю различные грандиозные планы (даже здесь меня не оставляет мечта) о будущем моих цветов и ярко представляю дуб до самого потолка и большую пушистую тую. Как бы они украсили комнату! Но это только мечта.

Сейчас читаю запретную для меня книгу «За закрытой дверью», которую один раз уже отобрали у меня, после чего я не видела ее очень долго, теперь же опять наткнулась на нее случайно и, конечно, не упускаю случая почитать. В сущности, если б это был только похабный роман, я не держалась за него так, но в этой книге, составленной из записок врача-венеролога, встречается удивительно много нового для меня, открывающего глаза на жизнь, на которую я все же смотрю сквозь пленку незнания, и во многом мне приходится разочаровываться.

<5 апреля 1934>

Прошла пятидневка. Еще пройдет их четыре, а там будет май, а потом через десять дней конец. Конец! Будут еще экзамены, но это совсем не то. Все ново, все интересно! А теперь учусь, работаю вовсю, но… плодов не видно пока. Увижу ль я их когда-нибудь? Не знаю. Так досадно и больно становится, как подумаешь, что не успею подготовиться к экзаменам. А мысли эти часто приходят, приходят и мучают. Спрашиваю себя все время: «Успею подготовиться или нет? Я должна успеть!» А вдруг… нет, что тогда? Но не надо думать об этом, время само покажет.

Сегодня пришла опять моя тоска. В школе казалось скучно и неинтересно. Ира и другие девочки стали какие-то другие, чужие стали, а подделываться под них не хочется, вот и остаюсь одна. Думаю и думаю, спрашиваю себя: зачем я пошла в больницу, зачем пропустила целую четверть, которую нет сил наверстать? Ведь ничего не изменилось, опять, как и прежде, кричат вслед ребята: «Косая». И как и прежде, я не смотрю кругом.

Уроков, уроков! Просто жутко подумать. С семи часов утра до одиннадцати-двенадцати ночи занимаюсь, и это не преувеличение. Форменным образом не отрываюсь от книги и, несмотря на это, все-таки боюсь не подогнать, и не потому, что прошли безумно много, а просто потому, что не хватает моего маленького женского умишка на это. Потрачу силы и время на пустяки.

Первые два-три дня я уверенно говорила своим, что подгоню обязательно, потом стала отмалчиваться, а последние дни говорю, что дела идут плохо, и поговариваю об осенних экзаменах. И вероятно, так и выйдет, ведь за эти шесть дней я не успела даже все переписать, а за повторение и не бралась. Так-то дела наши!.. Хотела написать кое-что про Димку Л., которому уделяю сейчас больше, чем следует, внимания, да уж ну его совсем, очень некогда. Сейчас пришли девочки. Играют на рояле, поют. «Нина, – говорит Ляля, – пойдем на „Грозу“ в кино». «Нет, не пойду», – отвечаю я, а самой так ужасно тоскливо становится, хочется плакать. Ах, ведь я бы могла жить! Зачем я пропускаю молодую прекрасную весну?

<11 апреля 1934>

Кончилась вторая шестидневка. Что ж, ничего – жить можно, занимаюсь уже гораздо меньше, решив сделать небольшой перерыв, а с первого мая перед экзаменами опять начну заниматься. Школа затянула и понесла, я забыла о больнице, о чужеглазой, чуть похожей на японочку Заре, о Нюре, тоненькой и

миниатюрной с удивительно приятным и высоким голосом и милым лицом, забыла даже красавицу Нину, с большими выразительными глазами, черными, оттененными ресницами. Изредка приятным видением промелькнут высокие белые палаты, мягкая чистая постель и строгая симпатичная фигура доктора или операционная, светлая и залитая солнцем. Но эти приятные воспоминания невольно мешаются с горечью и досадой о неудавшейся операции, но я сейчас о глазах думаю очень мало. Так много пришлось провозиться с ними, что надоело, притом что с операцией рухнула и последняя моя надежда, а прежняя злость и проклятья сменились глухой покорностью.

Об экзаменах стараюсь не вспоминать. Они еще так не скоро будут, и так страшно думать о них. Школа крепко захватила меня, там я отдыхаю от себя, забываю навязчивые мечты о счастье и необходимости еще долгие годы продолжать учить уроки. Там ты не один, там вокруг тебя сидят десятки таких же близких по своему положению людей, там видишь уже знакомых, но все же новых педагогов, то любимых, то неприятных, там можешь услыхать какую-нибудь новость, посмотреть на какое-нибудь происшествие. Движение, иногда беготня по лестницам успокаивают душу и мысли, говоришь на переменах и на уроках, высказываешь свои взгляды, и от этого как-то приятно становится. Нет никаких неприятных историй, со всеми девочками я в прекрасных или, по крайней мере, в хороших отношениях, с ребятами же мы не имеем никаких отношений.

< 12 апреля 1934 >

Когда я собиралась идти в школу, меня интересовали два лица: Левка и Димка. Из-за чего появилось у меня в прошлом году увлечение Левкой? Он, сын И. Ю., голубоглазый красавчик, так неожиданно появился и казался таким необыкновенным, непохожим на других и в то же время таким веселым и простым. Необыкновенный интерес сменился чем-то большим, но вот прошел месяц, два, я лучше всмотрелась в него, увидала, что он самый обыкновенный мальчишка, и хоть некоторое время продолжало по старой привычке биться сердечко, но прежнего увлечения уже не было.

Теперь же этот интерес устремлен на Димку, маленького оригинала, еще более необыкновенного и если не отличающегося красивой внешностью, то берущего своим умом. Я подолгу внимательно слежу за ним и никак не могу понять, иногда он кажется мне просто неприятным, со своей вечно презрительной и

надменной улыбкой, особенно часто относящейся к девчонкам. Но именно поэтому и хочется заслужить другую, совсем простую его улыбку, которой редко он улыбается, но еще реже искренне смеется. Улыбка приподнимает его верхнюю губу так, что чуть видны белые блестящие зубы, напоминающие зверька. Я часто спрашиваю себя: «Что он такое? Не то необыкновенный гений, не то необыкновенный дурак». Это-то мне и хочется узнать.

Несколько дней мы глупо бегали за ним по дороге домой и жутко дразнили в школе, но теперь я решила переменить свое отношение к нему и просто-напросто наружно не замечать его. Вчера и позавчера его не было в школе, и я сдуру начала притворяться, будто мне очень скучно и неинтересно без него. И хоть все это сопровождалось смехом, но Ира, кажется, серьезно поверила. Надо будет завтра же покончить с этим, а то моя «игра в любовь» зайдет слишком далеко.

<18 апреля 1934>

Ах, скорей бы лето! Больше уже ничего не хочется. Коля и бабушка называют меня лентяйкой за то, что опять думаю об отдыхе. Но это неверно. Надо же о чем-нибудь мечтать и желать чего-то. Сейчас я одна в квартире. Мама уехала к знакомой, папы тоже нет, а с ним я сейчас в очень дурных отношениях. Иногда просто не выношу его и частенько ненавижу, противно ужасно, когда он начнет вдруг лезть. Вчера мы с ним поругались из-за чего-то, он назвал меня дурой и еще как-то и вообще говорил всякие грубости.

И я дала себе слово переменить как-то ставшие несносными отношения. Решила меньше грубить ему и говорить колкостей, зато уж ни о чем не спрашивать и не ласкаться. Его самодурство бесит меня. И частенько я благодарю бога за то, что живу не в XVIII–XIX веках, когда отец был полным господином в семье, несладко жилось бы нам под началом моего почтенного родителя. Моя антипатия к папе дошла до того, что я иногда желала бы, чтоб у нас совсем не было отца, по крайней мере, я представляла бы себе его добрым и хорошим.

Женя и Ляля целыми днями пропадают в институте: рисуют и пишут. У Ляли, кажется, удается, а вот Женя отстает немного, и мне жаль ее. С сестрами отношения стали сравнительно хорошими, вероятно потому, что мы мало видимся. Дня три тому назад нестерпимо хотелось рассказать все Жене, быть вполне откровенной и понятой, но не могу заставить себя, не могу просто назвать себя косою… мучительно стыдно. В тот вечер я даже

плакала потихоньку от Жени.

Все эти дни происходит во мне борьба. Не то продолжать свою мучительную жизнь, не то как-то перемениться. Спрашиваю себя: «Неужели уродка не может жить, неужели не смогу я найти друзей?» Да, надо перемениться. Пусть я такая, пусть! Что из того? Нельзя же всем быть красавцами, а так мучиться из-за этого не стоит, теперь буду стараться не думать об этом. Надо быть несколько пообщительней и веселей. Скоро конец ученья, скоро лето, а настроение, как и в прошлом году. Не думаю как-то, стараюсь не думать об экзаменах и мечтаю о лете, опять собираюсь много-много сделать, и опять, наверное, ничего не сделаю, но все-таки хорошо мечтать. Так хочется солнца, зелени и воли.

<22 апреля 1934>

С неделю, если не больше, тому назад на литературе произошел интересный случай. Учительница читала Островского. Ребята, стараясь показать, что они слушают, перекидывались записочками, переписка становилась все оживленней и оживленней, и в конце концов они так осмелели, что почти открыто кидали их через парты. Но вдруг как будто ничего не замечавшая учительница оторвалась от чтения и выхватила записочку у Антипки и Тимоши, сидевших на передней парте. Несколько минут она читала ее и, по мере того как подходила к концу, начинала все более и более улыбаться добродушной хитрой улыбкой. По классу пронесся еле уловимый сдержанный смешок; улыбающимися, полными любопытства глазами смотрели мы на нее. Она, смеясь и качая головой, сложила злополучную записку и обратилась к передней парте: «Это ты писал?» – «Нет, не я!» – твердо и смело ответил Тимоша. Напряженное молчание установилось в классе.

Некоторое время учительница молча осматривала хитрыми глазами мальчишек и наконец, совсем рассмеявшись, сказала: «А, теперь знаю, кто такими делами занимается. Стыдно, стыдно, не ожидала я от вас». Мы взглянули туда, куда был устремлен ее взгляд. Там, облокотясь на парту и по возможности закрывшись рукой, сидел Димка, напряженно улыбаясь, не смотря ни на кого, лицо его казалось почти малиновым. Как же мы наивн о и простодушно смеялись над ним, когда он, уткнувшись в парту, нервно царапал ручкой по столу и кусал пальцы, как весело поддразнивали его все последующие дни.

< 6 мая 1934 >

Через четыре дня экзамены, а я чувствую себя слабой по всем предметам. Надо заниматься, да не хочется. Окно открыто, и я смотрю на зеленую сеть ветвей, только распускающихся, на дальние, подернутые голубой тенью Воробьевки, на светлое весеннее небо… Весна в этом году ранняя, и так тянет жить. Еще вчера дала себе слово повторить геометрию, половину уже повторила, но хватит ли меня теперь на вторую? Надо чтоб хватило! Я должна смочь, вот сейчас примусь за сухие скучные теоремы. А воздух дышит чем-то прекрасным.

Взялась за учебник, чтоб улучшить чуть настроение и отвязаться от мешающих заниматься мыслей, а мысли-то скверные. Я называю их преступными и нехорошими и боюсь, что если не бороться с ними, то они примут слишком большие размеры и слишком яркую форму. Что за мысли? О, я не хочу их описывать, ведь на бумаге получится слишком пошло и гадко, намного хуже, чем на самом деле. Димка, подлец, опять сидит в голове, и я сегодня раз пять ловила себя на мысли о нем. Улыбалась невольно, а потом ругалась… Что это значит! Неужели?.. Нет, что за вздор. Этого быть не может, «это» что-то другое, любопытство, наверно. В сущности, мысли мои не гадкие, не очень гадкие, но тема неподходящая. Зачем я думаю о нем, вспоминая при этом красивого брата Лии, с синими ласковыми глазами, и мечтаю о несуществующем и поэтому прекрасном?

Вообще, отношение у меня к ребятам не такое, какому бы следовало быть, далеко не товарищеское, вернее, чувство к ним не товарищеское. Оно сейчас выражается лишь в том, чтобы быть с ними чаще, чтоб они обращали внимание на меня, даже вплоть до того, чтобы я им нравилась. Почему я не испытываю это по отношению к девчонкам? Надо уравнять отношения, но труднее всего прогнать мысли. Почему я стала думать о Димке? Он уже давно не ходит в школу, ребята последние дни распускали о нем всякие небылицы о том, что он «свихнулся» и что его собираются отправить в «желтый дом».

Тридцатого апреля Антипка заходил к Димке, а третьего дня мы с Ирой завязали с ним об этом переписку, говоря в шутку, что пойдем к нему в гости (к Димке). Однако шутка перешла в серьезное дело, и мы, скрепив обещание взаимным рукопожатием, решили действительно сходить к нему. Благо был предлог хороший, надо было передать открытку с извещением Димке, хотя ее-то мы умудрились потерять. И вот вчера, накатав открытку заново, мы спешно отправились с Ирой в интересное путешествие.

Долго ходили перед его домом, торчали на лестнице и наконец решились. «Дмитрий здесь живет?» – спросила Ира у открывшей дверь женщины. «Дима? – переспросила та и крикнула в комнату: – Татьяна! Дома Дима? Его девочки спрашивают!» В коридор вышла невысокая женщина в синем коротеньком халатике, с серыми большими глазами и симпатичным лицом. «Диму вам? Его нет дома», – сказала она, и меня поразил недостаток ее произношения. Она, как говорится, была картавая и выговаривала слова хотя и чисто, но с некоторым трудом и сильно выпячивая нижнюю челюсть.

Мы подали ей подложную записку. В те немногие минуты разговора с матерью Димки я заметила в квартире какого-то черного мужчину, похожего не то на еврея, не то на армянина, называвшего ее Танюшей, а Ира заметила маленькую черненькую девочку. Мамаша сказала нам, что Дима болел от переутомления: сначала спал целые сутки, потом была сильная головная боль и слабость. К величайшему нашему изумлению, она сказала, что он был позавчера в школе и, не застав завуча, ушел. «Как? Завуч все время была в школе», – сказала Ира. «Неужели? Неужели он меня обманул?» – воскликнула мать. У нее было странное, растерянно-удивленное лицо – видно, Димка не часто врал ей. «Я с ним поговорю об этом. А сегодня он обязательно придет заниматься».

Когда мы собрались домой, она неоднократно предлагала подождать Димку, который должен был скоро подойти. В этот день мы весь первый урок ждали его, но Димка так и не пришел. «Так неужели он лжет своей матери? Может быть, он все время обманывает ее?» – думалось мне, но я не могла поверить и не верю сейчас… Димка – и врет, это так не подходит к нему. А от чего он переутомился? Не с простой же учебы.

<18 мая 1934>

Тоска и скука по-прежнему, за географию так не хочется браться, а завтра экзамен. Мама звала гулять, я не пошла, ничего мне не хочется. Ну что я буду с ней и с папой делать? Да еще папа начнет высказывать свои мучительно-логичные наставления. Последнее время я просто не выношу его, злюсь на каждое его слово, говорю грубости и колкости, и как ни обещаю себе исправиться, все равно ничего не выходит. Отчасти поэтому мне все страшно опротивело, я не могу сидеть дома, куда-то тянет меня. Заниматься стала совсем мало, читать почти не читаю, скучная и злая все время. В жизни мне не повезло, и я часто спрашиваю себя: «А может, все люди такие же, может, у всех одна

и та же тоска?» Но мне вспоминаются пушкинские Ольга и Татьяна, и я становлюсь уверенней, что все-таки бывают счастливей меня.

Недавно была на улице. Жаркий летний день сегодня, пахнет до душноты хорошо. Женя с Лялей за городом, мама с папой на Воробьевых горах, а меня, кажется, никуда не тянет, а дома невыносимо. Здесь сидишь настороженно, прислушиваясь к шагам и голосам на лестнице, и каждую минуту могут прийти из домоуправления или из милиции справляться насчет папы – неприятно. Собралась было пойти к Ире, да потом раздумала. Зачем? Все там теперь как-то чуждо и недружелюбно, а Ксюшки, своего человека, там нет. Почему мне скучно в компании Иры и противны их занятия? Мне не интересно танцевать фокстроты, гадать на мальчиков и проводить время в пустой болтовне. Хочется серьезного общества, интересной беседы, но этого я никогда не найду… И о чем так мечтаю? О красивой любви, но это так глупо!

<1 июня 1934>

Кажется, что совсем недавно я с горечью думала, когда же я доучусь до седьмой группы, когда же я кончу семилетку, это казалось далекой, чуть ли несбыточной мечтой. И вот теперь это действительность, я перешла в восьмой класс, но это уже не волнует, не радует и близкое окончание школы. «Зачем? – спрашиваю себя. – Дальше опять то же самое беспросветное учение, сначала десятилетка, потом институт. И что будет, когда я окончу его? Поступлю работать? И это будет еще худшее время, ведь когда учишься – все-таки на что-то надеешься…»

Я не верю своим мечтам, и это хорошо. Я определила свою будущность, она очень обыкновенна и проста, а мечты – это совсем другое, это не жизнь, а отдаление от жизни, это просто отдых… У меня теперь постоянная потребность мечтать время от времени, в моих мечтах нет разнообразия, они всегда одни и те же, лишь с небольшими вариациями и изменениями. Но с каким упоением я переживаю свои мечтания, разговариваю, чувствую все, в них я совсем другая, которой никогда не буду в жизни, но, конечно, лучше. Как же скучно мне! Апатия почти совсем поглотила меня, изредка вырвусь из нее и опять сдаюсь, стараясь не позволять себе думать о чем-либо и создать внутри покой. В душе как-то пусто, и чем заполнить эту пустоту, я не знаю.

Вчера ходила в школу за учетными карточками, отметки мои почти все отличные, однако в ударницы я не попала из-за

отсутствия общественной работы, а жаль. Собираюсь на будущий год совсем не заниматься, и если не передумаю, то будет очень хорошо. В школе нас продержали часа три с лишком, но время прошло весело и быстро, так как групповод пристроила нас к делу, и мы с час работали. Встретила там Левку, по той же причине явившегося в школу. Не могу я перебороть к нему своего чувства, какого-то другого, чем к другим ребятам. Нравится он мне? Наверное, но это совсем не похоже на прошлогоднее: тогда все было гораздо сильнее и определеннее, это еще окончательно не изгладилось, а перешло в нынешнюю симпатию, в желание почаще видеть его, говорить с ним, иметь с ним какое-нибудь связывающее нас дело.

Совсем другое чувство сейчас у меня к Димке. Он часто мне просто антипатичен, я не хочу ни разговоров с ним, ни встреч, но при этом мне всегда хочется в его присутствии вести себя так, чтобы он обо мне был высокого мнения, чтоб считал меня выше других девчонок. Недавно, двадцать девятого, встретила его на улице. Я ходила сдавать химию и в начале десятого возвращалась обратно. Всецело была занята мыслями о ней, но недалеко от дома подумала вдруг о Димке: «Как бы мне не прозевать его! Я ведь никого не вижу на улице». Подумала и забыла, опять в мыслях вертелась злополучная реакция, из-за которой я плавала на испытаниях, не обращая внимания на прохожих, быстро шла вперед. Я никого не видала, но вдруг почувствовала, что совсем рядом кто-то прошел мимо меня. Я быстро оглянулась, это был Димка, в коротких штанах и тюбетейке, он показался даже несколько неуклюжим. Я несколько раз потом оборачивалась и улыбалась, жалея, что не увидала его лица. Я бы и не заметила его вовсе, если б он не прошел так близко. Он, наверно, заметил меня в самую последнюю минуту и потому, чуть не наткнувшись, резко рванулся в сторону, и это движение я заметила.

Я теперь не ненавижу школу, она ведь заставляет меня забыть о себе и как-то увлечься. Вчера с удовольствием пробыла в ней, смотрела на знакомые лица, которые за год успела переузнать. Ах, как жаль, что я близорукая, ведь сколько времени мне надо, чтоб как следует рассмотреть лицо. А до чего должно быть приятно быть красивой! Это ощущение наполняет гордостью душу, заставляет высоко поднимать голову и смело смотреть на людей, зная, что тобою восхищаются, а не прятаться в ожидании насмешки. Помню, мама как-то сказала, что от красоты тоже частенько бывают страдания, но что эти страдания по сравнению с тем счастьем, которое дает красота! Крупинки горя затопляются и растворяются в нем. Я люблю красивых людей, люблю созерцать их красоту, подолгу рассматривать, изучая каждую черточку

лица, каждый отдельный блеск глаз.

И я начинаю теперь в корне меняться, одиночество уже не влечет меня, а тяготит, мне хочется жизни и действия, мечтания уже не удовлетворяют меня. Но в своем новом стремлении я наткнулась на одно препятствие – отсутствие новых знакомых. Ведь у меня совершенно нет знакомых, лишь Ксюша, Ира – и все. Это до смешного мало. Сегодня Ира принесла мне молодого, еще желторотого воробушка, и как я по-детски была рада. Целый час возилась с птенчиком, пробовала кормить его и поить. Он ничего не ест, и положенная ему в рот пища так и остается лежать там, он или еще очень мал, а скорей всего, просто ослаб. Все время спит в устроенном для него гнездышке и, наверное, к утру помрет. А мне бы так хотелось воспитать его.

Несколько таких маленьких радостей и забот, и я буду счастлива, я оказалась не какой-то особенной, а самой обыкновенной женщиной. Теперь я понимаю желание женщины иметь детей – это просто стремление создать себе счастье, заполнить как-то гнетущую невыносимую пустоту души.

<4 июня 1934>

Второго июня в школе был выпускной вечер, и нам было страшно весело. Все, начиная с торжественной части, шло очень оживленно и интересно, при объявлении премировавшихся педагогов мы с энтузиазмом хлопали и были очень рады, затем премировали ребят. На этом окончилась торжественная часть, пришел конферансье, неудачно все остривший, потом начались различные художественные номера. В антракте я и Ксюшка купили себе на пару пирожок, а все остальное время шлялись по школе.

Было как-то приятно и легко от ощущения, что все свои, знакомые, с удовольствием всматривалась в лица ребят и девчонок, все казались какими-то хорошими и добрыми… И. Ю. была очаровательна, она постриглась, очень помолодела и в своей белой кофточке и серой юбке на помочах походила больше на молоденькую девушку. Во время представления она стояла вместе с заведующим и смеялась, как девочка, все к нему оборачивалась, заставляя нас посмеиваться. Нам было весело от сознания своей молодости, какой-то неясной мощи во всем теле, от страстного желания жить. Домой расходились веселые и, пожалуй, даже счастливые.

Вчера же изгрызла скука, на улице целый день шел дождь, и было по-осеннему холодно. Невольно все время вспоминала

школьный вечер, и я почти досадовала, что рассталась со школой на целых три месяца.

<9 июня 1934>

Последние месяцы мы с Ксюшкой были очень дружны, но ничего не бывает вечно на земле, пришел конец и нашей дружбе, которой я иногда даже тяготилась. Пишу «пришел конец», потому что уже точно решила порвать с ней, и безразлично – каким образом: тихо и благородно путем письма, которое я отослала сегодня утром, или путем ряда объяснений, если она будет приставать. У меня сравнительно мало злобы лично к ней но лишь вспомню о происшедшем, такая поднимается досада и обида на всех из-за того, в чем никто не виноват, и менее всего я сама.

Произошла наша размолвка вчера у Иры. Мы в это время сидели на скамеечке, я, зажмурив глаза и потирая их рукой, сказала: «Что-то глаза болят – вероятно, от того, что я руками играла». «Почему у тебя все глаза скосило? Наверно, как-нибудь веткой», – смеясь, воскликнула Лена. «Ну, довольно, без лишних шуток», – перебила я ее. «Что без шуток? Косая ты», – как-то нагло и грубо проговорила Ксюша. «Замолчи же, Ксюша!» – нетерпеливо и смеясь крикнула еще одна девочка. «Что же молчать, если она такая?» – «Не все же можно говорить, что думаешь», – заметила та же девочка. Я была очень благодарна ей, что хоть отчасти она поняла меня.

Наступило мучительное молчание. Я сидела, согнувшись и все еще прикрывая рукой глаза, и чувствовала, что начинаю краснеть, обида и оскорбленность поднимались во мне. Скоро после этого я с Ирой, которая, к счастью, не слыхала этого разговора, пошли посмотреть время, и оттуда, ни с кем не простившись, я удрала домой. Мне было обидно и больно, и я еще тогда твердо решила, что порву с Ксюшей. Сегодня я из-за этого случая обречена сидеть дома, так как боюсь у Иры встретить Ксюшку. Настроение плохое, хочется пойти на улицу, подальше от себя самой… Небо сейчас ясное, светло-голубое, на западе желтовато-розовое, а над туманными Воробьевыми горами повисли золотисто-прозрачные и светлые облачка…

<10 июня 1934>

Опять тоска… Она меня никогда не оставляла, однако с утра

впасть в такой пессимизм – дурной признак.

Мне грустно… Что надо сделать, чтоб избавиться от этой грусти? Чего я хочу? Я хочу забыться, не чувствовать, не думать… Быть счастливой невозможно, потому что решительно все увеличивает мою тоску.

Сейчас мама принесла букетик полевых колокольчиков. Нежно-лиловые, с тонкими до прозрачности лепестками на стройных высоких стебельках, они красиво рассыпались в бокале, наклоняясь изящными головками, их легкий медово-сладкий запах распространяется по комнате… А мне еще грустней, и, смотря на них, я чувствую, что напрасно теряю время, что сейчас мне надо было бы быть где-нибудь на даче и рвать, рвать эти чудно-прекрасные лиловые колокольчики.

Почему-то ярко вспоминается картина, когда-то и где-то увиденная мною: жаркий и душный день, горячее и ликующее солнце, небо, знойно-синее, с кучевыми белыми облаками, широкое поле с группами березок и осин, бугры и ложбины с высокой колыхающейся травой и всюду эти чудные лиловые колокольчики, высокие, с красивыми цветочками… И ветер качает их и перемешивает с травой…

Четыре-пять дней тому назад мама сказала мне, что нас с ней приглашает на лето к себе в Смоленскую губернию наш знакомый. О, как я была рада! Я ликовала. Ничего, что там нет леса и реки, обойдусь и без них, зато вырвусь из города и к знакомым. Я не хотела никаких удовольствий: ни сбора грибов и ягод, ни купанья… Мне только надо забыться, и жгучее желание на минуту заставило забыть логику, появились мечты: я хотела рисовать и писать целыми днями.

А потом пришло раздумье, тяжелое и мучительное. Я скоро перестала обманываться и поняла, что там опять будет тоска и гнетущая пустота. В душе моей сейчас страстное желание жизни и счастья, а там опять загрызет скука и мукой наполнятся долгие дни, опять ничего не буду делать, потому что не люблю и ленюсь. Но среди этих логичных жизненных рассуждений нет-нет да промелькнет горькая мысль: «Но неужели и там будет то же самое? Хоть одно лето провести вполне счастливо». Наплывали мечты, и мне не верилось в плохое, и так все время. Вчера и сегодня было особенно плохое настроение – все не могла забыть Ксюшкины шутки. Как-то грустно и скучно. Эх-хе-хе! Целый век буду хандрить, уж такой я человек. Сегодня вздумала писать букет, и, разумеется, ничего не вышло, колокольчики все время меня мучают. «Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня, темно-голубые»…

<20 июня 1934>

Каждый день собиралась взяться за дневник и все-таки до сих пор не взялась. Свободные на первый взгляд дни проходят незаметно и в мелочах, в последнее время начала вязать носки и проводила за этим невеселым занятием целые часы. Долго путала, распускала, вязала снова, но упрямо стремилась кончить дело, однако сегодня плюнула, бросила вязать – и сама этому рада, так как сразу же стала свободна. Погода хорошая, и тянет к Ире, но решилась лучше взяться за дневник. Сегодня несколько раз проходили грозы, воздух свеж и чист, небо светлое, а по краям томятся темно-серые, причудливо нагроможденные друг на друга тучи. Подолгу мечтаю о деревне и хоть сама знаю, что мечты мои глупы и несбыточны, но расстаться с ними не хочется.

Вчера встречали челюскинцев, пассажиров парохода «Челюскин», затертого во льдах, людей, проведших на льдине долгие десятки дней в тяжелой работе, с мучительным ожиданием возможной гибели в океане. Весь мир следил за ними… И многие, очень многие уже не надеялись на их возвращение, но они вернулись благодаря группе отважных летчиков, рискнувших в страшно тяжелых условиях совершить полеты на затерянную среди торосов льдину. В Москве челюскинцам и летчикам готовили триумфальный прием, и никогда, ни на одном празднике, не кричали все с таким энтузиазмом и воодушевлением «Ура!», как при встрече этих людей.

Меня нестерпимо тянуло на Красную площадь, и, слушая радио, мне почему-то хотелось плакать от счастливого ощущения симпатии к великим героям и от какого-то непонятного чувства, от желания принимать участие в общем торжестве, влиться в сплоченную взволнованную массу, со всеми вместе кричать горячее «Ура!» и от невозможности этого. Весь день по радио только и говорили о челюскинцах. Вечером я решила пойти встречать летчика Слепнева, который живет поблизости. На улице соорудили высокую арку, украсив ее гирляндами красных лент и цветов и повесив портрет Слепнева.

Часов в восемь вечера начал собираться народ, приехал грузовик, на котором установили стол, обтянутый красной материей. Около десяти часов народу набралось страшно много, сплошная масса сжатых тел тянулась по бокам улицы, оставляя посередине широкий проход. Толпа волной то подавалась вперед, то отступала, и не было никаких сил сдержать ее движение. На одном из балконов установили прожектор. Все было готово к приезду летчика, но… он не приехал. С досадой уходила я оттуда,

но в то же время с каким-то невольным и радостным чувством. Почему? Мне стало страшно за ту возможную толкучку, которую способны были устроить неорганизованные толпы людей, я почти была уверена, что здесь не обойдется без несчастных случаев. Встречу Слепнева отложили на сегодня.

<21 июня 1934>

Вчера все-таки была на встрече Слепнева, затащив с собой Женю, Лялю и их подругу Нину П., поэтому время ожидания мы провели довольно весело. Опять была страшная толкучка и давка, но до приезда Слепнева все-таки было сносно стоять. Часов в девять с трибуны раздались голоса: «Едет, едет! Тише!» Толпа зашелестела и стала умолкать. Между двумя рядами людей проехали две легковые машины и остановились неподалеку от нас, жадная толпа хлынула вперед. Под звуки одной распространенной песни приехавшие летчики вылезли из автомобилей и пошли к трибуне, сопровождаемые криками «Ура!» и аплодисментами. На мостовую летели цветы.

Я заметила летчика Слепнева только тогда, когда он начал говорить. Слов не было слышно, но я жадно тянулась вперед, чтобы увидеть невысокую плотную фигуру в синем костюме и голову летчика. Он изредка поворачивал лицо в нашу сторону, тогда я видела его мужественные твердые черты и белую форменную фуражку. Митинг кончился скоро, и Слепнев уехал к себе. Я не побежала за толпой к его дому, а повернула было к себе, но почему-то страшно не хотелось домой. Не могла я идти и к бабушке, настроение почему-то было ужасное, и я долго не могла понять причину этого и в неопределенной и раздражающей тоске ходила по улицам. Несколько раз я подходила к воротам его дома, смотрела на его портрет, читала на газоне написанные цветами слова «Привет товарищу Слепневу». Все это как-то трогало и волновало.

Наконец я вошла во двор, у парадного все еще стояли автомобили, украшенные гирляндами листьев и цветов. Здесь толпились ребята и женщины, я потолкалась среди них и пошла обратно, пытаясь разобраться в мыслях: «Почему мне скучно? Почему мне грустно?» Много всего лезло в голову, личные мои ежедневные интересы казались мелкими и глупенькими, а вся моя жизнь до пошлости глупой и противной. Казалось, что так жить уже невозможно, надо делать подвиг, надо все-таки прославиться… Вообще, я сама не знала, что тогда хотелось мне. Славы? Нет, она не нужна была мне. Путешествий, подвигов? Нет.

Мне просто хотелось еще разок, вблизи и как следует, взглянуть на Слепнева, ради которого я столько терпела и о котором столько думала. Когда же я немного успокоилась, то стало грустно и обидно.

<23 июня 1934>

Часто вспоминаю челюскинцев и летчиков, и это воспоминание приводит меня в восторг. Останавливаюсь около каждой витрины, чтобы взглянуть на Шмидта, Слепнева и других, внимательно рассматриваю лицо летчика Слепнева, и с каждым разом оно все сильнее нравится мне, это мужественное, красивое лицо с большими светлыми глазами, как-то тревожно расширенными. Как-то вечером слушали по радио передачу фильма «Встреча челюскинцев в Москве». Гудела бесконечным «Ура!» Красная площадь, неслись речи с трибуны, а мы с Женей, воодушевленные и улыбающиеся, жадно ловили каждое слово героев. А потом вспомнились те трое, которые в туманный день улетели в стратосферу, – и о них забыли[36]. Наше правительство не любит говорить о неудачах, оно хвалится лишь и не скоро, а может быть, и никогда не вспомнит доблестные имена Васенко, Федосеенко и Усыскина.

Двадцать седьмого уезжаю из Москвы. Радость сменилась сомнениями и опасениями, и что-то все настойчивее говорит мне, что и там я не укроюсь от своей тоски. А ехать все-таки хочется. Недавно с Лялей была в Третьяковке и почти разочаровалась в художниках, Шишкин и Левитан не произвели впечатления, и я с тяжелым сердцем гуляла по залам. Однако некоторые картины хороши и врезались в память, например «Больная» Поленова, у которой мы долго стояли с Лялей, картины Куинджи и немногие другие.

<5 июля 1934>

Хочется так много-много написать, но хватит ли терпения? Сейчас лежу в траве около дома, ветер такой, что может сорвать крышу, так и свистит в ушах. Я нарочно ушла из дому, чтобы опять наслаждаться природой: кругом дома поле-поле, далеко на горизонте видна деревушка, в полуверсте от нас расположены одинокие дворики, и лишь вдали ярко зеленеют молоденькие курчавые березки. Это лесок, с ним рядом еще березки в ложбинах и на бугорках, поля вокруг засеяны рожью и овсом, и

ярко зеленеет бурьян, цветущий кое-где нежными лиловатыми цветочками. Я никогда не жила в поле и теперь наслаждаюсь этим привольем и таким широким простором. Сначала я долго не могла привыкнуть к его ослепительному свету, а его синяя полутень по ночам не пугала, а куда-то тянула…

<8 июля 1934>

Как и всегда, записи делать неохота, поэтому они странно отрывочны и почти бессодержательны. Если начать подробно описывать мой приезд в деревню и поездку на поезде, то выйдет, пожалуй, слишком долго и скучно. Ну а все же попробую. Помню, день нашего отъезда из Москвы был ужасным по моему мучительному настроению. С утра я поехала с мамой в центр покупать краски и еще кой-чего в магазинах. Одна упорная мысль сверлила мой ум – челюскинцы. Я жадно заглядывала в витрины магазинов, чтобы лишний раз посмотреть на портреты героев, и в особенности, надо в этом сознаться, на портрет Слепнева.

Раньше я смеялась над сентиментальными девочками, влюбленными в интересных героев и знаменитостей. Но чем же лучше их оказалась я? Если у меня «это» и не было влюбленностью, то чем-то уж очень близким к этому. Страстное желание видеть его уже не на портретах, а наяву увеличивалось у меня с каждым днем. А в этот последний день пребывания в Москве я с особой и постыдной надеждой пристально оглядывала людей в белых высоких фуражках со значками, разбирать которые я не умела, поэтому моему осмотру подвергались и моряки, и летчики, и целый ряд людей других специальностей.

На шумных улицах Петровки и Кузнецкого моста беспрестанно мелькали белые фуражки, и я пристально вглядывалась в мужские лица своими близорукими, в трех шагах ничего не видящими глазами. Я ругала себя, давала слово не делать больше этого и, краснея от стыда за себя, упорно вертела головой. На Смоленском рынке, когда мы с мамой быстро бежали к трамваю, мимо нас прошел высокий человек в форменном синем пиджаке и знакомой белой фуражке. Меня охватило такое волнение при виде красивого профиля и голубых глаз, что я, забыв все на минуту, резко обернулась, почти столкнув с ног какую-то девочку.

Он шел быстро, и очень скоро я могла видеть только белую яркую фуражку. «Бежать за ним», – промелькнула внезапно мысль, но рядом шла мама, которой просто невозможно было объяснить подобный поступок, да и с остановки уходил наш

трамвай. Кто это был? Я до сих пор не знаю, так как знакомое только по портретам лицо Слепнева, в сущности, мне было совсем незнакомо. Вечером, часов в семь, приехала мама, и только тогда начались наши сборы. Я была почти уверена, что мы не успеем, но все же мы успели и в начале десятого выехали на вокзал.

Оказалось, поезд должен был отправляться лишь в час ночи. Бесконечное ожидание на протухшей пыльной мостовой… Стоя у высокой каменной стены, я рассматривала людей, проходивших мимо и расположившихся в очереди. Это было жалкое, ободранное простонародье, крестьянство, и среди них я чувствовала себя особенно чужой, хотя и любила их. Частенько встречались пьяные субъекты с матерщинной руганью. Ходя по вокзалу и разузнавая, как и что, мама случайно узнала, что дети до пятнадцати лет проходят в детскую очередь. Я была страшно рада этой неожиданно появившейся возможности без толкучки и как следует устроиться в вагоне. В этот день нам впервые повезло.

В вагоне мама заняла верхнюю полку и первую половину пути спала на ней. Я сидела внизу, у открытого окна, и слушала неприхотливые разговоры соседей, а потом, когда вагон заснул, уселась на столике и, высунувшись в окно, смотрела кругом, иногда чуть дремля почти ни о чем не думая и испытывая какое-то ощущение отдыха и спокойствия. Лишь под утро влезла я на полку, но не заснула совсем, а так валялась, закрыв глаза, и прислушивалась к отдельным голосам. Из всех пассажиров нашего вагона, кажется, одни мы были интеллигентами и ехали «на дачу», и мне было мучительно стыдно перед этими полуголодными людьми, которые не знают ни минуты отдыха.

<13 июля 1934>

Треть месяца прошла… Через полмесяца мы едем в Москву, но об этом еще рано думать. Сейчас живу в настоящем, если не считать обычных моих мечтаний, от которых не могу отвязаться и на которые не стоит обращать внимания. Не особенно весело здесь, но и не так скучно, день наполняется маленькими заботами, которых так много в крестьянском хозяйстве. Я целый день нахожусь дома, в лес мы ходили только раза три-четыре. Здесь кругом поле и простор, и меня никуда не тянет.

Я сначала дичилась крестьян, а теперь это чувство проходит, и я с интересом слушаю заходящих к нам мужиков и баб. Я живу наблюдениями, за всем слежу, все стараюсь запечатлеть в памяти, с жадностью слушаю крестьянские речи об их житье-бытье и, наслушавшись, все больше и больше начинаю ненавидеть

большевиков. Хозяева наши стали своими людьми, а о ребятишках и говорить нечего. Их в избе четверо: Катя, одиннадцатилетняя девочка с круглым лицом и задорно-веселыми глазами, Саня, мальчик девяти лет, спокойный и по-хозяйски рассудительный, семилетний упрямый Миша и самый маленький Петя, четырехлетний малыш, толстый, румяный, по-детски своевольный и немного балованный. Из других детей я никого не вижу, кроме соседского мальчишки Егора, очень живого и веселого, с темными глазами. Все крестьянские ребятишки белобрысы и голубоглазы, типичные русские дети, и меня поражают их самостоятельность и раннее развитие. Они очень легко обходятся без взрослых и в большинстве случаев совсем не нуждаются в их помощи. Это и вполне понятно, ведь взрослые с утра до ночи заняты в поле и дети привыкли быть одни.

Помню, какие глупые мечты невольно лезли мне в голову еще в Москве, когда я думала о деревне. Действительность, конечно, оказалась далеко не такой, но я так привыкла к постоянной несбыточности моих мечтаний, что просто не обращаю на это внимания. Моя художественная горячка потерпела полный крах, за все время я сделала только три неудачных наброска, но иначе и не могло быть, совершенно нет натуры, а я не настолько хороший рисовальщик, чтоб схватывать на лету.

<30 июля 1934>

Москва приняла до неожиданности плохо, уже с того момента, когда я вышла на перрон, начала подбираться ко мне знакомая тоска. При входе в вокзал нас с мамой задержали из-за больших вещей, и, возможно, пришлось бы платить государству штраф, если б случайно не подоспел носильщик, который и провел нас благополучно на площадь. Мы с мамой только пересмеивались на эту жажду наживы и государства, и носильщиков, но мне было обидно и досадно за свою родину, за то, что приходится жить в такой стране. Мы стояли около вокзала, когда с перрона раздался ужасно хриплый голос пьяницы, молодого парня с ужасно обезображенным и слюнявым лицом. Он матерщинил и старался вырваться из рук милиционера, кажущегося таким маленьким против него, и в пьяном безумии скинул с себя рубашку и размахивал мускулистыми здоровыми руками. «Вот это советские граждане», – думалось мне.

Каменная яма – Москва жила и волновалась, и жизнь ее, так непохожая на ту, что осталась за 280 верст отсюда, была противна

и чужда мне. И люди, городские изящ ные люди, чисто одетые, с белыми холеными лицами и руками, были так же противны мне. Из маленького ресторанчика доносились пьяные песни и звуки фокстрота. Я глядела на женщин в ярких, сильно декольтированных платьях, на их намазанные лица и крашеные волосы, и мне вспоминались другие женщины, которые целыми днями работают из-за куска хлеба, грязные, оборванные, с грубыми, но такими симпатичными лицами.

<31 июля 1934>

Как и следовало ожидать, мучительны и ужасны были первые, проведенные в Москве часы. Во втором часу ночи, приехав домой, я постучалась к нам в дверь, через некоторое время раздался раздраженный голос Ляли: «Кто там?» – «Нина», – ответила я. «Нина?!» И в этом восклицании было такое удивление и недовольство, в нем не было ни тени радости. И мне стало так больно, а когда я осталась в комнате одна и легла в постель, то так вдруг тяжело и горько стало на душе…

Жалела ли я о деревне? Нет, пожалуй, но там все-таки чуть-чуть было лучше, и лишь последние дни мне стало скучно. А здесь, лежа в темноте, я плакала, и так противна мне казалась Москва, и большие квадраты домов, и моя комната. Вспоминались синие темные деревенские ночи, которыми я так наслаждалась, тишь и приволье вокруг, круглая белая луна в темном небе. Ветер чуть дунет, и в тишине становится слышно, как шуршит он спелыми колосьями ржи, видно, как плавно гнутся они. Ночь живет… И так легко и хорошо.

Вчера я тоже жила воспоминаниями, я уже скучала по полю, по крестьянской жизни, вспоминала, как темными вечерами скакала на серой высокой кобыле в ночное и, возвращаясь домой, с наслаждением вдыхала ночной воздух, смотря на черные елки и мокрую холодную траву. В эти минуты я была так счастлива. Помню красивую старую собаку Лютку, желтую рогатую корову Марусю и как мы с ребятишками лазили по хлевам и по крыше. Даже день отъезда был хорош! Я правила кобылкой Стрелкой, била ее сильно, боясь опоздать, а когда она поворачивала ко мне голову, то я видела смотрящий на меня с укором большой, умный и добрый глаз, и мне было мучительно стыдно за себя и жалко ее. Первые дни там мне было вполне хорошо, но, видно, у меня цыганская душа: не могу жить долго на одном месте, тянет меня куда-то дальше.

<11 августа 1934>

Странно проходит для меня это лето, странно по своей необычности, всего несколько дней тому назад я была недалеко от Смоленска и лишь в семи верстах от истоков Днепра, а теперь, неделю спустя, я уехала в совершенно противоположную сторону – на Волгу. Уже неделю мы живем у тети, и ни разу я еще не сделала подробной записи – все некогда, – и то, что раньше было живо в памяти, уже изгладилось. Целыми днями мы с сестрами пишем и рисуем, дома же все делаем по хозяйству. Иногда мне эта дача напоминает Можайск, где мы так же хозяйничали на маленькой дымливой даче, так же ругались и ссорились между собой, хотя тогда, пожалуй было еще хуже. Теперь же мы хоть на год, а все же выросли, и это все-таки сказывается.

Мы живем на горе, в большом доме с тремя симпатично расположенными крыльцами, около дома растут яблони, а рядом барский запущенный парк. Мы частенько ходим туда, в самую зеленую густую гущу, где так свежо и прекрасно. Между деревьями находится заросший большой пруд, и как приятно на плоту выплыть на середину его, лечь на широкие, покрытые ряской доски и смотреть в небо. Как-то забрели мы туда ночью, и было немножко жутко и интересно. Плот качался, то и дело погружаясь краями в воду, вода жутко чернела, а у берегов под деревьями было темно и пасмурно. Когда мы переставали грести, то в абсолютной тишине ночи слышно было, как перескакивала и шуршала ряска. Мало ли можно еще описать подобных эпизодов, так что жизнь в бывшем имении, несмотря ни на что, останется надолго приятным воспоминанием.

<25 августа 1934>

Считаю дни до отъезда в Москву, их осталось три. Ах, еще целых три дня – и в то же время только три дня! Я жду терпеливо и сравнительно спокойно, зная, что в Москве недолго будет интересно. Пройдет полмесяца, самое большее месяц, и найдет тоска. А может быть, и нет? До обеда осталось полчаса, я жду его не столько для того, чтобы поесть, сколько для того, чтобы можно было сказать, что прошло уже полдня. Почему мне так хочется в Москву? Нет, в Москву я не хочу, мне просто надо уйти от моей скуки и тоски, а уйти больше некуда, как только в Москву.

Сижу сейчас в парке на одной из заросших глухих тропинок и наслаждаюсь бесконечно красивой природой. Ветер шумит… и тревожно бегут облака. Трава влажная, такая свежая и душистая.

Дрожащие тени шевелятся, вздрагивают, и манит лесная и пестрая от солнечных бликов и теней теплая и пахучая даль, и краснеющая в кустах яркая и крупная рябина. А рядом, положив на лапу морду, спит, похрапывая, бездомная голодная собака, такая ласковая и преданная. У нее красивая, черная с рыжим и белым морда, выразительные и веселые навыкате глаза и волнистая желтая шерсть. Она бегает со мной по парку и, играя, хватает ласково зубами, и я ее так люблю и жалею, так хочется никогда с ней не расставаться.

< 2 сентября 1934 >

Началось то, что так подолгу и мучительно ненавидела и очень редко любила, – началось ученье. Вчера с еще более выросшей и похорошевшей, похожей на девушку Ириной пошли в школу, и закружила нас вереница знакомых и незнакомых лиц, симпатичных, приятных и противных, с которыми теперь предстояли долгие месяцы совместной жизни. И прошла повседневная скука, наступила жизнь, хоть какая-то, но все-таки жизнь, живое и тесное общение с людьми. Вот одноклассники, выросшие, веселые и оживленные, – так приятно почувствовать себя с ними связанной одной работой. Как и всегда, мальчики, более скромные, держатся особняком и тоже улыбаются загорелыми и симпатичными лицами.

Левка, оливково-смуглый, высокий, весь упруго-мускулистый, опять вызывает чувство симпатии и желание беспрерывно смотреть в голубые сияющие глаза. И остальные, светловолосые и голубоглазые, похожие друг на друга лица будят в душе что-то теплое и хорошее. Среди них только этот, черномазый, вытянувшийся и худой, смугло-желтый, вызвал неприятное чувство. Не знаю, чего я ждала от Димки, но найти его настолько подурневшим я никак не ожидала. Он смешной и отталкивающе неприятный, и, прислушиваясь к его басистому напыщенному тону, я чувствую антипатию, заглушающую интерес, и почти злобу.

Вчера часы, проведенные в школе, были наполнены оживлением нового положения, и даже наша длинная и злая групповодша, серая и противная, не могла заглушить веселости. В группу к нам привели новых ребят, хулиганов и бузотеров, но все это мало смущало и огорчало. Когда я, сбежав с демонстрации, шла домой, распахнув пальто навстречу ветру, то какие-то неясные надежды копошились в душе, было легко и весело, а домашняя обстановка показалась скучной невыносимо, и меня

потянуло в школу.

< 5 сентября 1934 >

Бывают же в жизни необычайные вещи, таким необычайным для меня был сегодняшний день. Начался он, правда, совершенно обыкновенно. Как всегда, чуть ли не за целый час до занятий, я зашла к Ире, и мы вместе пошли в школу по жаркой и душной улице. Как всегда, тяжкая скука перед занятиями, хождение важными парами по двору и наблюдения украдкой за ребятами, невольное почти и постыдное. Первый урок должен был быть русский. Почему-то педагог не пришел, и мы бузили до тех пор, пока к нам не прислали кого-то. Но и эта буза была скукой.

Мы сидели за партой, с тайной завистью и интересом следя за скачущими мальчишками, веселыми и интересными. Они возятся, острят, выбегают из класса и изредка перехватишь их равнодушный и смеющийся взгляд. Стыдно в этом признаваться… Я все считаю себя серьезней многих, но верно ли это? Верно ли, что я по-другому смотрю на отношения ребят и девчонок? О, я еще почище многих, но я стараюсь быть серьезной, скрываю свое настоящее «я». Правда, мои желания не совсем таковы, как у других, я хочу совсем иного, неясного, но хорошего и почему-то заключающего в себе счастье и спокойствие. Я всегда думаю об этом, рассуждаю про себя и разбираю то безнадежно запутанное, что называется моей душой и чувствами. Так было и в этот совершенно обыкновенный час столь необыкновенного дня.

Второй урок было пение. С нетерпением и веселым интересом ждали мы появления нового учителя, еще неизвестного нам даже по наружности, были у нас предположения, что это тот самый молодой и блондинистый человек, которого мы встречали несколько раз в школе. Ребята сидели впереди около совершенно неиграющего пианино и перебрасывались от скуки хлебом. Нас скоро попросили в класс, и там мы увидали нового нашего учителя пения, невысокого и коротконогого человека с большой и чудной головой, покрытой густой и щетинистой шевелюрой, за что ее владельцу была сразу же дана кличка Дикобраз.

Он очень напоминал собою тип карикатур бывших буржуа и иностранных капиталистов, в изобилии изображаемых в наших советских газетах. Хохот на уроке стоял почти несмолкаемый. На этот раз особенно выделялась наша группка, новенький мальчик даже крикнул нам с раздражением: «Ну вы, девчонки, замолчите!» Смеялись мы всему – и неправильному еврейскому произношению педагога, и перебрасыванию хлеба мальчишками,

и раздававшемуся вдруг в разных концах класса пению какой-то современной и преглупой песенки.

Следующим уроком должна была быть география, педагога еще не нашли, и нам опять предстояло гулять целый урок, если его не займет кто-то другой. На одной из дорожек я с Зиной встретили Левку и Альку, важно раскуривающих папиросы. С особой сумасшедшей решимостью сделать что-то сногсшибательное и смешное я подошла к ним и равнодушно-небрежно спросила, глядя снизу вверх на их самодовольные рожи: «Лишние есть?» Они, кажется, не поняли, а Левка чуть удивленно взглянул на меня. «Папиросы есть еще?» – повторила я. «А, есть, есть», – и Алька вытащил из бокового кармашка рубашки одну, подал мне, потом чиркнул спичкой.

Я наклонилась, глядя прищуренными глазами на огонек, закурила и пошла дальше, несколько раз затянувшись. Я знала, что всю эту сцену видят удивленные и качающие головами прохожие, девчонки наши дико хохочут, и сама я, чуть улыбаясь, внутренне содрогалась от неудержимого сумасшедшего смеха. Обратно мы шли веселые и пропахшие дымом, но в класс в таком виде являться было нельзя. Мы забежали в уборную, чтоб перед умывальником прополоскать рты.

Когда оттуда пошли в класс и я приоткрыла дверь, тишина и сидящие за партами ребята поразили меня. Еще несколько шагов и… я увидала глядящее на меня из-за книги строгое длинное лицо немки: «Нет, нет, я не пущу вас». Сделав налево кругом, я, ничего не отвечая, направилась к двери и, столкнувшись с ошеломленной Зинкой (подругой по несчастью), выкатилась в коридор. Шляясь по школе в поисках завуча или директора, мы наткнулись на нашего Тимошу. Оказалось, он искал Димку, которого только что до нас выгнала немка, а теперь звала обратно.

«А, Димку, значит, тоже прогнали». И от сознания, что мы не одни, сразу стало веселее, и мы, наплевав на все, ушли из школы. Гуляя по широким аллеям, мы смеялись и бузили, как вдруг услышали откуда-то сбоку окликающий нас знакомый Левкин голос. Навстречу нам шли Левка, Алька и сбоку кажущийся совсем маленьким Димка. «А, друзья по несчастью», – крикнула Зинка, мы были в восторге. Да черт с ними со всеми и с этой немкой! Когда тут… ха-ха! «Вас тоже выгнали?» – «Да мы и не пошли к ней», – сказал Левка, смеясь низким голосом и с вышины своего громадного роста смотря на нас. Мне было смешно и странно, никак не могу привыкнуть я к тому, что ребята наши не мальчики, а подростки и между нами с каждым годом увеличивается разница.

< 7 сентября 1934 >

Чудно! Чуть день пройдет спокойней и обыденней, как сильней и неотвязчивей копошится в душе едкая неудовлетворенность. Ведь было как будто весело, много смеялись, бузили, часто у нас были свободные уроки, и все же… Дома я боюсь давать свободу своим чувствам, чем-нибудь стараюсь отвлечься, мечтаю, а за уроки браться совсем не хочется. Я боюсь тоски своей, чувствую, как она нарастает, оживая во мне, и жутко подумать, что будет дальше, ведь уже сейчас начинаются эти легкие, как будто ничего не значащие симптомы. Но я себя слишком хорошо знаю, чтоб не обмануться, и вообще начинаю все больше и больше узнавать себя.

Не прошла даром моя все ускоряющаяся привычка обо всем думать и все разбирать, наблюдения над собой привели к тому, что я начинаю понимать, что я сама уже не такая непонятная и странная, как думалось раньше, что много во мне общих черт, странностей и желаний. Теперь уже частенько можно наперед сказать, что я буду чувствовать и делать в том или ином случае, и это доставляет удивительное облегчение и удовлетворение. И вообще, думать мне нравится, всегдашнее ощущение сознания и разума успокаивает, хотя, положим, разума я не очень слушаюсь, все мои поступки в школе, моя буза и лень говорят об этом.

А ведь надо было бы в этом году учиться, ведь в восьмую группу берут только отличников. Но не хочется пока думать о будущем, когда настоящее так хорошо и увлекающе. В школе весело, несмотря на несбыточные и неясные желания. Димка, который показался сначала противным, опять начал интересовать своим небрежением к девчонкам и к ученью. Мне очень понравился и, пожалуй, разжег женское самолюбие его ответ на записку Иры, в которой она спросила, кто ему из девочек нравится. «Деритесь! Кто победит, тому и достанусь», – ответил он. Удивляет все-таки женская натура! Димка мне и нравится лишь только потому, что я ему не нравлюсь, в противном же случае я, наверно, возненавидела бы его. А теперь опять украдкой мои любопытные взгляды на него. Еще меня продолжает интересовать Левка, упругий и гибкий, с красивыми глазами, веселый и простой, а также интересует удивительно симпатичный Толька.

Сегодня получила по математике «хорошо», да и не жалею об этом, потому что больше, пожалуй, готовиться было нельзя, да мне и безразлично теперь. Математик наш, чудной и длинный, на несгибающихся в коленях ногах старик с лысеющей седой головой и большим, выпирающим немного морщинистым лицом,

преподает хорошо, и так уверенно, спокойно и увлекающе звучит его голос. Он одевается в синюю безукоризненную пару и какую-то приятно-желтоватую рубашку с открытым отложным воротником, которые обычно носят молодые парнишки, поэтому на него как-то странно и смешно смотреть.

< 10 сентября 1934 >

На пятый урок биологичка не пришла, и ребята, повскакав с мест, носились по классу, выбегали в коридор, поминутно кричали «шухер», ржали заразительно и опять кричали. Девчонки сидели на партах, самые примерные делали домашние уроки, а кто похулиганистей либо болтали, либо с увлечением занимались перепиской с ребятами. Я сидела, уткнувшись лицом в руки, и по своей привычке думала и разбирала; настроение у меня было паршивое. Было завидно смотреть на возню ребят, хотелось самой драться, бузить и шуметь, но удерживало благоразумие девочки и боязнь хулиганской выходки со стороны мальчишек, поэтому твердила себе: «Жди. Ты по желаниям немного переросла окружающих, поэтому тоска и скука иногда».

Все-таки мне хочется каких-то других, серьезных и товарищеских отношений с ребятами. Товарищеских? А интерес мой к ним, излишний и глупый, далеко не товарищеский! Я, чтоб рассеяться, начала шляться по классу, заглядывая в тетради девочек. На передней парте наши ребята старались пролить чернила, я и подоспевшая Ксюшка стали вырывать у них тряпки, чтобы вытирать. Кто-то заткнул чернильницу бумагой, а мы, вытащив ее всю синюю и мокрую, направились к двери и спрятались по бокам, чтобы попугать входящих. С девочками обошлось благополучно, но вот пронесся Левка.

Я слишком сильно вытянула руку, а он так порывисто рванулся вперед, что налетел лицом на эту бумагу так, что левая часть лица и глаз стала в чернильных полосах. «А, Луга, черт, так ты!» – И он, макнув пальцем в синюю чернильницу, мазнул меня по щеке. Что ж мне, сдаваться? Никогда! Стараясь преодолеть силу длинных и сильных рук, я еще и еще терла бумагой по лицу и, чувствуя, что он одолевает, злясь и стервенея, преодолевала его напор. Помню, что во время нашей драки в дверях стояли наши ребята, хохоча, а девчонки, когда я подошла к парте, смеялись, указывая на мою рожу и выбившуюся из юбки кофту. Быстро оправив ее, я взяла платок и вместе с Ксюшей побежала в умывальник. Было неловко и весело. За мной явился Левка, и, старательно растирая лицо, он уже смеялся и не злился. «Никогда

так чисто не мылся», – орал он. Мир между нами был налажен.

< 12 сентября 1934 >

Я начинаю резко меняться, пожалуй, уже изменилась, пропали те интересы, которые только год назад были такими дорогими и необходимыми. Школу люблю, а вот в выходной скучаю, потому что заниматься и даже читать не могу и не хочу, а пойти, чтоб побузить, просто некуда. Весь день сегодня старалась сдержать нарастающую хандру, и не сдержала: пришли мысли – пришла и она. Глянула жизнь на меня невеселыми, скупыми глазами. Усталая, больная и вечно работающая мама. Постоянное отсутствие денег и нужда! А еще скуднее, еще беднее моя внутренняя жизнь и мои идеалы. В школе жизнь захватывает и не думаешь, а дома… от однообразия и безделья придут они, злые черные мысли, сверлят и сверлят. А взяться не за что, ничего не нравится, все противно и постыло. Хочу жить, хочу безрассудно веселиться, а этого нельзя! Книги уже не увлекают, почитаешь что-то и опять… думаешь и тоскуешь. Я, вероятно, чтоб уйти от моей тоски, запью когда-нибудь…

< 13 сентября 1934 >

Вся наша группа давно уже раскололась на две части. Одна часть состоит из девочек примерных и тихих, другая – из нескольких бузил, девчонок и мальчишек. В прошлом году этот раскол не так был заметен, все-таки объединяли нас общие маленькие забастовки, мы меньше бузили и хулиганили, слабее была у нас связь с ребятами. Теперь это стало слишком заметно. Те – Усачевка – совсем притихли и увязли в зубрежке, мы – Девичка – распустились страшно, перестали заниматься и хулиганим больше ребят. Появляется вражда между Девичкой и Усачевкой, эти последние ворчат, косятся (уж не собираются ли жаловаться?), ну и черт с ними, мы хотим веселиться, хотим жить. Переписка с ребятами идет оживленнее с каждым днем, я этим, правда, не занимаюсь по какой-то странной гордости, иногда лишь расспрошу немного девчонок.

Сегодня Ира, Зина и Муся начали разговор о вечеринке. Злит меня, что ребята так мало обращают внимания на них – все же свое племя. Я уверена, что из новой затеи ничего не удастся, а все-таки на всякий случай согласилась принять участие, хотя боюсь, что вдруг ребята станут против меня, все же обидно будет.

А «мужское население» нашей группы тоже распалось, уже редко увидишь Левку или Тольку, хулиганов и простачков с Димкой, Антипкой и Тимошей, благовоспитанными и будущими молодыми людьми. И все же в последнее время именно простачки нравятся мне больше, с ними по-товарищески можно поговорить и побузить. Иногда я любуюсь на Левку, когда он, оживленный и бледный, с темными громадными плошками глаз, поворачивает в мою сторону вихрастую и взлохмаченную голову. Из другой группки почему-то меня не интересует никто, кроме Димки, даже Антипка, симпатичный и спокойный, с какой-то мечтательной физиономией, а Димка интересует и, кажется, злит.

Сегодня из школы шли в повышенном и дурацком настроении. Отпускали сальности, поругивались, гоготали. Потом перешли на другую сторону, где шел Димка, отпускали вдогонку ему разные шутки: «Димка, пятками назад идешь!» Он продолжал быстро идти, ускоряя шаг, а Ксюшка кричала, корчась от смеха: «Ой, не могу!» – «Такая молодая и уже не можешь». А дома стало стыдно и противно, представлялось, как он нас в душе ругал и как смеялся над нами, как еще больше уверился в женской глупости и легкомыслии. Обругав себя дурой, я дала себе слово не повторять этого, ведь мне уже пятнадцать лет. Довольно!

<1 октября 1934>

Сегодня я осталась дома. Надо было вымыть окна и погладить… Во мне борются две натуры: одна – это женщина, которая стремится к вечным заботам по хозяйству, к порядку, к чистоте; другая – это человек, желающий посвятить свою жизнь другому, более интересному и высокому. Мучительна бывает эта борьба, надо ведь на что-то решиться, чему-то отдать предпочтенье. Я знаю, что должна побороть в себе женщину, но часто это невозможно. Чувство справедливости к маме частенько заставляет меня покоряться. И опять поднимается глупая зависть к мальчишкам. О, если б я была мальчишкой! Я была бы свободна решительно от всего, придешь из школы – и делай что хочешь, все домашние заботы проходят мимо. Это простительный эгоизм, но я говорю себе: «Если хочешь достигнуть чего-нибудь, подави в себе эти хорошие чувства, заставляющие тебя хозяйничать. Это гадко, но необходимо!»

Вон Женя, Ляля ходят грязными и неряшливыми, каждый день их мучает упреками мама, но зато… они успевают делать другое. А мне остается только мечтать: «Вот завтра начну играть на рояле, а потом научусь хорошо играть, потом буду рисовать, а

потом…» И опять ничего, и опять мечты. Ученье я забросила, «отлично» не получаю уже совсем, сижу на «хорошо», в этом я сдержала свое слово. Ученье в школе – чепуха, за него никогда не поздно взяться, надо пока делать другое. Иногда мне хочется взяться за писание, но из этого, я чувствую, ничего не выйдет. Перебешусь, перемечтаю, а потом… и успокоюсь. Выйду замуж, чтоб только выйти, за какого-нибудь заурядного паршивенького человечка, которому нужна только жена, покорюсь ему и позволю сделать над собой самое естественное и самое противное в жизни. Потом родятся дети, и дальше будет все то, что бывает со всеми. Эх, молодость, счастлив тот, кто может верить ее иллюзиям и мечтам. И это очень горько.

< 12 октября 1934 >

Вчера были томительно-скучные уроки, непонимание, злость и страх, однообразные перемены в тесном зале, в толкотне и ругани шпаны, сонливость и утомление на последних уроках. И весь день ожидание какойто перемены, чего-то более ясного и интересного. На последних уроках было скучно и противно. Физик, высокий и страшный старик с желтым, чем-то поросшим обезьяньим лицом, медленно запинаясь, объяснял что-то, а потом спрашивал, не торопясь, мучая и засыпая учеников. Мне уже надоело бояться, я сидела, облокотившись на парту, и тоскливо слушала, говоря себе: «Вот она, пришла тоска. Хорошо хоть полтора месяца протерпела».

Ира и Рая перекидывались записками и хихикали. Муся, обернувшись, шепнула мне: «Нина, ты придешь завтра к часу американку исполнять?» – «Приду». – «Я знаю, она не придет», – проговорила Ира. «Приду, если ничего не случится со мной». Я постаралась улыбнуться. «Ну, ты нарочно заболеешь». – «Нет, зачем же нарочно?» По дороге домой я, кажется, даже немного оживилась, но не пропадала возникшая мысль как-то отвертеться завтра от школы. Что же сделать? Отравиться? Почему-то не было ни страшно, ни ужасно, и не было жаль жизни, как будто проще ничего нельзя было придумать.

У бабушки я стащила пузырек опиума и, пообедав, пошла домой. «А вдруг я раздумаю?» Накапала в чашку двадцать темных капелек и перед сном выпила. Выпила! Едкой горечью обдало рот, ударило в нос. Я была довольна своей решимостью и, укутавшись в одеяло, приготовилась заснуть. Но не спалось, в полумечтательной форме думала о том, что будет завтра, не верилось, что умру. Было как-то странно – одна часть меня

радовалась, что не придется идти в школу, а другая робко и несмело вздрагивала. Неужели умру?

Когда начала охватывать дремотная, головокружительная слабость, мне показалось, что сводит назад голову, я судорожно рванулась и скорчилась. Проснулась, когда мама вошла за чем-то в комнату, хотела открыть глаза и подумала: «Вдруг я чем-то выдала себя?» Сквозь ресницы смотрела на яркий свет, а когда мама потушила лампу, то, успокоившись, сказала ей что-то. Через несколько минут посмотрела на часы, было без двадцати минут час. «Прошло два с половиной часа. Что же это значит?» Не вытерпев, села на постель, обняв колени. «Двадцать капель. А вдруг не опиум? Нет, быть не может. Что ж он не действует?»

Попробовала пульс, он бился часто-часто, и мне было жарко. Запрокинув голову, лежала на спине и думала: «Что же это значит?» Опять проснулась ночью, было темно, на стене сиял яркий лунный свет. «Это жестоко! Неужели обман? Неужели не опиум? Неужели идти в школу? О нет! Но что же делать? Теперь уже не подействует, но ведь двадцать капель… Что ж это было?» Стараясь заснуть, долго лежала поджав ноги. «Как же мне не везет! Решилась раз отравиться, да и то не вышло». Утром встала, как всегда, бросилась к бабушке с вопросом: «Что в том пузырьке?» Оказалось, опиум с какими-то каплями.

<22 октября 1934>

Мое недоуменно-напряженное и скучное настроение как будто проходит, а сегодня было довольно весело. Немка наша не пришла, и мы на уроке вздумали переписываться с Левкой. Вначале шло на удивление хорошо, но потом он покрыл нас таким матом, наговорил такие гадости… Вот сволочь! Мы прервали с ним переписку. И все же было весело. Левка сейчас у нас самый хулиган в классе, никто не может с такой откровенностью и простодушным весельем обсыпать матерком, наговорить мерзостей, но никто и не смеется так заразительно и обаятельно.

Я серьезно злилась на него, но когда он после уроков о чем-то говорил с Ирой, то не могла не восхищаться его слегка откинутой головой с пышной золотистой шевелюрой волос над удивительно красивым лбом, этими чуть полузакрытыми глазами и небрежной, часто презрительной, наглой и хулиганской, но такой симпатичной улыбкой. О, он очень хорош и так безгранично весел. Я никак не могу понять, как человек, столько читавший, развитой и живущий в хорошей семье, может быть в то же время

таким омерзительным хулиганом.

Муся как-то сказала мне: «Знаешь, Нина, что я тебе скажу. Ты нравишься одному мальчику». – «Я?.. Это мило… Нет, лучше не говори кому. Я буду смотреть на него по-другому». – «Вот глупости». – «Ну кому?» – «Маргоше». – «Маргоше? Откуда ты выдумала?» – «Он сам сказал». – «Да ну, не верю. Когда?» – «Мы с Зиной вчера переписывались с ним, спрашивали, кто ему нравится. Он написал: Луговская». Она еще что-то врала, но я мало верила этому, да и не до того было. Какого черта вздумалось тогда Мусе рассказать мне об их переписке, но я теперь не могу успокоиться. Так раздражает эта неопределенность положения, хочется узнать, действительно ли верно «то» или нет.

Теперь я почти не верю, да и как могла поверить? Все было сделано Маргошей для отвода глаз, да и какой дурак будет рассказывать так откровенно о своих симпатиях. Он соврал, посмеялся, а я… почти поверила, но хорошо, что не полностью. Однако мысль о нем уже не покидала меня, наблюдая и украдкой посматривая на него, я старалась заметить хоть что-нибудь выдающее его, взгляд или слово, но ничего заметить было нельзя. Сейчас обостренное внимание за Маргошей как-то уменьшается, но все же я неотступно и незаметно продолжаю следить за ним. Все новости получаю от Муси, с которой он оживленно беседует на уроках. Когда же я случайно подошла к ним и он, говоря что-то, смотрел на меня, мне было приятно, хотя я и уверена, что он мне совершенно не нравится.

<26 октября 1934>

Если бы я была влюблена в Маргошу, я не думала бы о нем больше, я все же уверяю себя, что он мне не нравится. Я вспоминаю мое увлечение Левкой, когда я по целым часам смотрела на него, бледнела и дрожала при каждом его слове и восхищалась всяким его движением. Но это было совсем не то. Маргоша меня интересует, я его чувствую. Он неуклюж и неповоротлив, как медведь, смешон и некрасив, и я все это сознаю. И все же непонятное удовольствие доставляет следить за ним, видеть его косолапую фигуру в зале, поймать случайный и равнодушный взгляд. Мне надо отвлечься, пересесть на другое место и постараться все забыть, а я… только усиливаю то, что надо пресечь. Но это скоро пройдет, это должно пройти.

Трудно и интересно тщательно скрывать от всех мое состояние, не проявлять к Маргоше лишнего интереса, не

посматривать на него чаще принятого. Это мне пока удается, но так жутко нервируют вечная напряженность и ожидание чего-то. Иногда я не сдерживаюсь и взглядываю на него, и тогда нестерпимо, неприятно и стыдно становится перед собой. Но ведь Маргоше нравится Муся, так о чем же я думаю? Я ведь в этом уверена и, несмотря ни на что, каждый день с болезненным нетерпением ожидаю какого-нибудь слова, обращенного ко мне, или улыбки.

Муся так оживленно и просто говорит с ним, так естественно и мило подтрунивает, а ей ведь всего четырнадцать лет. Мне уже шестнадцать, я глупая и страшная девка. Иногда мне бывает где-то на самом дне души тяжело и обидно, что я так неспособна, некрасива и неинтересна как человек, что никто ни минуты не бывает мною заинтересован. И такие тоскливые и невыносимые минуты приходят все чаще, ни с того ни с сего вдруг нападет что-то, и еле сдерживаешь себя. Боюсь, что в этом году опять придется прогуливать, чтоб как-нибудь спастись от тоски.

<30 октября 1934>

Как и во всякий выходной, я вчера скучала. Днем зашла к Ире, чтоб рассеяться немного, она сидела на постели, высокая, узкая, с черной лавиной распущенных волос, в коротеньком старом платье. Мы немного поболтали о разных глупостях, она предлагала пойти к Мусе, но я отказалась, боясь встретить там кого-нибудь из посторонних или ее родителей, дико и смешно представить, что я там делала бы и что говорила.

Вечером был папа. И опять подступали к горлу беспощадная едкая злость на большевиков, отчаяние к своему бессилию, жалость к нему, больному и бездомному бродяге. А потом, начитавшись Лермонтова, вздумала писать стихи, улыбаясь, вытащила бумагу и ручку, написала бессмысленную чушь, хотела разорвать, но решила более удачную часть переписать в дневник.

Я ненавижу свет, но и люблю безмерно,
Что светом называется у нас.
Так опротивела текущая так мерно
Жизнь, в ужас приводящая подчас.
Моя судьба тихонько, незаметно
Жить в тесной, темной скорлупе,
И никому не знать моей мечты заветной
О том, что лишь известно мне.

< 12 ноября 1934 >

Восьмого должны были у сестер собраться ребята, и я с волнением и страхом ждала этого вечера, начав даже побаиваться, что вдруг они не придут, но часам к девяти все стали собираться. Я долго не могла преодолеть своей робости и войти к ним и, пожалуй, так бы и не решилась, если бы сестра не догадалась постучать в стену и крикнуть: «Нина, маленькая, иди сюда». Я вошла. Гости сидели на постели и на стульях, Нина играла на рояле, а посреди комнаты, картинно встав в позу, какой-то парень пел громко и с надрывом. Я, мельком осмотрев всех, встала у стены и уже больше не боялась. Так просты и веселы были все и так мало обращали на меня внимания, что я невольно почувствовала себя своей. Все они казались такими хорошими и, пожалуй, добрыми. Я страшно жалела, что не пришел Женька, и до одиннадцати часов тайно ждала его. Также очень огорчена была и Ляля, а когда Жорка сказал, что тот ушел на другую вечеринку, у нее на глазах были слезы. Мне теперь кажется, что он ей нравится больше обыкновенного. Вечером я осталась довольна чуть ли не больше других и чувствовала себя вполне удовлетворенной, потому что не побоялась войти к ним.

Вчера состоялся у Жени и Ляли вечер в общежитии, их группа поставила небольшой водевиль, и девочки звали меня с собой. Около девяти часов я вместе с Ксюшей выехала к ним, и как-то случайно мы не доехали одной остановки и, волнуясь и смеясь, бежали по темному пустому переулку. Кое-как добрались до общежития и вошли, растерянно озираясь. Вокруг были чужие, незнакомые и кажущиеся враждебными лица! Наконец у дверей в зал я встретила Жорку, который по поручению Ляли встречал нас, он-то и привел нас на первые места и усадил там. Кругом шумело и говорило веселое и такое симпатичное мне студенчество, я глядела кругом, ловила каждое движение и слово окружающих.

Потом, немного освоившись, я вошла за кулисы и… вдруг очутилась в женской уборной. Передо мной стояло несколько артистов, и хоть бы одно знакомое лицо! Прошло несколько неловких минут, в течение которых я молча таращила на них глаза, не понимая, неужели грим так изменил их, но тут вошла девица в голубом платье и в светлом парике, и по голосу я узнала сестру Женю. Но даже и после этого, когда я немного свыклась со всеми, не раз удивленно поднимала глаза на загримированные чужие рожи. Но вот началось представление. Режиссер Женька остроумно придумал представлять артистов в абсолютной темноте, освещая их лица карманными фонариками. Часто происходили заминки за колеблющимися складками занавеса, и я

так болезненно принимала злорадный и насмешливый смех публики.

Но еще больше я начала волноваться, когда занавес подняли и на сцене очутилась Женя. Мне жутко и страшно становилось за нее, и на протяжении всей пьесы я все боялась, что она провалится. Но все обошлось благополучно, после жидких хлопков все начали расходиться, а мы с Ксюшкой пошли за кулисы. Все были настроены повышенно и взволнованно. Переодевшись, сестры забрали свои манатки и пошли по длинным светлым коридорам в комнату, где жили их друзья. Мы с Ксюшкой довольно долго ходили по коридору около комнаты ребят, пока нас не пригласили войти. Там творился жуткий беспорядок, все постели были закиданы пальто, костюмами и бумагами. Мы уселись на одной постели, танцевать сестры не пошли и долго сидели, разговаривая с ребятами. Электричество притушили, тонущие в полумраке контуры неожиданно освещались фонариками. Все смеялись и шутили, а я, пользуясь темнотой, смотрела на Женьку и чувствовала, как поднимались к нему симпатия и хорошее благодарное чувство. Он сидел усталый и, пожалуй, сонный, в распахнутой слегка на груди рубашке, добрый, ласковый и хорошо улыбающийся. Да, действительно, Женька мне серьезно нравится, так что посмотрим, что дальше будет.

<13 ноября 1934>

Опять выскочила я из колеи. Опять не нахожу себе места, мысли и желания, невыразимые и наивные, вновь лезут в голову. Я же почти брежу институтом и… кажется, Женей. Папа мне недавно сказал, что в Текстильный институт в январе начнется набор, и я хотя и уверена, что туда принимают после восьмой группы, но все же очень просила Лялю узнать все подробнее. А вдруг я вырвусь наконец из душной и противной школы, вырвусь уже на все время! А там… совсем другая жизнь. Хотя об институте и думать нечего, но я верю и не верю в это. А так хочется мечтать! Часто вспоминается Женька, когда он, подняв голову, что-то говорил Ляле и смеялся, как может смеяться только он. Я, кажется, слишком пристрастна к нему! Возможно. Я знаю, что потом придет разочарование и глупое увлечение пройдет, но это потом… А теперь… его лицо, освещенное кругом фонарей, и у меня в душе какое-то тихое радостное спокойствие.

Школа уже не представляет для меня никакого интереса, мне там ничего не надо. Маргоша меня уже почти совсем не

интересует, о Димке я и думать забыла. А Левка? Нет, его обаяние не прошло. Как и раньше, невольно улыбаешься навстречу длинноногой и смешной фигуре и лохматой нахально поднятой голове, в которой так много еще мальчишеского и даже детского, глазам, которые смотрят так весело и нагло и так по-детски всезнающе. Он иногда напоминает мне Дорохова из «Войны и мира». Но сегодня я узнала поразительную новость – Левка, этот мальчишка, который крыл всех матерком и смеялся грубо и вульгарно над девчонками, написал Ире записку: «Ирина, ты мне нравишься, и в твоей воле согласиться или нет остаться после уроков. Я во всем подчиняюсь тебе». Я была поражена и, надо сказать, огорчена.

< 18 ноября 1934 >

Сегодня к сестрам пришли Жорка и Женя, который поздоровался со мной, глядя смеющимися, искристыми глазами, и я несколько мгновений смотрела в них, а потом отвела в сторону свои глаза. Ляля предложила Жорке читать какую-то учебную книгу, а сестра Женя ушла в мою комнату с Женькой. Я колебалась несколько секунд и… все-таки пошла за ними, ведь вполне естественно, думала я, что мне хочется слушать беллетристику, а не учебник. «Можно к вам присоединиться?» – спросила я, входя. «Пожалуйста!» Женька сел у настольной лампы, приготовившись читать. «Подождите, я альбом принесу», – сказала сестра и вышла на несколько минут. Я встала, порылась в книгах и, стоя спиной к нему, думала про себя, улыбаясь: «Вот мы одни. Помнишь, какие глупости ты сочиняла про эти минуты?» Вскоре сестра пришла, а я села на кресло, облокотившись на ручку, и, не сводя почти глаз, смотрела на Женю. Он читал и поэтому не мог смутить меня своим вниманием, а я рассматривала его самое обыкновенное лицо, небольшие глаза, прямой и несколько широкий нос, срезанный лоб и затылок, маленькие, прижатые к голове уши, светлые волосы, вьющиеся правильными волнами. Когда же он отпускал какие-то реплики, то незаметно взглядывал на меня, и мне было так приятно встречать его сероватые, иногда кажущиеся голубыми глаза. Потом они вместе стали упрашивать меня попозировать им, и хотя я долго упрямилась, но потом согласилась и села. Никогда во все прошлые позирования, которые всегда были для меня мукой, я не испытывала ничего приятней, как теперь, сидя, прислонившись головой к стене, и глядя полузакрытыми глазами на уголки альбома сестры, – я испытывала какое-то блаженное и спокойное чувство.

В голове сладостно вертелась мысль: «Я люблю его! Я ничего не хочу, лишь сидеть так долго-долго, и пусть иногда он что-то говорит мне». Мне так хотелось еще раз увидеть его глаза так близко, как в тот раз, когда мы стояли рядом и он говорил: «Ниночка, почему вы не хотите позировать?» И глаза его были бездонно-синие, как сумеречное синее небо. «Какая мука быть женой, матерью, братом или сестрой художника», – проговорил вдруг Женя. «Быть родной хорошего художника приятно», – ответила сестра. «Ну, хорошего-то да!» – выпалила я живо. Он засмеялся: «Это щелчок нам!» Потом они замолчали, а я продолжала чуть улыбаться невольно. «Какие у нее по-детски

припухлые губы и нос», – сказала сестра. «Но я ведь еще ребенок», – пробормотала я, чуть улыбнувшись. Сестра хитро сощурила глаз и улыбнулась.

Когда они собрались уходить, я уже не убегала, как раньше. Первым попрощался Жорка, его большие и ясные глаза мне нравятся, но почему-то кажется, что я вызываю у него антипатию. Потом подошел Женя и быстро сжал мою руку, смотря на меня ласковыми глазами, и мне показалось, что он хотел улыбнуться. Он уходил последним, и я, глядя ему вслед, знала, что он, закрывая дверь, обернется и в своем прощальном взгляде захватит и меня. Спать я ложилась совсем взбудораженная и взволнованная, мечтая: «Может, он завтра придет».

< 22 ноября 1934 >

В школу я не пошла опять, ведь сегодня придет Женька. А вдруг не придет? Вдруг все ожидания напрасны и все полетит к черту? С какой радостью бросилась я открывать дверь у бабушки, когда раздалось два коротких звонка. Вошла сестра и, не раздеваясь, прошла в комнату, я ничего не спрашивала, зная, что внизу ее кто-то ждет… Она забрала ключи, сказав бабушке: «Я даже не снимаю пальто. Там внизу меня ждет Ляля». – «А кто еще?» – «Никого». И она ушла. Я стала одеваться, не чувствуя даже особой боли, но какая-то давящая тяжесть тупой занозой засела в душе. Я улыбалась, судьба надо мной просто посмеялась. И только! Какая-то злость и болезненное оцепенение появились во мне, поднималось раздражение и досада против себя, против Женьки, против всех. Оскорбленное самолюбие и гордость, оскорбленная любовь – все переполняло меня. Мне больно, что я ему не нравлюсь? Нет, мне просто больно, что он не пришел, что целый день – этот мучительный день – я его ждала и ни за что не могла взяться.

Я бродила по темнеющим комнатам и думала только об одном, потом как-то особенно внимательно и почти бережно убрала комнату у сестер, расправила покрывала на постелях, сложила ноты – так хотелось сделать им приятное. А теперь я зла на него, и впервые за этот год мне так хотелось плакать, что слезы навертывались на глаза. Опять я чувствовала себя такой несчастной, вспоминалось и мое уродство, а причина всему любовь, и опять безнадежная. Все, кто нравился мне, не обращали на меня ровно никакого внимания, и это так оскорбляло. Левка, которым сильно увлеклась, Димка, немножко Маргоша и теперь Женька.

Лишь день тому назад я сладостно улыбалась при воспоминании о нем, а теперь… Тоже улыбаюсь, но горько плача при этом. Как тяжело, как стыдно и противно на себя за эту любовь. И он противный, и все же я, кажется, люблю его по-настоящему. Я себя совсем не понимаю. «Пусть неудачник плачет!» Что я теперь буду делать? С каким ощущением буду я сидеть завтра в школе? А остаться дома – это опять бесконечные и безнадежные часы мучиться в ожидании. Но все равно пойду домой к сестрам, я не могу больше оставаться одна.

<23 ноября 1934>

Я сегодня опять не пошла в школу. Это лебединая песнь моей любви, потом надо будет с этим покончить, постараться забыть и не ждать, а сейчас я нарочно ничего не делаю и даже не читаю, хочу всласть намучиться ожиданием, разочарованием и мечтой. И так тоскливо и все-таки приятно идут часы. Женя, Ляля придут сегодня поздно: у них волейбол, а потом они пойдут в общежитие. Ждать к нам Женю смешно думать, девочки просто из гордости не пригласят его, они же знают теперь точно, что ему, кроме Дуси, никто не нужен. Конечно, Женя не пришел, а я ждала его долго и, когда уже не было никакой надежды, все-таки продолжала ждать.

В девять часов пришли Жорка с Лялей, я, открывая, услышала за дверью мужской голос и, хотя он совсем не был похож на голос Жени, невольно обрадовалась, но оказалось, это был Жорка. «А где Женя?» – спросила я, а у самой так громко билось сердце. «Осталась загрунтовать холст». Значит, она в общежитии. И все же я ждала до одиннадцати часов, целый час ходила по комнате до головокружения, потом села в кресло. Такая тоска и злость! Хоть бы сестра пришла, наверно, она что-нибудь бы рассказала. А в каком жутком настроении она была в тот вечер, когда Женька отказался пойти к нам без Дуси, ходила по комнатам угрюмая, молчаливая и сосредоточенная в себе. Потом уже в кухне, когда мы остались вдвоем, я подсела к ней и попросила: «Ну расскажи что-нибудь». «Не хочется сегодня», – ответила она и долго молчала, а потом вдруг, оживившись, сказала: «Я две ночи подряд во сне Женю видела». «А, вот о ком ты думаешь», – подумала я.

Пришла Женя в двенадцать часов, веселая, с блестящими глазами, подмигнула мне и засмеялась. «Счастливая», – твердила я себе и мучилась. Но она не захотела ничего рассказывать, может, боялась, что я что-то подумаю, а я не решилась задать ни одного вопроса и ушла спать, злая и в тоске. «Завтра они будут в

институте, а потом в библиотеке… с Женей. Счастливые!» Заснула я быстро, так как страшно утомилась и морально устала от бесконечного сосредоточения мыслей, а утром проснулась, когда девочки уже пили чай.

Может, они сегодня позовут его? «Женя!» – крикнула я громко. «Чего?» – «Вы поздно сегодня придете?» – «Не знаю. Наверно, довольно поздно». – «А сейчас куда?» – «В мастерскую, писать… Хочешь с нами пойти? Посмотришь». Я села на постели: «С вами? Сейчас иду!» – «Скорей только». О, этого можно было не говорить! Увижу его! На что мне мастерская и картины. Вот это повезло! О последних двух днях своих мучений так забыла, что даже не вспомнила о них потом.

И вот мы там, куда так тянуло меня, где другая интересная и счастливая жизнь. В институте никого не было, длинный коридор художественного отделения был увешан картинами учеников и преподавателей. Девочки восторженно хвалили этюд Бруни, с таким увлечением говорили о своей работе, мастерских, что я ярко представляла себе эту далекую и недосягаемую жизнь. В мастерской был хаос необычайный: мольберты с работами и без них в беспорядке стояли в разных местах, стены увешаны картинами, на полу и по углам лежали неоконченные этюды и только что начатые. Две широкие колонны стояли посередине, и около них на маленьких столиках установлены были натюрморты.

Девочки все мне показывали и рассказывали. Скоро пришел Жорка. Один! Когда они выбрали места для работы, сестра спросила: «А Женя придет?» – «Не знаю». Я не помню уже своего состояния в тот момент, но сидеть там и рисовать было гораздо легче, чем томиться дома. Я устроилась за колонной и начала рисовать. Было очень тихо, вдруг в конце коридора, который пугал меня своей длинной пустотой, глухо стукнула дверь. Ляля посмотрела в замочную скважину и сказала: «Женька идет». Я быстро закрыла альбом и стала рассматривать рисунки сестры, ожидая его с легким волнением. Вот шаги у двери, он вошел и поздоровался со всеми. «Здравствуйте», – сказала я и на минутку исподлобья глянула на него. Но он меня, кажется, не заметил.

Потом уже, проходя среди мольбертов и скамеек, он увидел меня и сказал: «А, Нина, здравствуйте. Какая солидарная сестричка». – «Да, пришла посмотреть». Я скорей уткнулась в альбом, чтоб не покраснеть, но все же успела взглянуть на чуть улыбающееся лицо его. Он ходил по мастерской, что-то искал, переставлял, говорил о чем-то, смеясь, потом встал у окна. Я злилась, чувствуя, что он возится за спиной, боялась, что он взглянет на мою работу, да и просто неприятно было, хотя

хотелось поближе увидеть его, хотелось, чтобы он что-то сказал мне. Я бросила рисовать и принялась читать «Гамлета», он в это время ходил по мастерской и ел. «Что вы читаете, Нина? „Гамлета“? А-а?» – спросил он, остановившись недалеко от меня у мольберта.

Меня это стесняло, поэтому я перебралась на другую сторону так, чтобы он меня не видел, а я могла бы изредка взглянуть на его протянутую руку и милую голову. Он некоторое время сидел спокойно, потом не вытерпел, вскочил и, проходя мимо меня, остановился посмот реть. Я, закрывая слегка рукой лист, обернулась – вот эти голубые глаза смотрели на меня. «Покажите, Нина». Я замотала головой, а он вдруг взял мою руку и, мягко отодвинув в сторону, сказал с легким укором: «Ну?» – «Да у меня еще нет ничего. Я только начала», – сказала я, окунаясь в его смеющиеся глаза, и покраснела. Потом уже я ловила моменты, чтоб еще и еще раз взглянуть на него.

Когда все кончили писать, Жорка, рассматривая работу Жени, сказал: «Знаешь, у тебя манера похожа на манеру Потапова». – «Неправда». Я стояла тут же. «Посмотрите, Нина. Ну, разве похожи эти две картины?» – неожиданно сказал он, подводя меня к картине Потапова. «По-моему, нет» – буркнула я и, наверно, с очень глупым видом отошла. Меня мучила боязнь, что я смешна, что Женя догадался обо всем и смеется надо мной. «Пойдемте к нам. Пойдемте все и пообедаем», – предлагал сестрам Женя. «Ну что ты, что мы у вас обедать будем!» – сказала сестра. «Пойдем, Женя!» – «Нет». – «Нина, вы пойдете?» – «Что ж я одна пойду?» – улыбаясь, сказала я (а это ведь не был отказ).

Прощаясь, они пожали друг другу руки, но я глядела в сторону, а потом с общим поклоном сказала: «Всего хорошего». Но поклон-то был общий, а глядела я только на Женю. Вот дура! Ведь это так ясно становится, да я и сама знала, но об этом подумала слишком поздно, даже когда прощалась, подумала об этом, но взглянуть на Жорку так и не успела. У выхода из мастерской я, отдавая Жене книгу, сказала: «Возьми своего „Гамлѐта“». Девочки засмеялись: «Ха! „Гамлѐт“». «Ну да, „Гамлѐт“», – уже нарочно проговорила я и посмотрела, смеясь, на Женю. «Гѐмлет», – поправил он очень мягко, как бы боясь обидеть. Удивительно добрый и чуткий человек!

«До завтра! – крикнула сестра, а потом обернулась и прибавила: – А то приходите сегодня!» Женя молча обернулся. «Приходите все!» – крикнула сестра еще раз, ведь мы уже были на другой стороне улицы. Я опять обернулась и на минуту увидала его чуть улыбающееся лицо. Он промолчал и, конечно, не пришел. Меня теперь смущает и как-то сбивает с толку то, что он

заговаривает со мной. Почему ни Жорка, ни Андрей этого ни делают? Я, конечно, знаю, что это ничем особенным с его стороны не вызвано, но как-то невольно становлюсь смелее, боясь, что выдам себя с головой, что, отвечая ему, все дольше смотрю в его лицо. Ужасно будет, если он догадается!

<25 ноября 1934>

В школе противно не было, может быть, потому, что я немного успела отвыкнуть от нее, но все же мысль проучиться там целую зиму пугает меня. Ах, зачем я обратила внимание на Женю? Теперь я не могу не устраивать свою жизнь так, чтоб почаще его видеть. Муся со своими вечными рассказами о ребятах, о своих приключениях и любовных историях начинает мне уже надоедать. Я пока стараюсь скрыть это, ведь это все же лучше, чем ничего, но всем известно, что любовь удивительно чутка, и Мусенька вдруг спросила меня: «Нина, ты холодна ко мне стала?» И я, конечно, постаралась разуверить ее в этом.

Сегодня в школу пришел Димка, но я теперь совершенно равнодушна к нему и поэтому острю на его счет и стараюсь задеть, так как он продолжает злить меня своим упорным игнорированием девочек. К Маргоше я теперь присматриваюсь более трезво, пожалуй, он бывает иногда хорошеньким, и я не прочь была бы завести с ним отношения, подобно Мусиным, но прежнего волнения и боли он уже не вызывает. Сегодня у меня с ним случился небольшой казус. Был урок труда, на котором группа обычно делится на две части. Одна идет в столярную мастерскую, а другая – в слесарную. Наша мастерская на перемене была заперта, а на дворе ребята закидывали нас снежками, они, мерзавцы, были не в себе от начавшейся зимы.

Мы перебрались к соседям, где Муся все время дралась с Маргошей, кидая в лицо ему стружками. Потом он прицелился в нее снежком, я, по странной и твердой своей привычке, бросилась заступаться. Мы стояли с ней рядом и ругались с ним, как вдруг он, размахнувшись, бросил мне в лицо холодный и мокрый снег. Мне не было больно, но так стыдно. Я редко злюсь серьезно и редко завязываю с ребятами серьезные ссоры, но когда разозлюсь, то должна отомстить, забывая всю страшную разницу между мной и врагом, лишь с одной мыслью – уничтожить позор.

Я стремительно бросилась за Маргошей, с ненавистью ударила его в спину и зло процедила: «Сволочь!» Он обернулся и был так страшен в эту минуту, большой, со сжатыми кулаками, злыми глазами и стиснутыми зверски челюстями. Мне стало

вдруг жутко, и я что-то проворчала, поставив между нами стул и отойдя. Он тоже успокоился, собравшись уходить, но тут подскочила Муся и маленькой своей ручонкой хватила его по шее. И опять обернулось к нам звериное лицо его, и я, не рассуждая, сделала движение вперед и загородила Мусю. Он смотрел на меня зло и как-то страшно. «Ты что, Маргоша, с ума сошел?» – спросила я. Он что-то невнятно пробормотал, и я вдруг вспомнила, что он может нанести мне один из самых болезненных ударов, назвав «косой». Куда делся мой смелый и надменный тон? Кругом тесным полукругом стояли девчонки, а я сказала что-то миролюбиво, чтоб прекратить эту сцену. Но, в общем, я осталась довольна, что не снесла обиду молча.

<26 ноября 1934>

Утро – это надежды и радостный подъем духа, вечер – тяжелое разочарование и угрюмые мысли. Я все хочу выйти из тупика, все хочу найти выход из этой скучной и одинокой жизни. Я все же молода, и мне хочется жизни, действия и веселья. Сестры и отец считают меня холодной натурой. Но разве это так? Разве я не мечтаю о другом мире? Разве я не преображаюсь в борьбе и действии? Из школы мне уйти необходимо. Но как? В январе начинается набор в учебные заведения, и я уже не думаю о Текстильном институте, мне все равно, только бы не школа. Пусть рабфак или подготовительные курсы…

Я сегодня с такой радостной уверенностью думала о том, как пойду сегодня к Николаю[37], повторю с ним физику и он даст мне новое задание. И я буду учиться, учиться, учиться. Я ведь чувствую в себе силу для упорной и долгой работы, но мне нужна определенность, чтоб я знала твердо, для чего все эти труды, а главное, мне нужен руководитель в этой работе, который проверял бы и помогал. А так, совсем одной, без поддержки или же, наоборот, выслушивая насмешки, я не могу. Как я надеялась на Колю! Неужели я не подготовлюсь за месяц? У меня был план работы, я просмотрела, что надо пройти, и мне казалось все это возможным. Ощущая в себе силу и интерес к предстоящей борьбе, я шла к бабушке на встречу с Колей.

Но тут меня охватила робость. Николай сидел равнодушный и углубленный в какой-то чертеж, я испугалась, что он будет смеяться, захотелось в какую-то минуту, чтоб переговоры с ним велись через маму. Я долго молча ходила по комнате: «Нет, я не должна говорить сама, я не могу и не умею. Но надо поговорить самой». И глядя в окно, я спросила у Николая: «На какой курс

рабфака поступают после окончания семилетки?» Он спросил: «Ты хочешь сократить время образования?» – «Да». – «Нет, ничего не выйдет. Ты не пройдешь курса за месяц». После этого я не только не стала просить его заниматься со мной, но даже побоялась попросить его дать мне маленький совет, уйдя домой сердитой и отрезвленной.

Смогу ли я одна пройти все это? Нет задачников по физике и химии, а они необходимы. Что же делать? Но ведь надо пройти. Неужели же не смогу? Было тяжело и уныло. Опять против воли ждала Женю, а потом хотя бы сестер… И все-таки надо решиться и попробовать заниматься, ведь попытка – не пытка, а в школу я успею вернуться всегда.

<30 ноября 1934>

Я эти дни занимаюсь, по вечерам хожу к Николаю, и он дает мне задания, спрашивает, уговаривая все-таки ходить в школу. Он не верит моему желанию поступить куда-нибудь и не верит в возможность этого, а я надеюсь. Вчера мама начала говорить о подготовительных курсах в Институт иностранных языков, и как я была рада. Пусть я не буду видеть ни Женю, ни занимательную жизнь сестер, о которой так много фантастично-прекрасного сложилось в моей голове. Пускай! Найдутся свои интересы, начнется своя жизнь, и страшно подумать, что это только мечты, что мне придется вернуться в школу. Так жутко при одной мысли о долгих занятиях, но я твердо знаю, что буду заниматься сколько требуется. Только бы поскорее все точно узнать, может быть, удастся все-таки поступить в Текстильный институт.

Меня раздражает пассивность и недоверчивость по отношению ко мне взрослых, они как-то не верят в мою затею, считая ее детским минутным капризом, а скорее всего, ничего не думают о ней. Хоть бы кто-нибудь попытался разузнать толком обо всем. Мама, одна она только, кажется, поняла меня и относится положительно ко всем стремлениям. А время идет и идет. Я не успею, наверно, подготовиться, я провалюсь и… опять школа, вдобавок с позором. И опять томительные кошмары на уроках, тяжесть и тоска – и мечты о другой жизни, мешающие слушать и мучающие меня. В занятиях своих я, кажется, начала чуть забывать Женю, и не так мучают воспоминания о голубых глазах и счастливом вечере, когда он был у нас, хотя иногда так волнующе ярко все вспоминается.

И каждый вечер я почти против воли жду его, и каждый вечер начинается робкой надеждой: «А может быть, он придет? Только

шесть часов…» Потом проходит час, другой, и я говорю себе: «Ну значит, не придет». И жду сестер, они ведь нет-нет да и скажут что-то о нем, и даже невзначай произнесенное его имя доставляет мне радость. Ляля с ним в ссоре, и они не разговаривают, Женя, наоборот, очень дружит с ним, и обе они влюблены в него. А мне почему-то досадно и обидно, что он нравится так многим, я никак не разберусь в этом чувстве. Может, это невольная ревность, и если да, то она у меня как-то наоборот вывернута, я ведь злюсь не на тех, кому он нравится, а на него самого. Мысль, что все так и что не я одна люблю его, делает мое чувство самым простым и пошленьким, а ведь оно так много места занимает в моей душе, мне так хочется идеализировать его.

Этого выходного я ждала с особой надеждой и думала: «Хоть раз в пятидневку увидеть его!» Вчера вечером, чтобы не слишком показывать своего интереса к поездкам в институт, я спросила у Жени: «Когда вы завтра поедете?» – «Часов в девять». – «Ой, как рано! Ну разбудите меня, я, может быть, тоже поеду, если не очень захочется спать». – «Может быть? – переспросила она и добавила равнодушно: – А нас завтра поменьше будет: я, Ляля и Жорка». Я молчала. Она сказала дальше: «Женя едет с Ниной в театр». – «Что это ему везет с театрами», – заметила я. «Да это Нина ему сама предложила», – ответила она.

Позднее, когда опять зашел разговор об этом, Женя заметила, что он очень не хотел идти в театр и предлагал ей билет. И мне почему-то так приятно стало, что он хотел пойти в мастерскую писать. Может быть?.. И даже в уме я не оканчивала этого предположения, настолько оно было нелепо, и я сама стыдилась этих мыслей, но невольно вспоминались ласковый блеск его глаз и непередаваемо ласковое прикосновение руки. Как глупо! Я спрашивала себя: «Ехать мне или не ехать? Стоит ли? Ведь я заранее знаю, что без него там будет скучно». А где-то подсознательно и робко проскальзывала надежда: «А может, он перед театром забежит к нам?» Все-таки я поехала с сестрами, ведь надо было, чтобы у них в следующий раз не возникло подозрения.

И вот опять этот длинный и светлый коридор, увешанный картинами, большая мастерская в хаотическом беспорядке. Я опять уселась в дальнем углу, поглядывая на то место, где он сидел тогда, и вспоминала его синюю куртку и улыбающееся лицо, а потом украдкой подходила к его портрету. Женя же с нетерпением ждала вечера: она должна была встретиться с ним в библиотеке. А я горько усмехалась над своей неудавшейся любовью, прислушивалась к хлопанью тяжелой двери в конце коридора и завидовала ей: «Счастливая».

На улице я с особым чувством посмотрела в тот переулок, где в последний раз увидала его полуобернувшуюся фигуру и его лицо, на которое я смотрела чуть ли не с мольбой. И насколько в прошлый выходной у меня было повышенно-оживленное настроение, настолько сегодня чувствовались упадок и тоска. А дома я с особой силой почувствовала, как же ждала я сегодняшнего дня, чтоб увидеть его. Проклятье! Как обидно и как стыдно! Я легла в полутемной комнате и… мечтала. Так безразлично все было, и так измучила меня борьба, что я не пыталась удержаться от мечтаний и около часа, сладостно забываясь, городила чепуху.

<2 декабря 1934>

Как это назвать: счастьем или несчастьем? Вчера приходил Женя, и у меня так часто билось сердце, а в руках неожиданно появилась внутренняя нервная дрожь. Он постучал условным стуком, я открывала в полной уверенности, что это Ляля, и такой неожиданностью для меня стало увидеть в полумраке лестницы неясные очертания его фигуры. Он, кажется, и не ответил на мое робкое приветствие и, не замечая меня, обратился к сестре. Я, покусывая губы, стояла в кухне с мыслью: «А ведь я, думая, что это мечты, надеялась». Он прошел в комнату, и они принялись за композицию, а я не смогла ничего делать и то нервно прохаживалась по комнате, то прислушивалась к его голосу. Из маминой комнаты, заглушая его, доносился скрипучий голос Жорки, они опять разошлись по парам.

Раза два я входила в комнату, где сидел Женя, рылась в шкафу и украдкой взглядывала на его спину, а потом долго сидела в своей комнате. Побывав «там», я как-то немного успокаивалась, могла даже прочесть страницы две, но, услыхав из соседней комнаты его смех, не выдерживала и, мучаясь и злясь, прижималась ухом к холодному камню стены. Звук настолько усиливался, что можно было разобрать отдельные слова, и я жадно слушала, не стараясь вникать в содержание, а просто наслаждаясь его голосом. Потом тяга «туда» все усиливалась и усиливалась.

Я брала зеркало, оправляла волосы и платье, кусала пальцы, потом, почувствовав, что надо разрядиться, я, взяв альбом, опять пошла туда. Положив его на рояль, я подошла к столу и начала рассматривать композиции. Оба, уткнувшись в работу, не обращали на меня никакого внимания, и я, постояв довольно долго, собиралась уходить. Вдруг Женя, откинув голову,

повернулся ко мне и, облокотившись рукой на спинку стула, проговорил с таким видом, будто хотел сказать очень важное, несколько снисходительно улыбаясь: «Ну, Нина, как живем?» Так обычно говорят детям, и я тогда, еще больше по-детски, ответила: «Ничего». – «А где Стюша?» – «Кто?» – переспросила я, почувствовав, что улыбаюсь во весь рот и… краснею. «Ну как ее? Ксюша?» – «А! Дома, по всей вероятности, где же ей быть…»

Я направилась к двери. «Нина! Пойди-ка сюда, я тебе скажу что-то», – позвала сестра, и я с удовольствием вернулась: «Ну, чего?» Она засмеялась: «Нет, завтра скажу». – «Чего, Жень?» – «Вот тебе и чего». – «Ну, Женя!» – «Хочешь, останься у нас?» – проговорила она. «А чего? Здесь скучно», – буркнула я, продолжая с внимательнейшим видом рассматривать рисунок. А потом я взглянула на сестру, которая так хитро и многозначительно улыбалась, что мне стало страшно и стыдно.

Я сразу же ушла, а за дверью долго стояла, схватившись рукой за голову, и мучительно думала: «Да, так всегда говорили мне взрослые: как живем?» Боль в душе была неопределенная и непрерывная, растекающаяся и давящая, точно зубная, она тянула вниз, по временам ее хотелось скинуть, оторвать. Я безнадежно и тяжело ходила по комнате, повторяя: «Так всегда говорят с детьми». Это как-то сразу все открывало. К восьми часам должны были подойти Нина и Дуся, но была уже половина десятого, а их не было. «Неужели просижу весь вечер и не увижу его?» – думала я, и мне хотелось плакать от досады и обиды. И опять я подолгу слушала через стену их разговор, морщилась и кусала губы, чтоб не заплакать. И все-таки опять не вытерпела, решив пойти и послушать там радио.

Я встала около рояля и, облокотившись на него, без дум глядела перед собой, чувствуя такую слабость и усталость, как после сильной физической боли, которая уже прошла, оставив чувство успокоения и довольства. Сестра и Женя работали, изредка переговариваясь. Я подошла к столу, чтоб взять альбом, и случайно увидела трамвайные билеты. «Можно я стащу у тебя немного?» – спросила я у сестры, а Женя, вдруг подняв голову и неожиданно весь просияв в улыбке, сказал: «Нельзя». Я смотрела на него, смеясь, и чувствовала, как поглощает меня обаяние его смеющихся серых глаз и преобразившегося лица. У него очаровательная улыбка, но он мало смеялся в этот вечер.

Около одиннадцати сообщили по радио, что в Ленинграде убит товарищ Киров, член Политбюро. «А-а! Боже мой!» – воскликнул Женя, схватившись за щеку, и голос его был наполнен слезами. Мне было немножко стыдно, что у меня ничего не дрогнуло в душе при этом извещении, наоборот, я чувствовала

радость, подумав: «Значит, есть еще у нас борьба, организации и настоящие люди. Значит, не погрязли еще все в помоях социализма». И я жалела, что не могла быть свидетельницей этого страшного и громкого происшествия. Да, теперь такая буча поднимется. Весь остаток вечера ребята говорили про это. А когда они уходили, я стояла в комнате у сестер, и Женя все-таки ухитрился кивнуть мне из коридора через голову Ляли и помахать свертком бумаги. Меня сбивает с толку его ласковость и внимание, может быть, только благодаря моему положению ребенка он и относится ко мне так. Черт возьми! А я ведь люблю его.

<8 декабря 1934>

Как-то вечером сестра спросила меня: «Ну, как тебе нравится Женя? Правда, хорош». – «Женя? Да, веселый мальчик», – проговорила я равнодушно, а сама поду мала, что это неладно. В тот же вечер она сказала: «А знаешь, Нина, ты покраснела, когда он с тобой заговорил». – «Это когда, в последний раз?» – «Нет, перед этим». – «А-а, когда он спросил, как живем? Помню, помню. Это от неожиданности». И я внимательно следила за собой, чтобы говорить спокойно и не покраснеть вновь. Что за черт? Откуда они могли узнать, что мне нравится он? Или прочли мой дневник? Нет, такой подлости я от них не ожидаю, было б слишком гадко. И все-таки они что-то подозревают, а Ляля каждый вечер, как увидит, что я скучаю, спрашивает: «Не влюблена ли ты, Нина?» – «Нет. Не в кого», – отвечаю я равнодушно. «А правда, тебе бы следовало влюбиться. Хочешь, я тебя с Женей сведу?» Я в это время разговаривала с сестрой и, ответив ей, только тогда повернулась к Ляле: «Да, ведь интересно взаимно, а он, так сказать, обреченный».

<9 декабря 1934>

Женя, Ляля пришли такие веселые, оживленные и кипящие жизнью, а мне почему-то особенно тяжело было сегодня. Их жизнь так хороша и заманчива, а у меня нет никакой, я живу их жизнью, увлекаюсь их интересами. То, что было, осталось в школе, то, о чем мечтаю, где-то бесконечно далеко впереди, а в настоящем – пустота. Пустота! Коля и бабушка считают меня лентяйкой, и каждый день, когда я прихожу туда обедать, начинаются едкие замечания. Да, скоро этому поверишь. Я теперь уверена, что не

успею подготовиться ни к какому рабфаку, но все же мне слишком тяжело расставаться с этой мечтой. Я просто стараюсь не думать об этом, заниматься стала мало, такой у меня упадок сил и жуткая пустота.

А тут еще Женька! Как это ужасно полюбить того, кто к тебе не только равнодушен, а просто не замечает, разговаривая так же, как с Бетькой, а иногда взглядывает так, как глядят на неодушевленную принадлежность комнаты. Я сама не знаю, чего хочу, в душе смутно и темно, как в реке в половодье. И я знаю – меня скоро прорвет. Как это выйдет, еще не знаю, но только я или расплачусь как-нибудь, или, чтоб убежать от себя и от одиночества, уйду в школу забываться в грубом и развратном флирте, или, может быть, отравлюсь. Я чувствую, как что-то подступает и заволакивает, – и нет никаких сил бороться с любовью и тоской.

Хоть бы был у меня какой-то интерес, какие-то действия, какие-то люди. Надо отвлечься – это первое средство от болезни, называемой любовью, а я целый день одна, целый день борюсь со своими мыслями, мечтами и желаниями. Нервы напрягаются, изнашиваются и почти ощутимо болят. И главное – болит душа. Как будто там что-то постороннее находится и давит, сосет… И если б я что-то определенно знала о рабфаке, знала, что туда-то надо готовиться, это придало бы мне сил, а тратить столько энергии, силы и напряжения на нечто я не могу. Я чувствую, как вся моя уверенность мои мечты о будущем иссякают, их нечем поддержать, нечем возобновить. Я, кажется, даже начинаю свыкаться с мыслью о школе, но… нет, это невозможно.

<11 декабря 1934>

Странный у меня сегодня день. Вчера поздно, когда я уже легла спать, пришли сестры. Что меня надоумило встать? Я надеялась, что они что-нибудь расскажут и хоть мельком упомянут имя его, но этого не случилось. Как-то разговор у нас зашел на самую опасную тему: о советской власти, о большевиках, о современной жизни. Мы всегда были на различных полюсах, мы были точно слепой со зрячим, которому этот последний старается объяснить цвета. Мы не могли понять друг друга…

Ну что можно было возразить против непродуманных заученных фраз: «Кто не за большевиков, тот против советской власти», «Все это временно», «В будущем будет лучше»? Временно эти пять миллионов смертей на Украине? Временно шестьдесят

девять расстрелянных?[38] Шестьдесят девять!! Какое государство и при какой власти с такой холодной жестокостью выносило подобный приговор? Какая нация с такой рабской покорностью и послушанием поддакивала и соглашалась со всеми творимыми безобразиями? Мы проговорили целый час, и каждый, разумеется, остался при своем мнении. Как я злилась и проклинала свою глупость и неумение говорить, как я могла с таким сильным оружием, как жизненная правда и факты, не доказать сестрам всей лжи большевистской системы? Правда, для этого нужно иметь редкостную бездарность!

О дальнейшей моей судьбе мне надо решить самой. Женя, Ляля заняты собой и художеством, мама – работой. Никто не посоветует мне, как надо сделать, никто не захочет понять, как мне трудно и страшно. Сегодня пришел отец. Он принес вести из Полиграфического института. Слабая надежда на поступление есть. И когда эта мечта начала воплощаться в жизнь, я вдруг почувствовала не только страх, но и просто свое нежелание. И не могла не засмеяться, наконец-то поняв, что все мои помыслы направлены лишь к нему, к тому, чтобы:

Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами.

Не жажда ученья и даже не жажда попасть в другую среду руководила моими желаниями. И мне стало страшно. В Текстильный институт я попасть не могу, а все остальные для меня становятся уже совсем неинтересными. Я сама только сегодня поняла, что вся движущая сила, вся энергия моя – не что иное, как любовь. Как были бы поражены и шокированы мои родители, если бы узнали, что дочь их предается таким глупым чувствам, что ради них она собирается устраивать такую генеральную ломку своей жизни.

< 14 декабря 1934 >

Удивительно, почему все для меня кончается трагедией? Кончается – пишу я, потому что это конец любви к нему, конец моим мечтам и ожиданиям. Мне смешно вспоминать, что всего два-три дня назад я боялась, что мое увлечение пройдет, мне нравилось, что оно давало мне новые интересные и острые ощущения, заставляло сильнее биться сердце, как-то волноваться самой и испытывать небывалое раньше чувство радости. Я шутила и играла с любовью, она ласково щекотала меня мягкими

лапками, под которыми оказались вдруг очень острые коготки. И до той минуты, пока коготки не показались, мне было приятно. Как можно в один вечер в какие-то два-три часа перечувствовать столько различных и непохожих друг на друга ощущений? И такой вечер был у меня вчера.

Начинался вечер, как и все, с робкой и сладостной надежды на то, что Женька придет, и с шести часов я ждала его все сильнее и сильнее, но уже с привычным спокойствием и терпением. Меня занимал вопрос: начинаю ли я разлюблять его или любовь осталась все той же, только как бы вошла в берега, сделалась привычкой? Она меня уже не мучила и доставляла удовольствие. В седьмом часу пришла сестра Женя, и я с привычным уже волнующим ожиданием прошла за ней в комнату, спросив: «Ляля на каток уехала?» – «Да». – «Сегодня, кажется, холодно?» – «Нет, наоборот, очень хорошо!» Мы еще перекинулись несколькими такими безразличными для меня фразами. «Пойдем погуляем!» – сказала Женя. «Значит, никого не будет», – подумала я, но пойти гулять согласилась. Медленно и неохотно одевалась, веселость, живость и оживление моментально пропали, в душе стало как-то тяжело и пусто, а надежда сменилась разочарованием. Мне стало как-то все безразлично, но, пожалуй, в самом удаленном уголке души моей я надеялась на завтрашний день.

Когда мы зашли к бабушке отнести ключи, сестра сказала мне: «А часов в восемь Нина и Женя должны подойти». – «Как бы не опоздать», – заметила я, а сама радостно улыбалась. «Ну и прекрасно, теперь весь вечер будет счастливым», – думалось мне. Однако гулять мы не пошли, и я с радостным ожиданием села за книгу, раздумывая: «Почему он придет? Ведь Дуси не будет. Может, Нина? Нет. Может, Женя? Нет». Мне почему-то никак не верилось, что он неравнодушен к Жене, хотя это очень могло показаться. «Ольга? Но ведь она на катке, и он знал это».

И какой-то злой и нехороший чертенок радостно закопошился и заиграл во мне: «Значит… значит…» Это даже не было определенной мыслью, но я прекрасно поняла, что говорил чертенок. И стало как-то особенно легко и радостно.

Я не верила, что нравлюсь ему, но даже сознание, что ему не нравится никто другой, доставляло мне удовольствие. Женя играла на рояле, и я, взглядывая на ее спину, блаженно улыбалась. Потом затявкала Бетька, незлобно и лениво, и я вышла в коридор. Внизу слышны были голоса. Нина? Ну конечно, она и Женя. И я сдерживала себя, чтоб не броситься отпирать, не дождавшись звонка.

Они вошли, впереди Нина, потом Женя; как всегда равнодушно взглянув на меня, он сказал: «Добрый вечер». Но это

даже не разозлило, не охладило и не омрачило моего настроения. Раздеваясь, он спросил неизменное, к которому я уже привыкла: «Ну, Нина, как живем?» Я ответила бойко: «Все по-старому!» – «Хорошо? А программу переписала?» – «Не бралась еще с тех пор», – проговорила я и с неприятным и удивленным чувством заметила, что слишком радостно и захлебывающе смеялась. А оставшись одна, внимательно присмотрелась к своим рукам и с добродушной досадой подумала: «Они могли бы дрожать сильнее, да и сердце громче биться. Неужели проходит?» Глупая! А что ты думала двумя часами позже?

Сестра и Женя принялись разучивать вальс в четыре руки, а мне было неудобно к ним войти. Иногда Женя смеялся, и так радостно-болезненно отзывался во мне этот смех. «Женя, сыграй вальс», – услыхала я голос Нины и вошла. Играл Женя! Я встала у стены и со смешанным чувством смеха и невольной досады на себя посматривала на него, который почему-то вчера был особенно симпатичным – так хорошо сидел на нем пиджак, так весело блестели глаза его, когда он пришел. Нина танцевать отказалась, стала печальной и хмурой, сев на постель.

Скоро пришла и Ляля, и, в длинной темной юбке и коричневой мягкой кофточке, она казалась такой хорошенькой и кокетливо-милой, что даже я заметила это и поняла, почему в нее так влюбился Андрей. Но никаких подозрений в душе моей не было, потому ведь Женя, заехав к нам, знал же, что она на катке. Ляля села играть, сестра и Женя уселись с двух сторон от Нины и, посмеиваясь, что-то говорили. Я стояла за лампой и не видела, что делается на постели, но, случайно встав, еле удержалась от восклицания. Он лежал, прижавшись головой к Нининой груди и закрыв лицо рукой, а сестра, смеясь, взлохмачивала его приглаженные волнистые волосы и говорила: «Так тебе лучше». Когда же он поднялся, лицо его было задумчиво и, пожалуй, грустно. «Ну, Женя, давай композицию делать», – предложил он.

Сестра дала ему бумаги, стала кое-что приготовлять, а он долго стоял с этим листом, глядя в одну точку, пока Нина не заметила ему: «Ну что же ты, садись». – «Собираюсь композицию делать, а в голове пусто!» – заметил он. Я была несколько удивлена, но спокойна и, ничего не подозревая, долго слушала, как играли и пели Ляля и Нина, твердя про себя и улыбаясь: «Как я люблю его!» Я не могла не улыбаться, вернее, не хотела придавать значения любви, так глупо сложившейся, и смеялась: «Что за трагикомедия? Три сестры влюблены в одного милого юношу, еще недоставало сцены устраивать между собой! Нет, я должна тщательно скрывать это». Мне было смешно и стыдно (глупый ложный стыд). И еще смешнее становилось от этого

смеха.

Скоро Нина ушла. Я сидела в своей комнате, когда услыхала, что к маме кто-то пошел, и я, желая хоть минуту провести с кем-нибудь, вошла туда. На постели лежала сестра Женя, уткнувшись в подушку, и я, признаться, совсем этого не ожидала и не смогла сдержать удивления: «Что с тобой?» – «Угорела я», – проговорила Женя, морщась. Но я не верила ей и пристально смотрела на нее. «Не думала я, что когда-нибудь угорю», – продолжала она. «Отчего же? Все угорают. Ты малокровная стала». А про себя я твердила: «Что это значит? В чем дело?»

Женя сказала: «Ну иди, я спать буду». Это совсем уверило меня в том, что здесь что-то неладно. Теперь мне уже было не до смеха: «В чем дело? Неужели правда, что Ляля с Женей? Нет, ведь он же знал, что она на катке. Но может быть, он надеялся? Что за вздор! Но что это значит? Ведь Женя ушла от них». Я послушала, что делается за стеной, но там было абсолютно тихо, из той комнаты не доносилось ни одного звука. Начались мои сомнения, я уже думала совсем по-другому, хотя и улыбаясь еще: «Да, этот вечер, наверно, кончится слезами». Женя скоро встала и ушла, я начала немного успокаиваться.

Вдруг она вошла ко мне: «Пойдем, Нина, погуляем. У меня голова болит». «Погуляем? – спросила я, и самой стало страшно чего-то и боязно. – Пойдем». Скоро мои сомнения кончились, мы ходили по морозному и твердому снегу бульварной дорожки в тусклом свете фонарей, на улице было так свежо и бодряще. А что было в душе? Женя мне рассказала, что это не она вовсе звала его в гости, а Ляля, что она давно заметила, что Ляля нравится ему и что теперь она нарочно оставила их одних объясниться.

А мне надо было улыбаться, равнодушно спрашивать и отвечать, когда в душе по-новому что-то ныло и мучило, было так нестерпимо больно и тяжело. «Вот Ляле везет, все в нее влюбляются», – говорила Женя. А я чувствовала себя такой несчастной и одинокой, потому что знала, что эта боль продлится не месяц и не два, а целую жизнь. Ни к Жене, так к другому, но всегда безнадежно будет эта боль. Через полчаса мы вернулись домой, я принялась переписывать программу, но изредка, когда не было сил сидеть, подходила к стене и слушала.

Голос Жени был тихий и до того непохожий на прежний, какой-то чужой и безнадежно медлительный. Войдя туда, чтобы что-то спросить, я мельком взглянула на него. Он сидел, откинувшись на спинку стула, скрестив руки, и смотрел в угол, у него было такое осунувшееся печальное лицо. Рядом сидела Ляля, она тоже была серьезна. Я закусила губу и поскорей ушла, хотелось плакать, и во мне поднималось что-то вроде

раздражения против Ляли. «Это ревность», – подумала я и усмехнулась. Мне было страшно туда входить, и я, так ждавшая Женю раньше, молила бога, что он ушел. Еще раза два мне приходилось входить туда и выяснять непонятные слова, и каждый раз видела я серьезное и безнадежно страдальческое лицо его.

Наконец в коридоре завозились, снимая пальто. «Ну слава богу», – подумала я с облегчением. Однако он опять вошел в комнату и был там так долго, что я решила, что ошиблась, и, выскочив в коридор, глянула на вешалку. Его пальто не было. Я подумала: «Не может решиться уйти…» Я чутко слушала. Сестра Женя вышла из их комнаты. «Оставила их одних», – подумала я с болью. После этого он ушел очень скоро, а я бросилась к девочкам. Они стояли и рассматривали композицию, у Ляли были до странности спокойные и почти радостные лицо и голос.

Я села на стул, думая про себя: «Не уйду. Пускай ругаются на меня. Все равно. Может быть, начнут при мне говорить». Но они не начали. Уже лежа в постели, Ляля спросила Женю что-то по-английски, и та ответила: «Да». Я встала и ушла, а в своей комнате быстро, скинув туфли, подошла к стене – сестры о чем-то тихо говорили. Я разделась и легла. И может быть, впервые в жизни почувствовала, что нет никаких сил уснуть и невозможно лежать спокойно, во мне все бурлило и крутило. Я села и, обняв руками колени, смотрела перед собой, широко раскрыв глаза, на освещенный квадратик дверного окна, куда просвечивал свет из кухни. И меня сверлили и мучили голоса сестер. «Хоть бы дали возможность послушать, что у них произошло».

Так я ждала, пока в кухне погаснет свет и мама уйдет к себе, но она очень долго возилась. Наконец стало темно. Я вскочила и, босиком, в рубашке, бросилась к стене и с какой-то мучительной удовлетворенностью прижалась к холодному камню. И почему-то представила сама себя со стороны: полуголая, смешная и несчастная. За стеной долго молчали, у меня только шумело в ушах. Потом Женя что-то громко и раздраженно сказала: «Слышишь, Ляля?» Та ответила очень тихо, и мне почему-то показалось, что она плачет. «Ну так и скажи», – проговорила Женя уже тише, но удивительно ясно. Я схватилась за голову и быстро, шатаясь и упав на постель, беззвучно зарыдала, уткнувшись в согнутые колени. Я не понимала, что за чувство во мне, но было так тяжело и больно, так что-то кипело… И я держалась сжатыми руками за волосы и, кусая губы, судо рожно и сдержанно всхлипывала, слез почти не было, но как-то все внутри выворачивалось и дрожало. Потом, немного успокоившись, я откинулась на подушку.

Женя и Ляля скоро замолчали. Я встала и, тихо открыв дверь, вышла в коридор. К сестрам дверь была приоткрыта, там было тихо, только сдержанно кашлянула Ляля, и мне опять почудились слезы. Мама зашуршала бумагой. «Занимается», – подумала я, вернулась к себе и, укутавшись в одеяло, долго сидела, глядя в темноту, и думала. Иногда начинали в груди колыхаться рыдания, и я, не выдерживая, плакала. Я считала, что любовь кончена: «Теперь все надо переменить. Надо заставить себя разлюбить его, не ждать больше, не расспрашивать сестер о нем, не видеть его никогда. А если будет возможность поступить в Полиграфический? Не поступай». Но я чувствовала, что это выше моих сил: «На Новый год тоже нельзя там быть. А ведь мое первое впечатление не обмануло меня. Ведь я еще тогда в общежитии подумала, что Ляля ему нравится».

И я вспоминала тот счастливый вечер, его чудесное лицо. Так сидела я, иногда забываясь и начиная мечтать, потом не разрешала себе этого и гнала мечты. Воспоминания путались и смешивались, но все же они доставляли непонятную режущую боль. «Надо забыть, надо разлюбить его. Я зашла слишком далеко», – твердила я себе, но опять вспоминалось его милое лицо и неподвижно устремленные в одну точку глаза в последний вечер. Сегодня утром долго лежала я с закрытыми глазами, стараясь не просыпаться, потом опять думала и вспоминала. «С таким самочувствием заниматься!» Опять вспомнила об опиуме и смерти.

Вечер

Берусь за дневник, потому что больше ни за что взяться не могу, глаза болят и пощипывают, веки опухли и их тяжело поднимать. Сейчас долго сидела я в тесной комнате сестер на полу в углу между роялем и шкафом и плакала, мало сказать – плакала, я рыдала, извиваясь и судорожно хватаясь руками за скользкий край рояля. Теперь только я поняла, что все еще надеялась до последней решительной минуты, поняла, что эта любовь совсем не то, что я чувствовала к Левке, а более серьезная и сильная. Она, быть может, и кончилась бы шуткой, если б… не вчерашний вечер, а теперь я вряд ли забуду ее скоро.

Днем я еще крепилась и сдерживала себя, а потом, когда пришла Женя и стала играть на рояле… Я долго молчала и подыскивала предлог, чтобы спросить о вчерашнем. Но она упорно молчала, хотя и казалась довольна веселой, и в этом ее молчании было что-то недоброе. «Ну как, было у Ляли с Женей объяснение?» – спросила я весело. «Да нет, ничего особенного не было. Какое может быть объяснение?» – «Врешь», – подумала я, но допытываться не стала. Ляли не было, она с компанией

собирались сегодня у Нины. «Ах, мне нельзя ехать, а все же поеду», – проговорила Женя. «Почему же нельзя?» Она не ответила. Значит, там будет он, но уже не было смешно, что мы обе любим одного. Сестра пела какой-то старинный цыганский романс, я стояла около батареи и, закинув голову, слушала. В душе был мертвящий ужас, но я все же боролась с собой.

Потом она стала одеваться, а я забренчала одним пальцем песенку, которая весь день у меня в голове: «Я покончу под поездом дачным, улыбаясь из-под колес». Это было нелепо, но страшно и трагично, поэтому так волновало меня. «Ты, Нина, скучаешь?» – «Да». – «А то поедем с нами». – «Нет». А сама чувствовала, как глаза заволакиваются слезами и непослушно дергается губа. «Почему?» Я уткнулась в руку и… плакала, сердясь на себя и боясь, что она догадается. «Там скучно будет».

Она старалась успокоить меня и предложила проводить ее до трамвая. «У тебя тоже скучное настроение?» – спросила я. «Да, друга терять жалко». Я догадалась: «А разве он окончательно влюблен в Лялю?» – «Да». – «Он объяснился?» – «Да. Не знаю… мне Ляля подробно не говорила». – «Тебе Ляля уже сказала», – проговорила я твердо, и почему-то вспомнилась вчерашняя ночь. Она сдалась: «Да. Он написал ей в записке, а Ляля сказала ему, что любит Жорку». – «Так и сказала?» – «Да. Он, вероятно, страшно страдает. Сегодня весь день был ужасный. Ты знаешь, он обычно бузит, шутит, а тут все перемены делал вид, что читает книгу. И я не могу. Девочки даже замечать стали, что я такая скучная. Если б я знала точно, что Женя приедет к Нине, я бы не поехала. А дома тоже сидеть нельзя, тоска грызет».

«Подумай только, какая же тоска меня грызет?» – подумала я, и вдруг так захотелось сказать: «Ах, Женя, ведь я тоже люблю его». Но я удержалась, представив себе, как это глупо влюбиться обеим. Садясь в трамвай, она сказала: «Когда-нибудь я расскажу тебе все подробно, как они поссорились и почему Женька воспылал к ней». Я забыла всякую осторожность, с благодарностью сжала ей руки и долго оборачивалась, махая ей, когда тронулся трамвай. Потом пошла домой. Слезы душили, заволакивали глаза, и не было сил справиться с ними. Я сняла перчатку и укусила руку, а дома я рыдала: сначала слезы не шли и будто мучили внутри, потом я расплакалась, и сразу стало легче.

В душе сидит комок, давит, и какое-то тяжелое недоумение возникает: «В чем дело?» Мне было тяжело и больно. Но почему? Разве я надеялась когда-то на его любовь? Нет. Это была шутка, но я слишком смело шутила. Теперь же это целая драма: страдаю я, страдает моя Женя и он… А ведь как недавно все они были

веселы и беззаботны. Зачем Ляля помирилась с ним? Ляля? Да, я испытываю к ней нехорошее чувство за то, что она лучше меня и ее любят, за то, что она умеет быть такой ласковой, веселой и кокетливой, за то, что она хоть и невольная, но причина моему горю. «Мне жалко его», – говорила она сестре, но я знала и чувствовала, что к этой жалости и неприятному ее положению примешивается какая-то гордая радость, которая заставляет ее улыбаться и потаенно, может быть, ликовать.

И это обидно. И вообще… разве можно описать то, что сейчас во мне творится? И опять с новой силой и ужасом встает передо мной и мучает сознание своего уродства. Сегодня днем я перечитывала рассказ Телешова «Без лица», и он был мне сегодня, как никогда, близок и понятен. «Так кончу и я, если не кончу раньше…» Я никогда раньше так не читала, я плакала и все-таки заставляла себя говорить, голос дрожал и срывался иногда, я всхлипывала, и все же эта мука доставляла мне удовольствие. Со стороны, наверно, интересно было послушать. А вечером, когда я вошла к Жене, она смотрелась в зеркало, а я подумала: «Вот она хорошенькая, а я? Проклятье!! За что?» И особенно было больно, потому что не было вины и не было виноватых.

< 15 декабря 1934 >

Сестры организовали драмкружок и, часто собираясь на репетицию, заходили к ребятам в общежитие. В прошлом году Жорке нравилась Ляля, теперь эта любовь становилась более глубокой и крепкой, но они были друзьями. Ляля, кажется, питала к нему только товарищеское чувство, а он боялся объяснений и вполне был удовлетворен своим положением. В самом разгаре репетиций и подготовки к спектаклю Ляля почувствовала влечение к Женьке, он был режиссером кружка и принадлежал к такому типу людей, которые не могут не нравиться, в особенности женщинам. Удивительно добрый и чуткий, живой и ласковый, с очаровательной улыбкой и чудными глазами, он был душой общества. И в простой и дружной семье студентов, где ничего не значило взять под руку и обнять, он невольно увлекал многих девушек, со всеми был ласков и одинаков, трудно было угадать, кто ему нравился. Этого не могла угадать и Ляля, а она влюбилась, но у нее хватило сил остановить свое чувство и порвать на некоторое время с Женей. Однажды на занятиях она написала ему страшно дерзкую и оскорбительную записку, он в ответ спросил удивленно: «В чем дело? Что случилось?» – «Я хочу обидеть тебя, и у меня есть причина». Он

был задет, может быть, заинтересован: «Скажи причину». Ляля отказалась, и они поссорились. Прошло три недели, и за это время Ляля почувствовала, что ее увлечение прошло, она теперь равнодушно смотрит на его обаятельную улыбку и синие глаза.

Женька упорно хранил молчание, не обращал никакого внимания на нее и за это время очень сблизился с другой сестрой, которая, как и все, влюбилась в него. Она никогда не говорила этого, может быть, даже и не думала, но была счастлива, что часто видит его, что он стал приезжать к нам. Одно лишь мешало – это ссора с Лялей, которая решила вдруг помириться. Как-то на уроке она подошла к нему и сказала: «Мне противны стали наши отношения. Давай помиримся». – «Мне самому они невыносимы», – ответил он. И они помирились. Потом Ляля через сестру рассказала ему о причине ссоры – ведь тогда он очень нравился ей, но теперь это уже прошло. «Что она наделала! Я ее любил», – воскликнул он. И чувство, которое дремало и, может быть, прошло бы незаметно, вспыхнуло с новой силой, встретив препятствие. Это чувство жило в нем всегда, но он настолько хорошо умел скрывать его, что Ляля не только не заметила, но и спутала. А теперь? Что теперь делать? Он был в ужасе: «Неужели все пропало? Как я мог прозевать все?» И в один из вечеров, когда он был у нас, он решил объясниться с ней: «Ляля, неужели все прошло? Неужели у тебя ничего не осталось?» – «Ничего». – «Ну так извини, я больше не буду мучить тебя». В тот вечер он не мог заниматься и долго сидел с убитым лицом, молчаливый и странный. «Ведь счастье было так близко, так возможно! А теперь его не вернуть». Началась тяжелая молчаливая драма, он не заговаривал больше с Лялей, не подходил к ней, но это уже был не тот мальчик, который раньше бегал и скакал среди мольбертов. В группе стали замечать, что с ним и с Женей что-то произошло, но никак не догадались связать их дело вместе и тем более приплести туда Лялю. Она странные чувства сейчас испытывает, как всякая женщина, она польщена и обрадована своим успехом, но ей все же жаль его, и из этой жалости она подходит к нему, заговаривает и приглашает к себе. Но почему она не хочет, чтобы он разлюбил ее? Сестры невольно улыбаются всей запутанности и сложности создавшихся отношений.

И я улыбаюсь сквозь слезы: «А мне что делать? Убежать от любви, как Ляля? Но я опоздала уже, мне надо было это сделать хотя бы три дня назад, когда я ничего не знала. А теперь?» В душе опять не проходит недоумение, но продолжать любить бесполезно и глупо. А как вырвать любовь? Я чувствую, что мне жаль расстаться с ней, я люблю само это чувство, которое вынесла и воспитала в себе, которое заставляло страдать и столько

радоваться. Я – как мать, которая не может не любить капризное и злое дитя, потому что оно часть ее. Но кончать с ней надо… А любовь не хочет верить, что надежды нет, что нет больше возможности увидеть дорогое смеющееся лицо и блеск его глаз.

Вечер

Весь день я боролась прекрасно. Не отрываясь, читала повесть о наших русских террористах, и даже тогда, когда сквозь книжные холодные слова вновь прорывалась больная, тяжелая и остановившаяся мысль. Прошло только два дня с того вечера, и вполне понятно, что я еще всецело думаю лишь об одном, но и эта возможность бороться с собой, которую я выработала сегодня, есть большой успех. Я не даю себе думать и оставаться без дела, и этого пока вполне довольно, но невольно пробивается в глубине души душащий меня, неразрешимый и бессловесный вопрос и недоумение. А стоит только чуточку дать волю фантазии, как начинает колыхаться привычное желание и воспоминания. И вспоминается мне Женька в последний вечер, такой несчастный и жалкий, с непохожим на обычное лицом, полным отчаяния. Так ярко чувствую я, с каким страшным чувством он уходил от нас, медленно, с какой-то тупой безнадежностью надевал галоши в полутемном коридоре. А в душе его были затаившееся смятение и ужас, странная и пустая тяжесть и безнадежное отчаяние. На лестнице он на минуту остановился и, мучительно сжав свои белые красивые руки, прислушивался со странным чувством ужаса, невольно удовлетворяясь мукой, к рвущей боли в груди.

А потом медленно, тяжелыми шагами, как-то весь опустившийся, пошел вниз, судорожно сжимая рукой скользкий полукруг перил. Ведь он мог иметь эту кокетливо-веселую, бесконечно милую и любимую маленькую девушку с хитрым задором в зеленоватых, блестящих, чуть приподнятых по-монгольски в уголках глазах, женственную и манящую, кажущуюся какой-то особенной и хорошей. Ведь она его любила! И рвало и ныло в груди, и жизнь казалась ненужной и страшной, а все же манила. Сейчас прочла свои предыдущие заметки, где писала, как я несчастна. Что это значит по сравнению с теперешним моим чувством тоски и безнадежности!

<16 декабря 1934>

Вчера Женька на одном из уроков передал Жене записку, она, прочтя ее, почему-то покраснела. Ни Ляле, ни мне она не рассказала ее содержания, так как в конце ее было приписано: «Не говори никому». Мне кажется, он писал ей в таком духе: не

оставляй меня, я боюсь себя, боюсь, что могу что-нибудь с собой сделать. Это подтверждалось поведением сестры – она и вчера, и сегодня проводит с ним вечера. Я все-таки не могу удержаться, чтоб не сказать: «Счастливая!» Какой он сейчас? Опять весел или задумчив и молчалив? Никак не могу побороть в себе некоторую досаду на необходимость забыть о нем. Но надо! Может быть, мне удастся поступить на рабфак, и это несколько отвлечет меня. Заниматься не могу совершенно. Я – слабонервная дура!

Сегодня пошла на профотбор. Как приятно было идти по скользящему тротуару в предрассветном голубом свете улиц! Как хотелось каждый день с этой необыкновенной бодростью духа, которая бывает только по утрам, ходить заниматься, но не в школу, а туда, о чем мечтаю, туда, где другие, интересные люди, куда бы меня тянуло. Тогда бы я могла сказать: «Вот и для меня настала новая жизнь. Новая жизнь!» Однако школьная обстановка, кото рую не видела около месяца, все же интересовала. В больших освещенных комнатах диспансера как-то легко было и приятно, и я с удовольствием заметила, что ребята теперь совершенно меня не интересуют.

<18 декабря 1934>

Каток. Голубоватый, покрытый белым снежным налетом лед. Быстрые, слегка согнутые фигуры конькобежцев. З-з-з-з… Поскрипывает лед и мелкими крошками рассыпается под острым лезвием конька. Темно. Беговая дорожка тонет в сумраке. Как приятно, плавно раскачиваясь в такт музыки, скользить вперед, поворачивая и лавируя. Какое-то особое ощущение легкости и быстроты. В круге, около странного вида строения, режут лед на поворотах Ляля, легко и уверенно, и Юрка. Они держатся за руки и так дружно и быстро описывают легкие полукруги по скользкому льду. Юра невысок ростом, одет в синюю лыжную куртку и катается прекрасно, он очень чудной и симпатичный. В теплушку они почти везли меня, взяв с обеих сторон под руки. У меня вихлялись от усталости ноги, и я то и дело теряла равновесие.

И опять пугала и мучила меня мысль о школе. Дома я поговорила об этом с мамой, которая спрашивала: «Что, собственно, тебе надоело в школе?» – «Все». Я точно и сама не знаю, но чувствую, что не могу там дольше оставаться. Вот представлю себе, как целых полгода мне придется тупо ходить по залу на переменах, тупо выслушивать о романах, как-то тупо кричать вдогонку школьному хулиганью грубые ругательства.

«Как я люблю спать. Все забываешь, все мысли, от которых можно сойти с ума». – «Брось дурить, Нина, – сказала мама. – Почему это с ума сойти? Учись, и все». Я усмехнулась и очень пожалела, что хоть один раз, но попыталась поговорить с ней откровенно.

<27 декабря 1934>

Женька пришел в тот вечер и был очарователен, у него так сияли глаза, лицо было такое молодое и свежее, и он оживленно говорил и смеялся. Несколько раз он обращался даже ко мне, и я забывала о Ляле, о том непоправимом, что случилось недавно, и была счастлива. Меня даже не мучила мысль, что он обращается со мной как с маленькой, мне не хотелось ни о чем думать и ничего предполагать, и после вечера я несколько дней ждала его страстно. Но, вероятно, он увидел, что с любовью не так-то легко справиться и что его борьба с ней еще не кончена. На Новый год он, возможно, придет, а может быть, и нет. Если бы мне еще месяц его не видеть, тогда все у меня пройдет… В школе у меня часто бывает бешеное настроение, когда хочется сделать что-то необыкновенное и очень веселое. Тогда с особой очаровательной ощутимостью чувствуешь в каждом члене силу и молодость. Но все чаще появляются у меня мрачные настроения.

<29 декабря 1934>

Удивительно хорошо сегодня на улице. Днем шел необычайно легкий пушистый снег и ложился сквозным воздушным слоем на землю. И прикосновение снежинок к лицу, еле уловимое, ласкало и холодило. Небо было покрыто очень высокими и очень тонкими облаками, сквозь которые светилось небо, и было светло, почти солнечно. И я с тоскливым чувством и болезненным наслаждением, как из тюрьмы, смотрела в окно на крутящийся белый вихрь пушинок. Там казалось так хорошо, спокойно и прекрасно, так хотелось слиться со спокойным и неземным мягким кружением, испытывая лишь свежий холодок на лице и дыша чистым кристаллизованным воздухом. Вечером стало необыкновенно тихо и тепло, как-то по-праздничному белел воздушный свежий покров и особенно ходили и смеялись люди. Сегодня у меня весь день что-то неясно и неспокойно на душе, мысли бродят отрывистые и странные, ни одной не могу разобрать. Не понимаю теперь, чего же мне хочется, что мне надо и, вообще, что хорошо на свете и что дурно. Удовлетворит ли

меня, вообще, какая-нибудь жизнь? Стоит ли жить? И всплывали мечты о глупом и несбыточном счастье, путались с тем, что называют идеей, с тем большим, непонятным, странно играющим и притягивающим. Не знаю, на что решиться, не знаю, кем буду… Как-то все глупо, непонятно и темно.

<30 декабря 1934>

После убийства Кирова в Смольном Николаевым, членом подпольной группы террористов, прошло уже много дней. Много передовиц в газетах кричало об этом происшествии, и много докладчиков-попугаев и советских шкурников с пафосом, потрясая кулаками, кричало над головами рабочих: «Добить гадюку!», «Расстрелять предателя, который трусливым выстрелом вырвал из наших рядов» и т. д. И много так называемых советских граждан, потерявших всякое понимание человеческого сознания и достоинства, по-скотски поднимали за расстрел руки.

И трудно поверить, что в двадцатом веке в Европе есть такой уголок, где поселились средневековые варвары, где с наукой, искусством и культурой так странно уживаются дикие, первобытные понятия. До начала следствия, когда еще не знали ни о какой организации, было убито уже сто с лишним человек, белогвардейцев, только за то, что они, белогвардейцы, имели несчастье находиться на территории СССР.

Сегодня расстреляли еще четырнадцать самих «заговорщиков», итак, сто с лишним человек за одну большевистскую жизнь. И невольно вспоминался XIX век царствования Александра II и действия «Народной воли». Какая буча, какое возмущение поднялось в кругах населения по поводу расстрела шести убийц. Почему же теперь никто не возмущается? Почему же теперь это считается вполне естественным и правильным? Почему сейчас никто не скажет прямо и откровенно, что большевики – мерзавцы? И какое право имеют эти большевики так жестоко, так своевольно расправляться со страной и людьми, так нахально объявлять от имени народа безобразные законы, так лгать и прикрываться потерявшими теперь значение громкими словами «социализм» и «коммунизм»?

Называть трусом человека, который открыто и смело шел на смерть, который не испугался расстрела за идею и который лучше всех, вместе взятых, так называемых вождей рабочего класса! Что теперь думают за границей? Неужели и там скажут: «Так должно быть». О нет! Господи, когда же все это изменится? Когда можно будет действительно сказать, что вся власть принадлежит народу

и что у нас полное равенство и свобода? Ведь это какие-то годы инквизиции, а не социализм!

<1 января 1935>

Вот и Новый год. Еще ни один не был встречен… так странно, пожалуй, и не начинался так мучительно. Вчера я весь день была в возбужденном состоянии, нетерпеливо ждала сестер и с удовольствием помогала Ляле переставлять мебель и прибирать вещи. Мы вынесли кровать и стол из их комнаты, и стало просторно и хорошо. В девять часов пришли сразу все, и я не удержалась от восклицания, когда мимо меня друг за другом проходило девять человек сразу, кому-то я кивнула, кто так проходил мимо. Женька был в светло-коричневой пушистой куртке и серых хороших брюках, и я, глядя на него, все спрашивала себя, люблю ли я теперь его или нет. И сама не знала, но того острого и отрадного, пожалуй, облегчающего чувства не было, а было другое – гнетущее, тяжелое и непонятное мне. Видеть его уже не доставляло удовольствия, а только мучило.

Все танцевали, а я, забившись в угол между роялем и шкафом, перебегала взглядом с одной пары на другую и все чего-то думала, наблюдая. Первые минуты я даже забывала думать о Женьке, но потом это новое неприятное чувство совсем овладело мной, и я ловила себя на том, что, задумываясь, пристально следила за ним во время танцев и, спохватываясь, быстро отводила глаза. Он танцевал со всеми, кроме Ляли, но так весел, как раньше, уже не был. Я в этот вечер так сильно почувствовала себя одинокой, ненужной здесь и почти лишней, хотелось, чтоб кто-нибудь подошел, сказал мне два слова, хотя бы танцевать позвал. Но кому до меня здесь было дела, до глупой, маленькой и дикой девчонки?

За ужином я села в конце стола, с одной стороны от меня – сестра Женя, а рядом за углом он. Как я рада была этому! Изредка поворачивая голову, взглядывала на его милый профиль и глаза, когда он иногда предлагал мне то бутерброд, то вино, мне было ужасно думать, что он это делает только из вежливости, из-за своей удивительной чуткости. И это было так больно! Случайно он пролил вино на брюки и сказал: «Нина, как вы думаете, останется пятно?» Я долго не могла понять, о чем идет речь, и бестолково смотрела ему в глаза, а поняв, пожала плечами и смущенно пробормотала, сразу отвернувшись: «Не знаю, по-моему, останется». Было стыдно и больно, близость эта начала

меня мучить. От вина стало жарко и чуть-чуть ломило голову, а в груди что-то все громче ныло.

После ужина опять танцевали, а я стояла и глядела, как он плавно и мягко ступал, слегка наклоняя в такт стан, быстро и ловко поворачивал даму. Я любила каждое его движение, его сосредоточенное и серьезное лицо, его лохматую фуфайку. Раза два я так долго смотрела на него, что он, наверно, замечал и взглядывал на меня, а я испуганно отворачивалась с ощущением на себе его глаз. Один раз он прошелся с Лялей, и она многозначительно взглянула на меня, а я при повороте заглянула ему в лицо. Но оно было так же углублено в себя, и лишь глаза стали какими-то ласковыми и расширенными.

Потом он помогал Жене приготовлять чай, и меня просто мучила его чуткость: он то предлагал мне конфету, то пряник. Я больше не могла выносить, что он, может быть, меня жалеет, – и эта мысль с ума сводила. Когда он грыз орехи, я, чтоб избежать нового предложения, вышла из кухни, но он все же успел крикнуть вдогонку: «Нина, возьмите орехов». «Нет, я не хочу», – ответила я и прошла к маме, но тут же вошла сестра и, подавая мне орехи, сказала: «Не будь такой робкой». Наверно, он велел ей это сделать, а мне было стыдно.

Потом пили чай. Я стояла в кухне, грызла ноготь и злилась. Да, любовь не прошла, она стала какой-то другой, мучительной… Из комнаты доносился его голос и смех, тихий и захлебывающийся. Он что-то изображал – и тогда на мгновение напомнил мне прежнего Женю, беззаботно-веселого. Перед уходом опять танцевали, потом ребята собрались уходить, и мы стояли в прихожей, провожая их. Я, не вытерпев, обернулась к Женьке, увидев, что он глядел на меня серьезно, а когда улыбнулся, то глаза его мягко заискрились. И долго глядя в них, я тоже улыбнулась. С Лялей он говорил мало, но, когда говорил, весь как-то устремлялся к ней, глаза его становились нежными, мерцающими и глубокими, и мне как-то не по себе и страшно тогда становилось.

Когда ребята прощались, Ляля вдруг неожиданно отозвала его в сторону, сказав: «Женечка, поди сюда». Я внимательно смотрела на него и на сестру Женю, а уголком глаза заметила, как он нежно взял Лялю за руки. «Я на вам лублу», – сказала Ляля лукаво и ласково. «И я тоже лублу», – проговорил Женя тихо и как-то сдержанно. «Все опьянели, один ты был трезвый и хороший». – «Ну, – протянул он шутливо, засмеялся и вдруг порывисто взял руками ее голову и провел по волосам, – ах ты, моя Оля». Я не могла этого выносить и быстро отвернулась. «Всего доброго, Нина», – сказал он и подал руку, и я, даже

обрадовавшись, пожала ее. Вот последний раз мелькнуло его милое и такое дорогое для меня разгоряченное лицо. Спать я легла в три часа, но, несмотря на позднее время и на вино, уснуть не могла.

Женя-Женька! Ах, этот Новый год! Я вспоминала отдельные сценки из прошедшего вечера. Всюду, куда я ни входила, была лишней и чужой, глупой, а часто и смешной. Помню, как перед самым концом вошел Женька и встал рядом, несколько сзади. Я не оборачивалась, он что-то сказал мне, и я долго не понимала, а потом бормотала ответ и глупо улыбалась. Ночью долго не могла заснуть, сон был неспокойный и тревожный, что-то чудилось и вспоминалось. Встала злая, убитая и несчастная, днем ходила к Ире, так как оставаться одной не могла.

<7 января 1935>

Вчера я спросила у Жени: «Что бы ты сделала, если бы тебе нравился человек, которуй любит другую?» – «Надо забыть», – ответила она и посмотрела на меня многозначительно и понимающе. Я подумала: «Забыть? Да, забыть. Ну что ж, попробую забыть, а ведь правда, почему бы не забыть?» Я как будто совсем решилась на это. А Женя стала рассказывать о нем: «У него такие усталые и старые глаза стали, и кругом морщинки». – «Значит, сильно подействовала любовь к Ляле». – «Нет, он говорит, что у него все прошло и что то было ошибкой». Я встрепенулась: «Значит, он не любит? Может быть, мне попытаться? Может, стоит добиваться?» Женя стала спрашивать, каков этот мальчик, из какой он группы, а мне смешно и неприятно было лгать ей. Если б она знала, о ком я думаю!..

Я долго колебалась, на что решиться, и наконец сказала себе: «Буду бороться и забуду, хотя бы потому, что это наиболее трудный выход, а я никогда не должна браться за легкое. Притом же у нас никогда не могут установиться нормальные отношения, а видеть его раз в неделю и каждый день ждать и страдать по меньшей мере глупо». И теперь я борюсь, думаю о чем угодно, но стоит лишь вспомнить о нем, говорю себе, прерывая мысль: «Довольно». Быстро придумываю какую-нибудь новую тему и фантазирую, но стоит немного забыться и задремать, как снова ловишь себя на том, как оживленно разговариваешь с Женей и всегда так удачно и ловко шутишь. И опять надо встряхивать с себя окутывающую паутину мечтаний, ругаться и думать о другом.

< 17 января 1935 >

У нас переменили выходной. Я не могу себе представить, как это вдруг и сестры, и мама будут дома, а я пойду в школу. Нет, это ужасно! И так странно. Завтра мы учимся, но в нас слишком глубоко и неискоренимо засел дух возмущения. Все несправедливости начальства приводят нас в бешенство и заставляют бороться, пытаться отстоять себя. Мы никогда не покоряемся без борьбы, боремся и на этот раз. Еще вчера, идя из школы, мы с Ирой решили писать заявление. Проиграть все равно нечего, а выиграть можно. Составляли заявление мы долго и мучительно, ведь у нас не было даже никаких веских мотивов требовать себе общего выходного, но мы пытались создать их из ничего. Когда Ира собралась переписывать, вдруг встал вопрос: а что, если придерутся к ней как к зачинщице? Хорошо бы напечатать!

«Идем к Димочке». – «Идем». И мы, посмеиваясь, оделись и пошли. Дома его не оказалось, как и в первый раз, вышла к нам его мать и, с трудом выговаривая слова, сказала: «А Дима в школе». – «Да, но у нас сегодня выходной, и занятий нет». – «Правда? Но где же тогда Дима?» У нас такое недоумение и удивление было на лице: «Не знаем». Ира написала ему записку и оставила вместе с черновиком заявления. Сегодня утром мы пошли опять к нему, боясь, чтобы не вышло какого-то недоразумения. «Дима дома?» – спросила я у открывшей дверь женщины. И не успела она ответить, как за дверью раздался чей-то низкий бас: «А, это ко мне». Мы вошли. «Проходите, проходите», – говорил Димка, по обыкновению как-то подрыгивая всем телом и крутя руками.

В комнате его был беспорядок, на столе стояла пишущая машинка. «Вот я написал и тут изменил кое-что», – проговорил он и подал мне лист. «Ага, мы так и хотели». Пока я, уткнувшись в лист, делала вид, что читаю, Ира спрашивала, что он вчера в школе делал. «А? Я? М-м… Да ведь выходной был, и я в кино пошел». – «А сегодня пойдешь?» – «Нет, сегодня я не могу». – «Вот и хорошо, что мы зашли». – «Да. Мне нужно еще на просвечивание идти». Он стоял, облокотившись на спинку стула, был выше меня, тонкий и показавшийся стройным в синем костюмчике, лица же я совершенно не разобрала. Когда мы вышли на лестницу, я, облокотившись на перила, буквально всхлипывала и захлебывалась беззвучным смехом.

Но в школе ждало нас разочарование. Ребята неохотно взялись за дело, они как-то все подсмеивались и усмехались, а потом наставили таких жутких замысловатых подписей, что

пришлось оторвать эту часть листа. Какими противными и чужими показались они в этот день мне, и опять потянуло куда-то. И это в первый-то день! Но к концу дня нам все же удалось уговорить всех, кроме Маргоши и Антипки, которые чего-то упрямились.

<20 января 1935>

Школа… Горячий, дурманящий туман… Чьи-то глаза, чья-то улыбка… Смеющийся сонм учеников… По временам унылое отрезвление, а чаще опьянение в шалостях, пошлости и грубости, наблюдения за Левкой, который ходит в костюме с белым воротничком и кажется таким обаятельным, что я боюсь, как бы чего не появилось у меня.

Сегодня в школе ребята выкрали у Муси из сумки записку, которую надо было передать Вадиму. Такая злость и презрение поднялись к ним, такими они казались мерзкими и подлыми, и странно было, что люди, столько читавшие, из культурных семей, так мало имеют понятия о чести и честности. Было обидно за них, которых считали хорошими и которые оказались такими негодяями и подлецами.

И невольно возникал вопрос: неужели они так мало думают и так мало понимают, что не знают даже, что такое долг и благородство? Или это уж такой тип людей, которые на всю жизнь останутся беспринципными дураками и негодяями? Я привыкла обдумывать и обсуждать каждый свой поступок, каждое слово и строго придерживаться справедливости и чести. Никак не могу понять, как это люди могут так низко и грубо подличать, а ведь среди них и Левка.

<25 января 1935> Есть дни, в которые ничего как будто и не произошло особенного, но которые кажутся такими необыкновенными, наполненными оживлением интересным. Сейчас именно такие дни для меня. На уроках мы ведем себя отвратительно. Страх перед преподавателем пропал совершенно, и частенько говорим ему какие-нибудь дерзости. Я не хочу думать, что это дурно, потому что ведь я еще наполовину ребенок и мне многое простительно. При этом так мертвяще-скучно и неинтересно на уроках без бузы. Но со школой надо расстаться, я твердо решила, что это мой последний год и что я, подготовясь летом, поступлю на подготовительные курсы в Текстильный институт. И теперь с таким нетерпением жду конца года. Весна скоро… Как хочется, чтоб она разбудила что-то болезненно-прекрасное и нежное в душе. А потом – лето. Да, мне надо

уходить из школы.

Вчера вдруг с такой странной и неожиданной силой вспыхнуло чувство к Женьке, сестры что-то рассказывали про него, а потом играли на рояле, а я вдруг вспомнила… Воспоминания еще так живы и так волнуют, что я с трудом вчера отделалась от желания думать о нем, все копошилось и подступало что-то в душе, необъяснимое, странное и неприятное, в то же время доставляющее удовольствие, холодное и скользкое, – почти физически ощутимое чувство подташнивания.

< 29 января 1935 >

У Левки с Ирой, кажется, довольно серьезная любовь, они уже две четверти оживленно переписываются друг с другом и на сегодня назначили свидание. Левка часто поворачивается на уроках и пристально смотрит на Иру сияющими синими глазами, а потом, улыбаясь презрительно и обаятельно, отворачивается. Позавчера и вчера Ира вдруг много говорила о Коле и на последнем уроке заявила мне, что Левка уже ей больше не нравится. Я с возмущением упрекала ее в неискренности и просила, чтоб она с Левкой порвала сама. И она порвала, а после уроков ей вернули от Левки все записки, которые она ему писала и потребовала обратно. Ира была в каком-то неестественно повышенном настроении, прыгала и смеялась все время. Это бросалось в глаза, но я настолько верила ей, да и все факты ясно подтверждали ее слова, что никаких подозрений у меня возникнуть не могло.

Сегодня я и Ксюша пришли к ней днем, она была весела и спокойна, много говорила о Левке и о происшедшем разрыве. На печальные напевы цыганских романсов всем как-то взгрустнулось. «Каждый о разном думает», – проговорила Ира. «Я знаю, о ком ты думаешь. Сказать?» – спросила я. «Говори». – «О Николае». Ира отрицательно покачала головой. «Значит… о Левке? Ира, что это значит? Зачем же ты порвала?» Она стояла, закрывшись пластинкой и напряженно улыбаясь, потом вдруг упала на постель и заплакала.

Я была поражена. Ксюшка тупо и нахально хихикнула, а Ира казалась такой несчастной и маленькой, тонкая в своем пестром халате и с плачем уткнувшаяся в одеяло. Я чувствовала, что надо утешить ее, ободрить и убедить попытаться завязать вновь их отношения. Но мешала Ксюшка, не могла я при ней откровенно говорить с Ирой. Тогда я шепнула Ксюше: «Надо идти домой. У Иры сейчас не такое настроение, чтоб забавлять гостей».

Прощаясь, я с новым для меня нежным чувством прижала хорошенькую головку Иры к себе, шепнув: «Перестань, Ира, ведь не поздно еще». – «Нет, поздно». – «Ну, всего». – «Ты не можешь остаться, Нина? А Ксюшка пойдет», – спросила она.

Я не знала, что делать и как прогнать Ксюшку, наконец она поняла сама и, надувшись, ушла. Я вернулась в комнату, Ира сидела поджав ноги и улыбнулась мне. «Ну, Ира, я никак этого не ожидала». Она опять заплакала, потом мы долго с ней говорили и решили, что я от себя напишу Левке записку, в которой постараюсь помирить их. Ира немного успокоилась и овладела собой, у меня появилось к ней такое заботливое и нежное чувство, которого раньше никогда не было и которое заставило меня сделать все, чтобы помирить ее с Левкой.

< 30 января 1935 >

Вчера я передала Левке мою записку, и меня так поразил серьезный тон его ответа мне: «Да, отношения мои к ней остались такими же, как и раньше. Но она хотела разрыва, и я не хочу перед ней заискивать». И этот бесшабашный шалопай стал вдруг для меня серьезным и страдающим человеком, мне было так странно это и от неожиданности даже смешно. Левка?! И я была так благодарна ему за совершенно новую для меня и незнакомую черту его, которую он так откровенно показал мне. И похожее на вчерашнее чувство к Ире поднималось и к нему, какое-то иное, чем всегда, теплое и родное, уже по-другому нравились синие глаза и золотой чуб, по-другому понимала я его веселую улыбку. Да, он стал совершенно другой, еще очаровательней и дороже и в то же время ближе и понятней. Теперь уже я страстно хотела восстановить между ними мир, и он восстановился, но не сразу.

В нескольких записках Левка холодно называл Иру по фамилии, и она говорила мне, что все кончено, но последняя записка Левки была приблизительно такой: «Ирина! Ты мне продолжаешь нравиться, и я за все тебя прощаю. Остаться сегодня не могу, так как у меня болит голова». Я была страшно довольна, Ира тоже, у Левки действительно болела голова, и на последнем уроке он не поднимал ее с парты, болезненно морщился и потом, идя в раздевалку, был молчалив и серьезен, держась за голову. И мне его было до нежности жалко.

Сейчас стоят чудные зимние дни, тепло и идет снег, падая бесконечно медленно и неуклонно, легко и беззвучно. Снежинки вихрем белых хлопьев вьются в свете фонарей, воздух чист и свеж необычайно, и такая необыкновенная легкость и спокойствие в

моей душе, как-то особенно чувствуется молодость, бодрость и радость жизни. Сегодня был бешеный день. В начале второго урока, когда еще биологичка не пришла, кто-то завязал игру в снежки. Я заметила это, когда она уже была в самом разгаре и Зыря, стоя на скамейке, целыми охапками хватал холодный рассыпчатый снег из-за открытого окна и посыпал им Милу, маленькую, пухленькую девочку, которая как-то беспомощно старалась защититься.

Когда она с белыми пушистыми хлопьями на волосах и косах бежала за ним по классу, вошла биологичка: «Что это такое? Снежки? Я иду за завучем! Это безобразие!» И она ушла. «Дурак, крокодил. Сам засыпался и других засыпал», – сердито буркнул Маргоша. Скоро пришла завуч. «Посмотрите, что они наделали. Весь пол и столы в снегу», – говорила биологичка. «Так!» – проговорила завуч, маленький, всемогущий и всесильный деспот. И было как-то странно видеть эту маленькую невзрачную женщину с синими едкими глазами, так смело и умело расправляющуюся с ребятами. Она казалась спокойной: «Сейчас со мной пойдут следующие».

«Неужели я останусь?» – думала я с досадой и готова была просить ее. «Луговская», – добавила она. Я чуть улыбнулась.

«Выходите!» – скомандовала она, и мы весело выскочили из класса. Так необыкновенно, почти гордо почувствовала я себя в этом первый раз в моей жизни путешествии к директору. Но все-таки сердце билось сильно и тревожно. «Девчонки, необходимо сговориться, как отвечать. Нас, без сомнения, вызвали из-за математики. Помните, тогда записали». И пользуясь отсутствием завуча, мы шепотом и взволнованно совещались на лестнице. Потом подошли другие девочки и мальчишки. Нестройным табунком шли мы по залу, усмехаясь и шепчась, а маленький истязатель громко и сердито говорила: «Что за безобразие! Не хотите учиться в советской школе? Все бузите! Вам не место у нас!»

Около кабинета завуч остановилась и скомандовала: «Сначала пойдут мальчики». Когда мы остались одни, настроение повысилось, так радовала и смешила необычность положения. К концу урока мы так разбузились, что совершенно перестали даже волноваться и все время хохотали. На перемене бросились шумным галопом через зал в класс. Потом пошли обедать.

Скоро пришли допрашиваемые ребята. У них все разыски вали какую-то подпольную контрреволюционную организацию и крыли их, кажется, ужасно. Какие жалкие, презренные трусы большевики! Они так всего боятся, что даже из таких невинных шуток, как дело ребят, могут создать что-то серьезное.

Ребята написали какой-то документ с приказом от императора Крока II. Ну как же не испугаться бедным советским детским блюстителям. Какая ужасная небывалая реакция в СССР. Даже школы – эти детские мирки куда, кажется, меньше должно было бы проникать тяжелое влияние «рабочей» власти, – не остались в стороне. Хотя отчасти большевики правы, они жестоки и варварски грубы в своей жестокости, но со своей точки зрения правы. Если бы с детских лет они ни запугивали детей, не видать им своей власти как ушей. Но они воспитывают нас безропотными рабами, безжалостно уничтожая всякий дух протеста.

Всякое чувство критического подхода к вещам, малейший намек на волю и независимость карается страшно. И большевики достигают своего. У тех, у которых этот протестантский дух глухо ворчал в глубине, они его окончательно убили, а тех, у которых он громко и открыто говорил, загнали в такую глубину, из которой он никогда не выберется. Но мы никак не могли представить себе, что нас вызовут по политическому делу, и беспечно смеялись, дожидаясь своей очереди.

Наконец ребята вышли. «Клемперт и Егорова!» – позвала завуч, и девочки ушли. «Ребята, – крикнули мы нашим, – о чем еще говорили?» – «Да ну, все какую-то партию ищут!» Девочки скоро вышли, и завуч приказала: «Теперь вы». Подошли мы трое, но завуч сказала: «Сначала Ивянская». Становилось немного неприятно и, пожалуй, жутковато стоять у ненавистных директорских дверей. Слышен был тихий скрипучий голос Муси, что-то говоривший. «Значит, не забудь, что говорить», – шепнула я Ире. Нас позвали сразу двоих.

Завуч стояла, а директор, маленький, широкоплечий и страшно неприятный, сидел у стола. Лицо его, неприхотливо устроенное, грубое и лишенное всякой внутренней красоты или хотя бы симпатии (о внешней и говорить нечего), было типичным лицом рабочего, закаленного, видавшего виды и выбившегося благодаря партийному билету, подлости и умению без раздумья и усердия выполнять все приказания свыше. Было похоже, что раньше он вращался в исключительно грубой среде воров и, может быть, проституток, но уж никак не в школе.

Когда мы вошли, он, слегка кивнув, указал место у стены. Ира стояла, сцепив руки за спиной и слегка наклонив голову, я же облокотилась, может быть, слишком небрежно для разговора с такой высокопоставленной и зазнавшейся особой и осматривала стол и мебель. Завуч что-то возилась, не глядя на нас, и говорила директору: «Этим те же вопросы, что и Ивянской. Одно и то же дело». Когда она ушла, он начал этот низкий и отвратительный

допрос: «Вот в связи со смертью Кирова и Куйбышева не было ли у вас какого-нибудь разговора?» – «Вот митинги только были», – проговорила я, не совсем его поняв. «Нет, а среди вас, учащихся?» Голос его был очень спокоен и почти мягок и вкрадчив. «Нет, никаких разговоров не было». – «А вот не говорили вы, что почему-то так много людей в этом году умерло?» – «А-а! Об этом как-то говорили. Вот Киров, Куйбышев, Собинов умерли, Ипполитов-Иванов недавно», – сказала Ира. «Ну, а больше ничего не говорили?» – «Нет, как будто ничего».

Он выжидательно молчал, постукивая ручкой. «Но здесь, по-моему, нет ничего предосудительного?» – буркнула я, не вытерпев. Он посмотрел на меня отвратительными, отталкивающими, зелеными, как у кошки, плоскими глазами: «Предосудительно ли? Мы вас призываем не для того, чтоб давать вам объяснение. Мы только спрашиваем, и вы обязаны отвечать на наши вопросы». И, как будто только опомнившись, проговорил сразу ставшим жестким и более резким голосом: «Встань как следует!» Я переменила позу и с поднимающимся внутри раздражением, озлоблением и едким стыдом за замечание смотрела на него. «Вы отвечаете, а я обобщаю факты. А вы не должны обобщать. Я даже педагогам при разговоре со мною не разрешаю обобщать». Хорош диктатор! Мне первый раз в жизни пришлось столкнуться с так называемой властью на местах.

«А с кем еще вы говорили об этом?» – «Больше ни с кем. Только вдвоем». – «А почему же об этом вот другие знают», – спросил он и указал на исписанный листок перед ним. «Может быть, другие тоже говорили?» – нашлась Ира. После каждого вопроса следовала пауза, и каждая такая пауза успокаивала меня. Наконец он, как бы размышляя, сказал: «Ну, идите». Нянечка указала нам наш класс. Была физика, но не только отвечать, а и слушать мы не могли и шептались тревожно и зло: «У нас в группе легавые есть?» – «Да они везде есть», – отвечала я уклончиво и осторожно.

Как мы ждали конца этого урока! На перемене собрались на балкончике я, Муся и Ира и сообщали друг другу разговор с директором. Оказывается, завуч спросила Мусю: «А нет ли у тебя подруги Ляли?» И записала ее фамилию, школу и группу. Это уже слишком. Какое право имеют они лезть в личные и внешкольные знакомства? Какой ужас творится! Этого не было даже в царских школах! Никогда администрация не была так трусливо мелочна и жалка. Да еще в группе у нас есть лягавый, ведь кто-то должен был сказать про то злосчастное письмо, которое выкрали у Муси ребята.

Когда мы после звонка вошли в класс, там был уже директор.

Все стояли, а он что-то говорил своим неприятным голосом, не выговаривая как следует букву «с» и шипящие, и это было очень противно. Потом мы узнали, что в наше отсутствие он говорил о заявлении по поводу выходного дня, зачинщиками которого были я и Ира и которое давно уже мы отдали завучу. Но как странно вышло, что мы только втроем вышли в зал, а остальные все сидели в классе, когда вошел директор. Он коснулся всего, так что эта игра в снежки напомнила о всех наших действительных и выдуманных огрехах.

<2 февраля 1935>

Опять мне стало скучно дома, и я готова целые дни проводить в школе, ведь там все-таки народ, какое-то движение. Сидеть и заниматься чем-нибудь спокойным совершенно не могу, хочется чего-то, хочется острых, неиспытанных ощущений, хочется любви. У меня кровь бродит, подходит к груди копошащимся холодным комком, а странное замирание в груди постоянно повторяется. И так хочется любить, чтоб рвалось и млело сердце, чтоб кружилось все кругом в безумном вихре. Хочется чего-то резкого, чтоб особенно дрогнуло в душе, и с этим ощущением хожу всюду. Мерещится какое-то сладострастное, болезненное наслаждение. Читаю стихи Ахматовой, и хотя стихи ее пусты и бессодержательны, но все они наполнены такой любовной и обаятельной чепухой, острым томлением и желанием.

<3 февраля 1935>

Все это вздор, просто-напросто я так обленилась, что не только ученье, но и книги стали мне противны. Хожу по дому и думаю – чем бы это заняться, чтоб было интересно? Мозг совершенно отказывается работать, поэтому хочется делать только то, что не заставляло бы его напрягаться. Сейчас мне приятней возиться с кастрюлями, чем читать. Голова в приятном сонливом оцепенении, и бродят глупые и пошлые мысли. Сегодня, рассматривая альбомы сестер, я вдруг нечаянно напала на карточку их группы, и меня поразил Женька, именно такой, каким я его любила, простой, симпатичный и чуть-чуть улыбающийся мягкими губами. Таким знакомым и милым показалось его лицо и… по-прежнему дорогим. И так странно стало. Неужели я не разлюбила его? Ах, как хочется увидать его!

У Иры с Левкой все наладилось, оба довольны и веселы и все уроки переписываются друг с другом. Я невольно должна быть почтальоном, так как сижу между ними. Левка мне нравится, правда чисто по-товарищески пока, но… все может быть. Он удивительно хорош, и если я его полюблю, то более серьезной любовью, ведь он стал для меня теперь не веселым мальчишкой, а чем-то большим. Этого чувства надо бояться. Я переменяюсь местами с Ирой, чтоб не передавать их записок, потому что невольно смотришь на него, встречаешься с ним глазами.

Девочки уверяют меня, что я не уйду из школы и останусь в восьмой классе, и мне иногда и самой жалко расставаться со своей группой. Все как-то дороги, ведь семь лет все-таки жили вместе, но остаться здесь нельзя, опять будет неудовлетворенность, жажда чего-то, мучительные мои искания. Ведь я, как это больно и стыдно, старше всех в группе. Есть ребята младше меня на два года. Левке, Вале и Маргоше по четырнадцать лет, а мне уже шестнадцать. У нас настолько разные желания и мысли, что мы не только в близких отношениях, но говорить и понимать друг друга не можем. Ах, чтобы я дала, чтоб вырваться отсюда! Еще целых ужасных полгода, и как мучительно ждать.

Меня часто интересовал вопрос – какое впечатление я произвожу на людей с первого раза? И никогда я не могла получить ответа на этот вопрос, но почему-то внутреннее мое чувство подсказывает мне, что первое впечатление обо мне бывает сравнительно благоприятным, ведь я возбуждаю некоторый интерес и любопытство. Но это только на время первых встреч, а чуть стоит меня узнать побольше, и я начинаю вызывать резкую антипатию. Правильно ли это, не знаю, но мне кажется, что это так и есть.

<6 февраля 1935>

Вчера, только что мы уселись на химии, вошел опоздавший Валя и коротко сказал: «Луговская и Шарова к директору». Мы с Ирой, пересмеиваясь и довольные, встали – без сомнения, нас вызывали по поводу прогула, и волноваться было нечего. У директора сидели завуч, математичка и наш Будуля. Математичка, вероятно, наябедничала на него, и вот его ругали. Потом директор попросил всех троих их выйти. «Ну это, кажется, серьезней. Наверно, о Кирове», – подумала я. Директор проговорил: «Ну вот что, мне надо кое-что узнать о ваших планах». Это было сюрпризом, и первой моей мыслью было не

показывать вида, как это меня взволновало. Впрочем, я все-таки, кажется, покраснела, потому что щеки вдруг загорелись. Но допрос был коротким и незначительным.

Когда мы пришли в класс, в нашу сторону, как и всегда, повернулись любопытные рожи, и нам надо было придумать, что лгать. На химии самочувствие было жуткое, злость и бессильная ненависть переполняла, сложно было казаться спокойной и веселой, но на следующем уроке я быстро развеселилась, просто забыла про неприятность, и стало весело от нового приключения. Ира страшно много переписывается с Левкой, и я только и делаю, что передаю их записки. Мне иногда бывает как будто досадно за свое положение только почтальона, хочется самой принять участие в переписке, но я просто не могу себя заставить писать остроумную чепуху, да признаться, это и не всегда удается мне. Все-таки нужна практика.

Сейчас трудный период в моей жизни – это вторая четверть, с третьей начинается мое возрождение, я оживаю. Школа не мучает так, не успевает надоесть, как наступит весна. Весна… с сиренью и черемухой, с неуловимым молодым движением в природе, с этим дурманящим ароматным обаянием. Я удивляюсь, за что меня любят девочки: Муся давно сказала мне об этом, Ира, как мне кажется, долго из гордости боролась с собой, но и она недавно сказала, что чувствует ко мне любовь, а сегодня даже Ксюшка, глупый ветерок, сказала, что любит меня. И это так удивительно, приятно и умиротворяюще действует на меня. Значит, не такой уж я ужас, значит, есть у меня хорошие стороны.

Как все-таки гадко и обидно! Ведь мужчины ценят в женщине только женщину, они любят в ней только тело, любят постольку, поскольку она удовлетворяет их половые потребности, в то время как женщина глубоко любит в мужчине человека, его качества, его характер. Мне почему-то не хочется верить, что это так, хочется мечтать о возвышенной любви. А сегодня папа говорил с Ольгой о ее отношении к Жорке, они ведь серьезно увлечены друг другом, вместе целые дни, вместе были в Ленинграде и теперь неразлучны. Родители боятся, как бы они не поженились. Неужели брак (в основном смысле этого слова) исходная точка всякой любви?

<10 февраля 1935>

Рассказы и пьесы Чехова я могу читать без конца. О, как я на каждом шагу встречаю в них себя! И весь этот безнадежный, отчаянный тон, пессимизм и бессилие так знакомы и близки мне.

Как не узнать себя в его Иванове и Треплеве! Все они неудачники, жизнью неудовлетворены, их мучает застой и удушающая затхлая атмосфера. Но что делать? Такова жизнь, и жизнь именно такова, никогда она не была и не будет другой. Что такое энергия, подъем, радость и счастье? Это моменты, и они встречаются изредка в жизни. А писатели любят совокуплять их и создавать картину идеалистической жизни. Но это же ложь, это не жизнь.

Я сейчас чувствую себя такой старой, не способной ни к борьбе, ни к действиям, такая безнадежность и отчаяние, кажется, что живу уже так давно. Несколько раз думала о том, что вот незаметно пройдет в этом безнадежном пессимизме вся жизнь и не останется ни одного желания, ни одной мечты. Вчера у Иры было свидание с Левкой. Вот они уже и друзья, они будут счастливы, будут подолгу разговаривать долгими темными вечерами, а мне, кажется, завидно. Зависть! Какое поганое чувство. Оно преследует меня всюду, отравляет существование. На все у нее один вопрос: «А почему ты не такая? Почему у тебя этого нет? Почему ты так не можешь?»

Ничего, если Ира возбуждает во мне только зависть, но я боюсь, как бы это не оказалось ревностью, ведь Левк а во мне возбуждает какое-то чувство. Мне приятней смотреть на него, чем на других, меня волнуют его красивые, сияющие синие глаза, такие очаровательные! Он высокий и смешной в своем коротеньком пиджачке, и вчера возбуждал во мне почти любовное чувство. Да, и он был с Ирой, говорил с ней, он любит ее. А мне страшно! Неужели это ревность? Он много рассказывал Ире про свою жизнь, что он был беспризорный. Левка беспризорный… а теперь такой очаровательный. Но все же видно, что он много знает, что много пережил, много видал, и, несмотря на это, он выглядит таким мальчишкой. Нет, что за вздор! Неужели я влюблена? Глупости! Но что же это? Мне теперь хочется о нем думать столько же, сколько о Жене. Левка, кажется, затмевает его…

<15 февраля 1935>

Как-то дней шесть тому назад меня в школе охватила страшная тоска. Не могла сидеть и слушать невнятный и неприятный голос исторички, страшно хотелось чего-нибудь новенького, интересного. Начала со скуки какую-то глупую переписку с Мусей: «А знаешь, Муся, я выхожу замуж за Шуню[39]. Приходи на свадьбу». Муся удивилась и вдруг пишет Барону (прозвище Шуни): «А я знаю твою баронессу». Он, к удивлению

нашему, так заинтересовался, что оставил даже свой вечно пренебрежительный тон и спросил ее: «Кто она?» Муся написала: «Я не могу назвать ее имя, но опишу ее особенности». В это время кончились уроки, и мы пошли домой. В раздевалке Шуня подошел к Мусе и сказал: «Так не забудь написать».

Мы были крайне довольны, что победили его надменность и равнодушие, и на следующий день не замедлили ответить ему, но не про меня, конечно, а… про мою Бетьку. Как пришла на ум мне эта мысль, не знаю, но она оказалась такой удачной и забавной, что мы ею воспользовались. Итак, особа, которой понравился Шуня, была молода и хороша собой, по происхождению она была француженка, но по странной случайности носит английское имя Бетька. Живет она вместе со мной, недавно приехала из-за границы и поэтому по-русски не говорит. У нее черные курчавые волосы и большие карие глаза.

Последующие затем дни были заполнены оживленной перепиской. Шуня был заинтересован и заинтригован чрезвычайно, и, разумеется, ни ему, ни кому другому не приходило в голову, что мы собираемся сыграть с ним злую шутку. Впрочем, начиная переписку, никто и не собирался приглашать его домой, но «чем дальше в лес, тем больше дров». Как-то так вышло, что он захотел ее увидеть, и мы уговорились, что завтра он придет ко мне. Воображаю, как будет поражен, обескуражен и рассержен Шуня, когда увидит перед собой черномазого, наряженного в платье пуделя вместо очаровательной французской девочки, о которой он, быть может, думает по ночам. Шуня, наверно, очень взволнован, ведь это, без сомнения, его первый любовный роман, и он так плачевно кончится.

Бывают дни, когда я чувствую, что вечная холодная преграда между мной и ребятами рушится и я становлюсь их товарищем, и эти дни доставляют мне такое удовольствие и удовлетворение. Странно, шесть лет я училась с ребятами и только в середине седьмого года получила возможность наблюдать их, всегда они были для меня какими-то особенными, непонятными и чужими существами из другого мира. С ними по-другому говорила я, к ним по-другому относилась. Да это и понятно, за всю жизнь я не только не имела ни одного друга-мальчика, но и просто знакомого. Кроме школы, для меня не существовало их, и это еще более углубляло и закрепляло мое странное отношение к ним. Но и в школе я страшно далека от них, я ведь странная, мне страшного труда стоит сказать что-то любому парню. Ведь я боюсь насмешек, это для меня страшней всего, и именно от ребят, мнением которых я особенно дорожу.

После каникул мне как-то случайно удавалось прислушиваться к разговорам ребят, и меня поразила их многосторонняя развитость, удивительная любознательность и серьезность. И такими жалкими, глупыми и узкоразвитыми показались девочки, я всегда их уважала меньше, но теперь я просто презираю их. Меня удивляет, почему самый глупый из ребят знает больше, чем я, обо всем он может спокойно и рассудительно говорить. А у девочек – только романы, мальчики и сплетни. Как стыдно!

< 19 февраля 1935 >

Шестнадцатого мы с Мусей одели Бетьку в коричневую кофточку, повязали банты и усадили на стул. Она послушно сидела, наклонив голову, и со скрытым негодованием взглядывала исподлобья карими глазами. Около трех раздался звонок, и мы, волнуясь и смеясь, не знали, что делать, потом я стала удерживать Бетьку, а Муся бросилась открывать дверь. Вошла Ира, в сбившейся набок шапке, взволнованная и взбудораженная, и некоторое время она только охала, прислонившись к стене. «Да в чем дело? Что случилось?» Она удивленно спросила: «Разве они не пришли еще?»

Сразу успокоившись и став сама собой, она прошла в комнату и стала рассказывать: «Только я вхожу во двор, смотрю, все четверо стоят. „А, Шариха, пойдем к Луге“. Я им говорю, почему вы здесь, идите к Нине, а я сейчас приду. Я ушла домой и думала, что они давно уже здесь. Может, они раздумали?» – «Нет, это невозможно. Наверно, заблудились». Мы, недовольные, терялись в догадках и большой компанией стояли у окна и разговаривали. Ира вдруг говорит, указав вниз: «Вот они прутся». Ребята выходили из-за угла дома с совершенно противоположной стороны. «Откуда их несет? – пробормотала я. – Ба, да их пятеро, еще Димка! Ха!» Я почти испугалась: «Что же с ними делать?»

Бетьку мы решили раздеть и, назвав наскоро Жучкой, бросились к двери. Муся хохотала, у Иры от волнения лицо покрылось буро-красными пятнами, она говорила: «Я уйду. У меня такой вид, нет, я уйду». – «Брось, Ира, говорить глупости». Но она все же спряталась в кухне. У меня в руках и ногах появилась дрожь, в маминой комнате был отец, и мне перед ним было стыдно и неприятно. Куда их черт несет только!

Ребята целой толпой вошли в коридор и начали раздеваться, посмеиваясь, переговариваясь, у всех были смеющиеся и полуудивленные лица. Бетька лаяла, Димка пробасил: «Ого, какой

пудель!» – «Замолчи, Жучка!» – громко смеясь, говорила я. «А, Жучка», – ребята хохотали. «Ну, проходите», – сказала я, проведя их в комнату сестер. Мы вызвали Левку в мою комнату и набросились на него: «Где вас столько набралось?» Он рассказывал и смеялся совсем по-мальчишески; глаза его, большие и светлые, будто поддернутые пленкой, тоже смеялись. Мы рассказали ему всю правду о Бетьке и велели позвать Шуню.

Он вошел, маленький и чудно одетый в свежую белую рубашку и нарядные синие брюки. Я спросила: «Почему вас так много?» Смеясь и путаясь, красный, растерянный и смущенный, он начал рассказывать, как было дело, а мне было странно и приятно видеть, как этот женоненавистник и презиратель так чистосердечно и по-детски объяснялся, а потом проговорил: «А нехорошо, что так много? Да мне плевать на них, их можно прогнать». Однако мы сказали ему, что Бетти не может сегодня быть дома, и пошли к ребятам.

Антипка играл на рояле, ребята стояли у окна и смотрели какую-то книгу, Димка с важным видом говорил что-то о футуризме, а Левка сидел на стуле, хитро улыбаясь, оттягивая вниз угол рта и посматривая на Бетьку. Очень скоро они ушли, оставив странное впечатление неловкости и совершенной глупости. Вечером Левка должен был идти к Ире, и я не смогла победить в себе желания видеть его и пошла к ней. Он пришел с Толькой, высокий и чудной в своей коротенькой шубейке, и я опять всматривалась в его лицо. Оно не было красивым, но глаза казались очаровательными, да и воло сы, золотистые, светлые, необыкновенно мягкие и волнистые от корня. Ушли мы все вместе в десятом часу, потом я пошла к бабушке, где уже было много народу.

<23 февраля 1935>

На улице весна. Ура! Весна! Сколько силы и энергии, сколько необъяснимого счастья приносит она, кажется, будто вместе с весенними водами вливаются в душу новые силы. Солнце так ласково греет, и так очаровательно и душисто пахнет ветер. Небо темное, с легкими облаками на нем, ветер буйно и неровно рвет, и порывы его напоминают что-то необыкновенно приятное и далекое – теплый вечер, весенний мягкий аромат воздуха, запах листьев и радость, необыкновенное счастливое спокойствие. Нет, теперь я успешно вынесу борьбу с тоской. Самое страшное время для меня прошло, и теперь с каждым новым теплым днем будут расти мои силы, мои надежды на счастье. Ах, как люблю я весну и

как же благотворно она на меня действует!

Сейчас, совсем недавно, были у сестер их друзья, и я так давно не видала ребят, что обрадовалась им и почему-то сегодня совсем не боялась их, и даже изредка вставляла какие-то замечания, и сама была очень довольна этому. Да, все зависит от практики, и если б я чаще вращалась в среде молодых людей, то не смотрела бы на них как на существ из другого мира, с которыми надо как-то особенно вести себя. Я делаю большой прогресс, перестала смотреть особенно на ребят, и часто они для меня только дети, именно дети, с которыми можно весело бузить, и это как-то странно подействовало на меня. Я теперь свободней говорю с ними и меньше обращаю внимания.

Иногда меня опять почти мучительно интересует вопрос: какого мнения обо мне окружающие? Знаю, что Муся, Ира и Ксюша мнения хорошего, но другие девочки или хотя бы ребята? Об этом я не имею никакого понятия, и это странно. Вечером вдруг пришло на ум – что думает обо мне Шуня? Вот, наверно, смотрит и размышляет: ведь ей шестнадцать лет, она уже не маленькая и что-то все молчит. Умна ли она и что из себя представляет? А может, он ничего и не думает? Нет, не может быть.

<24 февраля 1935>

Сейчас сестры совсем разошлись с Женей, никаких отношений с ним, ведь сестра Женя хотела вырвать любовь к нему, не знаю, удалось ли ей это, но ни она, ни Ляля ни слова не говорят теперь о нем, он как будто совершенно не существует для них. И я почти совершенно забыла о нем, иногда вспомню – и захочется увидеть и воскресить в памяти его лицо. А Левка? Он сегодня назвал меня Нинкой, и это было приятно, а Ира как-то сказала: «А он тебя очень любит». Я не стала расспрашивать, как именно он отзывался обо мне, но стало странно, что Левка может еще иметь товарищеское чувство.

Вчера ночью был пожар. Я почти засыпала, когда услыхала возгласы Ляли: «Мама! Смотри, как вспыхивает». Я побежала в ее комнату. За домом колыхалось широкое багряно-розовое зарево, разгораясь по временам и расходясь огненным полукругом, – казалось, восходило солнце. Первое мгновение стало необыкновенно жутко, и будто что-то сжало сердце резким страхом и подкатил к горлу непослушный комок. Я долго сидела на столе у окна и смотрела на красный шатер и думала, стараясь подавить в себе дрожь ужаса, о том, какая ужасная вещь жизнь и

что я видала только ее розовую сторону, а та, которая иногда приоткрывается и несет смерть, незнакома и страшна.

А потом, когда лежала уже в постели, в голову пришли странные мысли. Меня пугала темнота, она, казалось, была наполнена живыми существами, с недоброжелательным молчанием следившими за мной, и это настороженное молчание пугало. Почему так действует на людей темнота? Я уверена, что в комнате никого нет и не может быть. Что же страшного? Для людей самое страшное – это неизвестность, а темнота – неизвестность. Может быть, кругом действительно есть кто-то, невидимый и безмолвный? Может быть, есть загробная жизнь и те, кто умер, находятся здесь, их не видишь, они не могут сделать зла, но присутствие их ощущаешь, и это ощущение гнетет и пугает. Стоит мне только посидеть некоторое время без дела и позволить себе начать размышлять и рыться в своих ощущениях, как незаметно начинает обволакивать знакомое и тоскливое чувство какого-то морального душевного недомогания, болезненного и грызущего. Я поэтому все время заставляю себя быть занятой, чтоб не иметь возможности думать и чтоб держать глубоко зловещее «нечто».

<4 марта 1935>

Как странно! Была весна, снег стаял почти совсем, набухли почки и как-то по особенному настроили в ожидании теплых и душистых дней. И вдруг опять мороз. Ирине с Левкой теперь негде встречаться: дома у нее мамаша, она может что-то заподозрить, а на улице холодно, – и мы решили устраивать иногда свидания у нас. Чудно мое положение помогать сближению человека, который мне нравится, с другой, но я не чувствую не только ревности к Ире, но и просто неприятного чувства. Мне кажется, что моя симпатия к Левке чисто товарищеская, отчасти волнующее влияние его красоты и не более, я начинаю успокаиваться.

Около девяти Левка пришел, а Иры еще не было. Странно и волнующе смешно было видеть мужскую фигуру у меня, это было впервые. Пока Левка раздевался, я стояла, усмехаясь, в дверях комнаты и думала, как бы теперь устроить, чтобы не ставить его в неудобное положение, ведь он пришел к совершенно постороннему человеку. На мужской голос вышла Ляля – наверно, думала, что это к ней. Не поворачивая головы и давясь от смеха, я воображала, какое она состроила удивленное и лукавое лицо. Ляля поздоровалась, Левка вошел в комнату, высокий, худой и

стройный, он казался таким милым в своей серой рубашке с подвернутыми рукавами. Мы сказали друг другу две-три фразы, и я, чувствуя, что сейчас настанет молчание, а Левка почувствует себя очень натянуто, предложила ему сыграть в шахматы.

В это время пришла Ира, я их усадила и на некоторое время оставила вдвоем. Женя хитро улыбалась (она знала, в чем дело), мне было немножко не по себе, и чувствовалась какая-то нервная порывистость в моих движениях. Потом я вошла к ним, и весь вечер мы просидели вместе, болтая о пустяках. Иногда я смотрела на него из-за абажура и видела серые, смеющиеся, все-таки дорогие для меня глаза и необыкновенно красивые светлые, мягкие и волнистые волосы. За этот вечер я еще больше уверилась в его легкомыслии, пожалуй, даже хулиганстве, в самом обыкновенным уме, но ничто не могло рассеять глубокой симпатии к нему. Они ушли поздно, около двенадцати, и весь вечер у меня было повышенное и радостно-возбужденное настроение, я с удовольствием вспоминала слова и жесты Левки, какую-то неотесанность, неловкость и своеобразную остроумность его.

И все-таки общим впечатлением оказалась пустота бессмысленно проведенного вечера. Я бросилась к сестрам: «Ну, как? Понравился?» – «Он мне Пата напомнил», – сказала Ляля, и мне стало немного обидно, что Левку, такого необыкновенного, милого и славного, путают с длинным и некрасивым подростком, который ходил к Ляле. Мама ничего не спрашивала, только сказала, улыбаясь: «Впервые, Нина, в твою обитель приходит златокудрый юноша». – «Ага». Я была благодарна за это простое и чуткое отношение ко мне. «Чей же он поклонник? Мне кажется, Ирин». Я подумала: «Обязательно поклонник? Наверно, девочки ей что-то сказали».

<7 марта 1935>

На днях было второе свидание Левки с Ирой у меня, я их усадила к себе в комнату, а сама пошла к девочкам. В квартире никого не было, я заставляла себя углубиться в книгу, стараясь сдерживать некоторое любопытство и тревожащую иногда досаду на себя за смешное положение. Дверь в коридор была открыта, слышу, из моей комнаты кто-то вышел. «Кто это?» – подумала я, однако не подала виду и продолжала читать, прислушиваясь. Наконец оттуда послушался приглушенный голос Иры: «Нина!» Я недоумевала: «В чем дело?» Ирина стояла, прижавшись лицом к стене, высокая и тонкая, уткнув черную красивую головку в руку.

«Ира, что это значит?» – «Ничего. Иди к нему». – «Но все-таки что же случилось?» – «Ничего, говорю».

Я вошла в комнату, Левка сидел, облокотившись рукой о стол, серьезно и равнодушно смотрел на меня, но был, пожалуй, несколько смущен, хотя вид у него был такой, будто ничего не случилось. «В чем дело, Левка?» – «А я не знаю», – говорил он, добродушно кривя уголки рта. «Но все же с ничего не могло же этого случиться?» – «Она взяла и ушла», – проговорил он, усмехаясь. Я прошлась по комнате: «Чудаки! Что же с вами делать?» Он молчал, не глядя на меня, и это было как-то неприятно. «О чем хоть речь у вас шла?» – «Да ни о чем. Я сидел и молчал, а она ушла». – «Ах, она ушла потому, что ты молчал?»

Мы опять помолчали, и я мучительно подыскивала, что бы еще сказать: «Хочешь – пойди и утешь ее…» – «Ну вот еще, пускай немного успокоится. Ничего!» Он засмеялся и стал опять похож на обыкновенного Левку. Я спросила его про его учение по художественной линии, краткие ответы его скоро исчерпали всю тему, и я не знала, что делать дальше. Левка облокотился на руку и несколько раз провел по волнистым и необыкновенно мягким, кажущимся пепельными волосам, открывающим большой лоб, нежный и белый, как у младенцев, с голубыми тонкими жилками.

Лица его не было видно за лампой, он попросил: «Ну пойди, позови ее». Я вышла. Ира сидела на постели в комнате сестер и, откинув голову, смотрела вверх большими и печальными черными глазами. «Ира, может быть, пойдешь к нему?» Она ушла. Что же у них произошло? Меня разбирало любопытство и почти зависть к Ире за эту возможность любить и часами сидеть с любимым человеком, говорить с ним. Я невольно прислушивалась к их голосам, оживившимся и веселым. Левка смеялся, и меня вдруг потянуло увидать его смеющийся большой рот и глаза. Я с досадой закрыла дверь и включила радио, чтоб не слышать их.

Скоро пришла мама: «Ты что, устраиваешь им свидания?» Я подумала и сказала: «Ага». Мне не хотелось врать, да и это казалось лишним, почему-то захотелось быть с ней откровенной, показалось вдруг, что она поймет. Мы говорили весь вечер, и мама запретила мне подобные посещения за исключением редких случаев. И вообще, она очень отрицательно и резко, как и следовало ожидать, отзывалась о любви, а я защищала Иру, как в то же время и себя. Мама говорила: «Глупости эта любовь. И если она придет, надо бороться с ней. Что за чепуха!» Это меня сбило с толку. Я все-таки достаточно считалась с мамой, чтоб пропустить ее слова мимо ушей. И они вдруг пошатнули весь устой моих мыслей.

Любовь – не что иное, как глупость? Это ловко. То, что

вызывает к жизни, дает счастье, энергию, весь жизненный смысл, мама не задумываясь назвала глупостью. Чудно! Я вспоминала десятки романов и хоть бы в одном нашла подобное мнение. Все, ради чего мне хотелось жить, что казалось таким прекрасным, значительным и серьезным, не что иное, как глупая прихоть. У мамы очень простое мнение на этот счет (с годами это сложилось или она другой человек?), что любовь – это брак, дети и т. п. А то, что кажется таким необыкновенным и прекрасным, мираж?

<14 марта 1935>

Считается среди учеников далеко не доблестью сидеть целыми днями за уроками, серьезно и усердно заниматься, таких презрительно называют «примерными», «зубрилками». Но попробуй получить «неуд», и те же ученики, фыркнув, подумают: «Дура и лентяйка». И вот изволь и вертись среди двух огней, так чтобы ни в один не попасть. Это значит подделываться под чужое мнение? Да, конечно. Но мнение людей всегда играет большое значение в поступках людей, правильно оно или нет. Надо быть слишком умной, независимой и быть выше на целую голову окружающих, чтоб не придавать значения чужому мнению, надо не уважать людей, а я многих уважаю и потому невольно считаюсь с их мнением.

И всегда как-то странно, почему в школе, учреждении, созданном для занятий, вдруг так презирают эти занятия, ставят их на последний план, почему считается чуть ли не предосудительным прекрасно учиться, иметь хорошую дисциплину и считаться на хорошем счету. Что за странная, веками созданная борьба и вражда между школьной администрацией и учениками? Неужели надо стараться насолить педагогу, подстроить ему какую-нибудь пакость, не жить с ним дружно, помогая друг другу… Что-то надо сломать, какую-то преграду, которая отделяет учеников от педагогов, надо по-другому поставить дело. Ведь всегда педагог запрещает что-то ученику, делает неприятности, замечания, и это бесит. Нет условий, в которых можно было бы развивать хорошие стороны характера, ведь дурные инстинкты всегда преобладают, не давая никакого удовлетворения в духовном отношении. Как-то странно построен мир на вражде – или это закон природы?

В этот четверг я бездельничала, и немного больше, чем следовало бы. Мне наставили столько «хорошо», что было стыдно перед Ирой и другими, получившими «отлично». И в особенности стыдно и неприятно было сознавать, что ты неспособна, что ты

глупее других, вспоминалось, что я на два года старше многих, а развита не только не больше, а пожалуй, и меньше. Может, действительно я так неспособна? Я самолюбива и, пожалуй, тщеславна и честолюбива. Теперь я решила сдавать только на «отлично» и впервые за много дней принялась серьезно заниматься, было странно и даже приятно испытывать чувство уверенности и спокойствия знающего человека.

Но что за подлая судьба, не дала ничего: ни наружности, ни способностей, никаких талантов – и к тому же наделила самолюбием и гордостью, желанием быть лучшей. Это жестоко. И кроме того, я с головы до ног женщина. Не дать женщине красоты и обаяния – это насмешка, что ни говори, ведь у женщины крупнейшее место занимает почти безотчетное, всюду преследующее ее желание нравиться, и даже тому, кого не любишь, кто неприятен. Может, это просто признак мелкого женского тщеславия и глупости? Но знаю, что неизмеримо приятно знать, что ты кому-то нравишься, чувствовать, что странные тревоги сердца и моральное недомогание пройдут, если будет взаимное чувство любимого человека, уверенность, что меня любят.

Ведь было время, когда не проходило часу, чтоб я не вспомнила о своей злосчастной наружности. Хорошо, если я вспоминала сама, а когда мне об этом напоминали! Жить с непокидаемой жуткой мыслью, с сознанием уродства и со скрытой завистью ко всем, переходящей в ненависть… Как не возненавидеть жизнь? Но теперь этому конец. Операция сыграла роль, если даже не в исправлении глаза, то в том чувстве, которое жило во мне. Оно вдруг стало пропадать, когда жизнь была настолько сильна, что заглушала его, – редко стало вспоминаться клеймо. А ведь я его еще иногда вспоминаю, опять режет старая боль, и мне странно, что никто никогда теперь не говорит мне об этом. Почему? Неужели в людях столько благородства? Или недостаток на самом деле стал так мало заметен?

<28 марта 1935>

Каждый день проходит так: утром просыпаюсь часов в девять или полдевятого с чувством сожаления, что кончилось счастливое и спокойное забытье, что опять надо начинать утомительную и скучную вереницу одних и тех же дел, одних и тех же желаний. Первой мыслью бывает, нельзя ли еще хоть полчасика, хоть пять минут подремать, и с бесконечным чувством наслаждения уткнешься в подушку и забудешься легким, похожим на

полубодрствование сном. Как не хочется начинать день, такой до мельчайших подробностей знакомый и похожий на предыдущий и не дающий ничего, кроме скуки и досады на себя и на других. Но вставать надо, поэтому машинально и с трудом начинаю одеваться, а в голове привычно ворочаются мысли. Все рассчитано до мельчайших подробностей. Натянув грубые мальчишеские башмаки и подтянувшись ремнем, беру гребешок и зеркальце и, взглянув привычно в окно и на градусник, начинаю расчесывать волосы. Мыслей так много и все они так легки, неопределенны и смешаны, кажется, все они рождаются одновременно. «Надо аккуратно чесать волосы, а то они очень лезут». Потом моментально переносишься в будущее: «Как будет хорошо, когда они будут густыми, тогда закроются уши».

На улице снег… Форточку открывать не буду – холодно. А может быть, стоит? Ах этот папа! Сломал цветок – что его носит здесь! А все-таки я зря с ним такая злая… Распускаются ветки, это липа, а это не сирень, а бузина. Потом убираю постель, умываюсь и все думаю, как бы провести порациональней день. Ставлю чайник и сажусь у сестер читать. Потом иду к бабушке за хлебом и провожаю Бетьку. Чай пью одна, иногда с мамой, и тогда сидим молча и сосредоточенно, жуя хлеб. Сдерживаю подступающего и зашевелившегося бесенка-тоску, весь день думаю только о том, чтобы успеть сделать многое. Иногда сажусь за рояль и бренчу что-нибудь неумело и без удовольствия <…>

Обсуждение своих поступков, а поэтому и желание усовершенствоваться не покидает меня и страшно осложняет мне жизнь, ничто не удовлетворяет, во всем находишь справедливое осуждение себя. Невыносимая, привычная и гложущая тоска по забвению и успокоению зашевелится и начнет подниматься. Я ее сдерживаю, читая. Но вскоре скучно станет от всего, захочется чего-то: уйти куда-нибудь, находиться с людьми, чтоб забыть о себе. Радуешься приходу Ксюши, с которой нельзя сказать ни одной умной речи, но все же веселее.

А то пойдешь в школу и отвлекаешь мысли видом педагогов и ребят, редко они не озлобленны и не желчны, но все-таки как-то легче. Почти каждый день хожу к Ире, там иногда бывает Муся или Левка, а то и никого, тогда мы играем в шахматы или болтаем о чем-нибудь. Удивительно успокаивает уютная и знакомая, но приятно не надоевшая еще обстановка: большой диван, книги, маленький и чудной котенок. Но если случается целый день провести дома, к вечеру настроение убийственное. Делать ничего не могу, читаю с трудом и, ругая себя, сижу с Женей и Лялей и жду, когда будет одиннадцать часов.

Привычно думаешь и роешься в своих переживаниях. Мне так

хочется счастья. Но что для него надо? Любить и быть любимой? Это даже не необходимо. Лишь бы тот, кого люблю, был рядом и давал мне возможность заботиться о себе. Нет, я соврала, что не хочу взаимности. Такое желание иногда быть хоть для кого-нибудь дорогой, чтоб знать, что твои горести и радости будут близки для другого! Хочется друга, и, признаться, друга-мужчину. Хочется просто любви, чтоб не быть так бесконечно одинокой. Как-то надо заполнить пустоту в жизни, и я, наверно, рано выйду замуж, плюнув на все неприятности жены, лишь бы иметь детей, иметь возможность любить кого-то, ласкать кого-то. У меня даже реже появляются честолюбивые планы, и уже не трогает, что я самый посредственный человек и что из меня ничего не выйдет. Я чувствую, что счастье для меня – в любви, всегда обновляющей и чудесно новой.

Иногда мне кажется, что я развилась раньше, чем это следует, и мои желания не соответствуют желаниям шестнадцатилетней девочки, и многое для меня уже непреложная истина, а былое кажется заблуждением молодости. А как я бываю счастлива, когда приходит время лечь спать. Сон! О, как хорошо! Засыпаю быстро, а то лежу почти без дум и наслаждаюсь. Редко-редко придут мечты, но они уже не захватывают, не уносят в другой мир, и я их бросаю. Спать-спать! Единственное желание, и сон такой спокойный, крепкий, почти без сновидений и освежающий.

<6 апреля 1935>

Как это состояние называется? Как будто чего-то хочется, ощущение такое, будто долго не ела, голодно, но не физическим голодом, а моральным, и чего-то недостает до создания ощутимого и все же неуловимого и неясного. Эта неясность пропадает, и кажется, будто вот-вот поймаешь и осознаешь то, что настойчиво копошится в душе. Это кровь «бродит». Мне хочется любви, хочется забыться в этом чувстве, растворить свое «я», забыть о себе, бросить анализировать, чтобы ощущать только любовь и счастливый покой. А этого нет. Какое-то неясное беспокойство раздражает меня, оно временами так усиливается, что кажется внутри немного крови сердца там, что называется душой, что-то настойчиво копошится, холодное, колыхающееся, обволакивающее странно приятной паутиной. Хочется и отделаться от этого чувства, и еще и еще прислушиваться к нему.

Да, без сомнения, мне хочется любви, которой я никогда не испытывала и поэтому странной, а не той, какой я представляю ее. Я, конечно, говорю о любви ко мне. Это смешно? Но так

болезненно хочется быть для кого-нибудь дорогой и близкой, чтоб знать, что кто-то ждет, кто-то следит и любит. Я уверена, что быстро прошло бы тогда мое нервное и напряженное состояние и желание чего-то. Для женщины важна очень наружность, все они до пошлости одинаковы в своем желании нравиться, любить и быть любимой. Это нельзя осуждать, потому что это естественно. Я подобных вещей делать не могу, если б даже было бы желание, я уродлива и слишком самолюбива и горда, чтоб получать отказы и насмешки.

Это может показаться мелочью, однако вышло так, что незнание ребят слилось с болезненным и странным интересом к ним, желанием находиться с ними, изучать их, и в том возрасте, когда они должны быть только товарищами, они были для меня совсем другим. Помню, еще в пятом классе для меня ребята были именно мальчиками, и немудрено, ведь мне тогда было четырнадцать лет, столько же, сколько Ире сейчас. А в нашем возрасте два года – это большая разница. И интересы мои и окружающих были настолько различны, что понять друг друга было нельзя. И то, что нашло бы себе исход раньше, то спокойно бы прошло, а подавляемое развивалось, ширилось и начинало мучить.

Иногда мне хочется дать горячую клятву, чтоб детей своих не бросать на произвол их горячей фантазии, чтоб создавать для них строго правильную, спокойную и радостную обстановку и следить за ними, следить неустанно. На собственном опыте я познала это и научусь чутко следить за каждым переживанием своего ребенка. Уметь понять его и направить без насилия и страданий на правильную дорогу есть большое искусство. И священной обязанностью каждой матери является посвящение ребенку всей своей жизни, чтоб не получались такие странные выродки, как я.

Третья тетрадь

<7 апреля 1935>

Только начало апреля, а совсем весна. Снега нет, и сегодня мы с девочками ходили в школу без шапок и в осенних пальто. Необыкновенно приятно ощущать прохватывающий резкий весенний вечерний холодок и, распахнувшись навстречу свежему апрельскому ветру, чувствовать, как он холодной волной охватывает шею и тело, откидывая назад волосы, и бьет в лицо, порывистый и неровный. Всю дорогу смеяться, говорить глупости, не думать ни о пропадающем времени, ни о ждущих книгах, ни об учении. И так… любить все: сумеречный темный вечер, бодрящий холод ветра на лице, людей, проходящих мимо. Как их много, как они до головокружения и тумана разнообразны, но все почему-то старые, нахмуренные, куда-то торопящиеся, косящиеся недоброжелательно и насмешливо. Иногда парни окликнут или бросят какую-то шутку, и, забывая сердиться, смеешься в ответ, потому что весело и хорошо.

Я страшно тщеславна, тщеславна до гнусности, поэтому мне так приятно было, когда я поняла вдруг, что дорога своим подругам. Самая откровенная и наивная из них оказалась Муся, она давно уже стала говорить, что любит меня, она так всегда нежна и ласкова. Я ее люблю, ее маленькую и изящную фигурку, хорошенькое и нежное лицо, розовые щеки и свежий мягкий ротик, люблю смотреть ей в глаза с мохнатыми черными ресницами;

когда она говорит, они у нее искрятся и щурятся смехом. Каждый вечер при встречах она здоровается и, радостно улыбаясь, говорит: «Сколько мне тебе рассказать нужно. Такие новости!» И потекут бесконечные рассказы об одном и том же, во сколько они пришли к Ляле, кто и как сидел, о чем говорили. Ее болтовня иногда раздражает, так она пуста, бессодержательна и неинтересна, но Муся живет этим и, надо сказать, очень живо рассказывает, так что нередко заинтересовываешься. Она принадлежит к тому типу людей, которым всегда есть что рассказать, с которым всегда что-нибудь да случается. Мусю я с удовольствием могу видеть через три-четыре дня, но каждый день проводить с нею, с ласковой улыбкой отвечать на ее нежности и быть всегда спокойной и внимательной… Иногда меня прорывает, и я говорю ей какую-нибудь грубость, она обижается, а я сержусь на себя за несдержанность и прошу у нее прощения.

Теперь Ксюша. Она легкомысленна и груба, но дружба с нею у меня все же сильна, я в ней нуждаюсь и иногда ищу ее, ведь с Мусей никогда не случалось, чтоб она пригодилась мне в чем-нибудь практическом, а ведь известно, что и о привязанности судишь по степени пользы, которую приносит человек. Странные узы связывают нас с Ксюшей – одно горячее желание бузы, веселых выходок и любви к физкультуре. Обе мы бесшабашны, дерзки и грубы, часто ругаем власть и задираем прохожих. Сдерживающее начало у меня развито сильнее, и я иногда останавливаю ее беспардонные и грубые выходки, но чаще участвую во всем. К своему стыду, я невольно подпадаю под ее влияние, хотя разум заставляет меня быть осторожней и сдержанней.

Обе мы безнадежно и глупо хотели бы стать мальчишками и завидуем каждому их движению: она – их физическому превосходству, я – еще вдобавок и умственному, поэтому больше страдаю. Обе мы не любим кокетства с ребятами и выходки иных девочек по отношению к ним не терпим. Мы часто расходимся во взглядах с нею и спорим, но общего с ней у нас много: хочется мне на каток – иду с Ксюшей, надо сделать гадость педагогу или сбежать с урока – согласится и поддержит меня только Ксюша. В этом отношении мы – одна душа. Я раньше никогда не задумывалась о том чувстве, которое движет ею, а если и думала, то всегда казалось, что она любит меня все меньше и меньше. И мне странно показалось, когда она как-то сказала, что любит меня, а я отдаю предпочтение другим.

Теперь Ира. Надо сказать, что к Ире я чувствую что-то более сильное, чем к двум остальным. Ира – подчиняющая себе натура, она не любит слушаться, а любит, когда слушают ее. Это выдающаяся девочка, она интересна, умна и очень развита, настойчива до упрямства и по-женски своевольна и капризна, что, в общем, дает пленительное ощущение для мужчин и привлекательное – для женщин. Ира в меру остроумна и прекрасно держит себя в обществе, ловко ведет разговор и почти всегда весела. У нее так много той женственности, которой нет совсем у меня, и она так умеет усиливать ее, что я часто любуюсь ею, подмечая то одну, то другую милую черточку, и часто… завидую ей. Но что отталкивает меня и заставляет не уважать ее – это отношение к ребятам, ее кокетство, и я не осуждаю ее за те чувства, которые она испытывает к ним, но действия, ее действия… Я смотрю на мальчика против своей воли как на мальчика, она же намеренно вызывает в себе это не товарищеское к ним чувство. Ее сильным желанием было завести себе мальчика, постоянного и настоящего, который не ограничивался бы

перепиской, а любил и показывал это открыто. Это желание исполнилось: у нее появился Левка, любящий, наивно-простой, подчиняющийся ей полностью. Но как она искала их? Кому она не писала только?

Хотя стоит ли осуждать ее за то, на что у меня не хватило сил признавать законным открыто, плюнув на мнение окружающих, но что у меня самой, конечно, есть? Правда, Ира не очень-то разбиралась в средствах, но ведь это предрассудок – писать первым мальчикам, а не наоборот. Она пренебрегла этим, но чего достигла? Ее многие презирают и подсмеиваются. Она, кажется, пудрится, что-то делает со своими щеками, лицо ее уже не просто лицо четырнадцатилетней девочки, а то намеренно грустно, то странно оживленно, глаза иногда так неестественно блестят, и так изысканно и обдуманно улыбается рот. Любовь к нарядам всегда вызывала у меня презрение и отвращение, а она так любит и умеет одеваться. Зачем она так выделяет себя? Зачем эти высокие каблуки, эти сногсшибательные кофты? А как все обдумано и рассчитано в отношении к ребятам: как улыбнуться, как взглянуть… То она весь вечер печальна и нестерпима в капризах, то вдруг ласкова и добра. Помню, как часто она говорила и смеялась с другими ребятами лишь для того, чтобы Левка страдал и доставлял этим ей удовольствие лишний раз видеть, как он ее любит.

<15 апреля 1935>

Левка сильно увлекся Ириной, часто на уроках он поворачивает голову и подолгу пристально смотрит на нее, и глаза становятся ищущими чего-то, наглыми и ощупывающими, но ее взгляда он никогда не выдерживает и отворачивается, усмехнувшись. Он редко теперь бывает прежним Левкой, матерщинником и заносчивым забиякой, наглым до хулиганства, часто сидит серьезным, облокотившись на руки, или покусывает губы и хмурится, в нем стало больше порядочности, не слышно грязной ругани, от которой краснели даже ребята. Ирина говорит, что он ей нравится, но она никогда не бывает к нему внимательна, ласкова, и если глядит темно-карими глазами, то как-то презрительно-равнодушно и насмешливо улыбаясь. Дома у нее Левка дик и неловко-молчалив, кажется простодушным и робким мальчиком. Они подолгу молчат или дерутся, иногда Ирина ложится на диван, откинувшись на спинку, и говорит звонко резкие остроты или подразнивает, а то смеется, слегка колыхаясь грудью, переливчато, раздражающе и соблазнительно.

Роскошные ее черные волосы растрепываются, и странно манит тонкий и стройный стан с легким очертанием груди. Полумрак, долгое молчание, близость умной и интересной девочки возбуждающе действуют на Левку. Когда кроме них в комнате есть кто-то еще, то Левка хмуро молчит и становится угрюмым, сторонится всех, отвечает односложно и неохотно.

<18 апреля 1935>

Скоро конец. О, как хочется! Близость его и воодушевляет меня, и спасает от тоски и злого отчаяния. Когда нет больше сил заниматься, вспомнишь о том, что это последнее усилие, последнее! И… сразу же больше сил, легко и весело, ведь это избавление не только на три месяца, как в прошлые годы, а навсегда. А там какая-то неведомая, немножко страшная и прекрасная жизнь.

Левка показал Ирине свой дневник. Как мне хочется прочесть его! Это не простое любопытство, а глубокий интерес к нему, к его переживаниям. Мне не хочется верить, что он плохой, что он может делать гадости, а дневник все бы рассказал. Нет, Левка хороший и несчастный. Мы просто привыкли видеть его веселым и беззаботным, и кажется, будто не может быть у него серьезных переживаний. А ведь он был беспризорным, мать его развелась и вышла замуж второй раз – это так тяжело отзывается на детях. Потом умер отчим, и Левка остался один, неустойчивый и ищущий, а теперь вот у него Ирина. Зачем она мучает его? Ведь он из-за нее так пьет. Ах, какая скверная жизнь! Двое людей любят друг друга, зачем же мучиться? Почему не быть счастливыми? Все забыть и любить, любить… Левка пишет в дневнике: «Как все опротивело, какие все сволочи. Как бы не пришлось покончить с жизнью все счеты…»

<27 апреля 1935>

Музыка нагоняет грусть. В каком-то порыве стремишься подняться высоко-высоко в голубую сияющую лазурь и, слившись в одно с прекрасными звуками, парить там в блаженном экстазе и не чувствовать себя, забыться, чтоб звучать и петь вместе с ликующей, радостной музыкой. И эта невозможность унестись и раствориться в бурном потоке аккордов и звучной мелодии мучает и будит в душе заглушаемые жизнью струны о счастье, о мечтах, будит неудовлетворенность…

Двадцать девятого у Ирины вечер. Мне хочется идти, я меняюсь, кажется, да не только меняюсь, а переменилась уже. То, что я пережила в эти полтора года, было тяжелой борьбой, было болезнью. Странно, что все это я вынесла, что не отравилась и не умерла. Жизнь моя осталась все та же, с той же однообразной глупостью, пошлостью, тоской, но я научилась быть покорной. То, что раньше вызывало гордый и бурный протест, теперь спит. Я не позволяю теперь спрашивать себя: почему я хуже других, почему мне не везет, почему я всегда страдаю? Я, как говорится, приобрела способность по-философски смотреть на жизнь, а попросту – научилась покоряться, заглушила в себе всякий протест. Я не хочу теперь спрашивать – зачем жить? Где цель? Почему в природе устроено все так разумно для ничего? Где конец и где начало?

Есть такие неразрешимые загадки, которые лучше не пытаться разгадывать человеку, если не хочешь заблудиться в мировом пространстве собственной мысли. Вспоминаю слова Макара Чудры, который говорил: «Ты бегай от дум про жизнь, чтоб не разлюбить ее. А задумаешься – разлюбишь жизнь, это всегда так бывает… Кто скажет, зачем он живет? Никто не скажет!» Сильный рассказ «Макар Чудра». Сейчас опять прочла его. Такой плавной красоты речи, подобной музыке, ни у кого еще не было до Горького. И так по́шло все кажется вокруг меня, такими маленькими, глупенькими – мои интересы, что даже говорить о них неохота.

<30 апреля 1935>

Нет, жить, наверно, я никогда не научусь. Вот хожу, ищу дело и, не находя его, тупо сяду где-нибудь и начинаю думать. Только теперь поняла я, как глупы, однообразны и узки эти мысли, как мало в них свободного творчества и как все они мелки. Теперь я поняла, что я не умна и даже недостаточно способна, но примириться с этим… никогда! Я не хочу и не могу спокойно сказать себе: «Тебе не дала природа дарований, ты все равно ничего не добьешься, так успокойся и живи, как живет большинство: тихо и незаметно». Я слишком честолюбива и горда, чтобы признать себя побежденной, неспособной к борьбе. Я до сих не могу научиться спокойно смотреть на превосходство Иры надо мной. Оно несомненно, и это так жжет на каждом шагу, и каждый раз так хочется подняться до нее.

Моя жизнь сейчас – это сплошное самобичевание, унижение и оскорбление. Каждая острота, не сказанная мной, каждый

удачный жест или выдумка вызывают у меня мучительный и едкий вопрос: почему это не я придумала, не я сделала? И начинаешь рыться в голове, перебирая все, что там есть, а там нет ничего. Ничего! Ужасное слово. Честолюбие – страшная вещь. Это значит, что я никогда не удовлетворюсь, всегда буду стремиться быть выше всех и, достигнув высоты, почувствую, что я страшно одинока. И я не знаю, бороться мне с этим чувством, при этом навеки отказавшись от всех планов, или развивать свою жизнь, жаждать, желать и мучиться? Если честолюбие сочетается с талантом, то могут получиться блестящие последствия, но честолюбие и бездарность? Это просто насмешка какая-то! Одно время мне казалось, что у меня есть сила воли, теперь я и в этом начинаю разочаровываться. Всю неделю тому назад я почти успокоилась, и тонкая гнилая тина жизни начала затягивать. Но странно взбудоражила вечеринка, где увидала я Зеленина, где все ребята были умны и развиты, а мы, девочки, глупы и гадки, за исключением Ирины. И я опять кипела, стремилась к книгам, к занятиям.

<1 мая 1935>

Веселый май, прекрасный май! Лучший месяц, месяц молодости, любви и желаний, с теплыми вечерами, в томном аромате сирени и черемухи, с взбалмошными и пахнущими влагой ветрами. И как всегда, этот месяц ничего не принес мне, кроме смутной мечты о несбыточной майской любви и горького томления. И все-таки куда-то тянет в пахучую вечернюю мглу, под шорох лопающихся почек, под темное небо, и желание закружиться в жизни, отдаться мечте и сказке сладостно поскребывает грудь.

Долгие годы мечтаю я об этой жизни от сердца, жизни одним чувством и, зная, как все это невозможно, до сих пор не хочу расстаться с мечтой. Жить от сердца мне нельзя, для этого надо быть красивой и быть вполне женщиной, так что мне надо жить головой. Но как? Порвать со всем, что так дорого было мне и чего я так привыкла желать, бросить привычную для морали точку зрения и начать строить новый мир, мир, основанный не на мечтах и сумасбродных желаниях, а на занятиях наукой?

Этот год был решительным шагом на моем жизненном пути. Я сделала пробу той жизни, о которой столько думалось и которая, казалось бы, должна была удовлетворить меня. Я забыла учебу, с большим трудом заставив себя считать все это чепухой, а нужным – что-то другое. Этот год состоит из чередований двух

настроений, но и то, и другое соединяются одним, сильно развившимся чувством честолюбия, доходящим в мелочах просто до тщеславия. То с особой силой всколыхнется тело шестнадцатилетней девочки, созревшей, мечтательной и поэтому желающей увлекать, любить и веселиться, забыть об этом скучном мире формул и задач и, отбросив неопределенное «еще рано», окунуться в бессмысленно веселую и пошлую жизнь. То захочется заниматься, лихорадочно и упорно, оплетут грезы об институте, об упорной работе с серьезными товарищами, захочется стать умной, выдающейся. Но для чего? Опять-таки для этой жизни, но чтоб занять в ней место видное, одно из первых.

Первое желание – не рассуждая, такой как есть, попытать счастья – очень настойчиво росло во мне, и, как более легкому и приятному, я отдалась ему. Но прошлые годы упорных занятий наложили след на мои мысли, и я постоянно боролась, сомневаясь, как следует жить. Мне трудно было бросить учить уроки, спокойно получать «удочки» и не слушать на уроках. Я старалась приобрести тот особый, веселый и несколько наглый независимый вид, как у других девочек, я упорно боролась со своей застенчивостью и каким-то природным глубоким чувством приличия и, скрывая его, делала иногда возмутительно гадкие вещи, уверяя, что это так и должно. Я бросала даже читать, отгоняя от себя все, что напоминало мне об усидчивой работе.

За этот год я страшно распустилась, так что почти не могу себя заставить заниматься и все рвусь куда-то, подальше от себя. Желание нравиться у меня очень сильно развито, быть может, именно потому, что я никогда никому не нравилась, и это приобрело болезненный оттенок навязчивой идеи, затрагивающей мою гордость. Она, страдая всю жизнь, со странной жадностью ищет для себя что-нибудь приятное – понравиться всем, даже тому, кто неприятен, кого и не знаешь совсем. Но сознание того, что ты кого-то интересуешь, приятно щекочет мелкое женское самолюбьишко. Этого я сама настолько стыжусь, что даже в дневнике никогда не решалась писать об этом, – и теперь заставляю себя, чтоб еще больше унизиться и, может быть, отрезвиться.

Вся жизнь моя наполнена ребятами, и перед ними все становится неинтересным и неважным. За чтением и за занятиями я всегда занята мыслью о ком-нибудь, мыслью настойчивой и волнующей, мне вспоминаются различные факты, сказанные тем-то, и его слова. В постели я думаю об одном, часто мечтаю и со странно ощутимым замиранием переживаю и чувствую созданное глупой фантазией. В школе взгляд мой всегда чего-то ищет, я замечаю малейшие движения окружающих,

устремленные на кого-нибудь глаза, а если я случайно встречусь несколько раз глазами с кем-нибудь, то неизменно на самом дне души моей проскользнет нечто, не похожее даже на мысль, какая-то тень воображения: «Не нравлюсь ли я?»

<8 мая 1935>

Как, уже испытания? Как неожиданно и как скоро! Вот уже никогда больше я не буду таскать сумку и укладывать в нее книги. Я так мало думала об экзаменах, что они кажутся пугающе новыми, и как неожиданно. Каким мутным сном кажется для меня весь этот год, мучительный, однообразный и полный переживаний! Так все выскочило из головы, как будто я и не жила раньше. Прошедшее никогда не интересует меня, оно не существует для меня, я живу только в настоящем и будущем. Послезавтра первый зачет – литература письменная, я никак не могу заставить себя подумать об этом, близость его пугает и радует, ведь там конец. Там лето. От лета я больше ничего уже не жду, как раньше, уже не мечтаю. Но все же желаю, вероятно, потому что просто привыкла ждать чего-либо. Жизнь стала спокойней, но как-то особенно тускла и однообразна, без желаний, без перспектив. Но старые мысли, старые кошмары возвращаются иногда.

Прихожу вчера к Ире заниматься по математике, Левка был уже там. Я села против зеркала и посмотрела на себя, не случайно, а с каким-то привычным желанием увидеть себя сносной. Настроение было радостное, весеннее и удовлетворенное. Рядом были Ира и Левка, оба симпатичные и любимые. Но из светлого четырехугольника стекла смотрела на меня такая безобразная и ужасная фигура, что мне мучительно стыдно стало за себя, за свое страшное и смешное лицо, за спутанные и торчащие над ушами волосы, за всю фигуру, странно неказистую. Я отвернулась, готовая разрыдаться, в беспомощной злости и отчаянии, и долго не могла отделаться от тяжелого чувства оскорбления, незаслуженного и ужасного.

<19 мая 1935>

Вчера разбился громадный восьмимоторный самолет «Максим Горький», не гордость и слава только нашего СССР, но и выдающаяся величина мира. Впрочем, на счет последнего ничего достоверного не знаю, а нашим газетам доверять нельзя. «Максим

Горький» вылетел в сопровождении двух бипланов, один из которых в слишком близком расстоянии от него начал делать «мертвые петли». Голубая лазурь, кажущаяся такой ласковой и вовсе не страшной, наполнена ужасными случайностями. Биплан упал на крыло к «Максиму Горькому», повредив его, и шестидесятипятиметровая громада, кувыркаясь, полетела вниз, рассекая солнечную даль, по которой так свободно и спокойно плавала всегда, и теряя части. Вместе с «Максимом Горьким» упал и биплан. От стройного, красивого гиганта осталась серая и красная металлическая груда и сорок семь изуродованных трупов, которые за минуту до этого были живыми, мыслящими и чувствующими людьми и с радостью и замиранием сердца неслись высоко над Москвой.

И эти люди, летчики и пассажиры, мужчины и женщины, вдруг превратились в безобразную кровавую массу, теплую и липкую, с белеющим мозгом и костями, в то, что называют кровавой лепешкой. Ужасно и непоправимо! Из-за какой-то недопустимой оплошности летчика погибло ужасной смертью сорок семь человек. А хорош же «Максим Горький», который разлетелся на части от удара такого маленького самолетика! Его построили не для того, чтоб употреблять где-либо, так как он ни в транспорте, ни в военном деле значения не имел, а для того, чтоб наш Союз занял одно из первых мест в мире, чтоб можно было сказать: «Вот какова наша авиатехника! Каких гигантов мы создаем!» Как много у нас этого показного, не основанного на здравом смысле, как много хвастовства. Вот из-за этого-то хвастовства мы и страдаем.

<26 мая 1935>

Сыплет черемуха снегом,
Зелень в цвету и росе…

Черемуха… Она стоит у меня на столике. Чудесный пышный букет белых хлопьев. Нежно пригибаются воздушные и прозрачные снежные гроздья, и запах от них такой весенний, такой одуряющий. Сад у Иры покрылся блестящей темной зеленью, и я там подолгу сижу, смотря на листья и траву. Никогда – или я забыла уже – не наслаждалась я так весной, как теперь, раньше весенний ветер, светлое небо и зелень мучили меня, а теперь я счастлива. Да, я не боюсь назвать себя счастливой, когда у меня есть возможность вдыхать ароматы

весны и смотреть, как цветет все кругом белым цветом черемухи. Я хожу по улице и восхищаюсь каждым новым листочком, покачиванием ветвей, яркой и горящей на солнце травой. Что мне экзамены, что мне занятия?

Я с утра ложусь на окно, чтоб видеть, как ползут темные тени по дороге и светлое солнце становится ярче и резче, подолгу лежу, высунув голову и закрыв глаза, или, запрокинувшись, смотрю в туманное, слабо синеющее небо. Утренний ветер – обольститель, я люблю его, как любят людей, ласки его жгут и волнуют меня, заставляя улыбаться навстречу, он свеж, порывист и ласково мягок, временами хочется олицетворять его. Днем вчера прошел дождь, первый теплый летний дождь. Мы лежали с Мусей на окне, говорили глупости, а я наслаждалась слабым пахнущим дождем и парящей влагой и смотрела на темную тучу над Воробьевыми горами. Когда мой маленький друг ушел, я зашла к Ирине, а там был Левка. А у меня настолько было все переполнено счастливой радостью жизни и весны, так все пело, нежно, немножко грустно и прекрасно, что не хотелось думать о своем одиночестве и не уколола, как всегда, эта близость Левки и Ирины. Этот вечер был чудесным, когда я, не думая, хорошо это или нет, делала все, что мне вздумается, когда я смеялась своему счастью, а Левка был для меня простым, не заставляющим сдерживаться и следить за собой. В одиннадцатом часу мы сидели в саду, медленно потухало светлое и ясное небо, а на западе трепетно замерцала далеко за деревом бледная звездочка. Сырая земля и мокрые листья и почки пахли водой и цветами, так пахли, как может пахнуть майским теплым вечером.

<8 июня 1935>

Вчера у Иры была вечеринка, и так хотелось, чтобы она удалась, не была похожа на все прошлые вечеринками с «ублюдками», со скукой и похабщиной, чтоб оставила хорошее впечатление о ребятах и о школьной жизни. Странно проходили эти свободные дни, все мы волновались, много говорили о вечере, собирали деньги и падали с головокружительной высоты энтузиазма и подъема в темную глубь безнадежного пессимизма. Вечер несколько раз расстраивался, затем все налаживалось, потом вдруг опять все летело к черту. После правильной жизни с регулярными занятиями, определенными желаниями и волнениями резкая перемена всего уклада вышибла всех из колеи.

Как все люди, привыкшие к систематической и стройной

жизни, я потеряла почву под ногами и бессмысленно закружилась в пространстве по воле ветра и настроения так, что скоро спутала дни и события, в голове получилась ужасная путаница из пустых разговоров, событий и дел. Казалось, что-то большое происходит, а на самом деле мы продолжали кружиться на одном месте в непривычной пустоте и рассеянности праздной жизни, приятной и неприятной в одно и то же время. Мы с Ирой в поисках денег и людей по несколько раз в день ездили то туда, то сюда, исколесили все переулки, прилегающие к Зубовке с той и другой стороны, так что скоро они стали совсем знакомыми. Поездки совершались с тупой и привычной усталостью, я бегала к бабушке звонить по телефону, запоминая все номера, и так привыкла, что перестала бояться и спокойно разговаривала с ребятами.

Эти бестолковые и веселые дни немного взвинтили нас, настроения менялись невероятно быстро и резко, а за час до сбора ребят наш энтузиазм вдруг пропал, стало все вдруг безразлично и неинтересно, казалось, что вечер не удастся. Но хандрить было невозможно, так светло и уютно было в комнатах, так ласкали глаза белые покрывала, чистые скатерти и легкие, чуть колышущиеся тюлевые шторы. Девочки были одеты в белые костюмы; радостные, особенно оживленные и воздушные, они так подходили к убранству комнат. Их было четверо, кроме меня, все черноглазые, все хорошенькие и полные того обаяния, которое так и бьет из девочек-подростков. Надо заметить, что самый пленительный возраст у женщины – это от четырнадцати до шестнадцати лет, когда девочка превращается в девушку, хорошеет, начинает кокетничать и старается понравиться и когда все это женское очарование перемешивается с ребяческой детской порывистостью, простотой и резвой игривостью. Ляля и Рая, с большими черными, жгучими глазами, напоми нали южанок своей смуглостью и пламенным блеском глаз, Муся и особенно Ирина были изящно меланхоличны и очаровательны северной нежностью кожи и мягким теплым огоньком в глазах.

Ребята пришли в светлых костюмах и сразу внесли охлаждающую напряженность в наши отношения. Несколько минут Ирина кое-как поддерживала вялый разговор, потом Маргоша предложил: «Пойдемте играть в волейбол». В саду все сразу оживились и повеселели, дрались мячами, отнимали их друг у друга. Володя, маленький и крепкий, хорошо играл, вошел в раж, растрепался, стал красным и удивительно ловко прыгал за мячом. Маргоша был по-медвежьи неповоротлив и грубоват, о Юре нечего было сказать, кроме того что играл он скверно. В восемь часов пришел Димка, в черном костюмчике с белым отложным воротничком, выглядевшим так наивно, по-детски. Я

немного начала расходиться, подралась с Володей, отдавила ему ногу, а потом оторвала пуговицу на рубашке, и было очень неприятно и стыдно: «Вот, подумает: кобыла какая, как черт навалилась».

Ребята принесли с собой четыре бутылки вина, закуска тоже была недурная. Все сидели за столом, не начиная, было смешно и ужасно неприятно, а Муся, повернувшись ко мне, тихо сказала: «Вот ужас какой!» Ей, привыкшей к другой компании, эта неловкость мальчиков казалась дикой. «Ребята, принято, чтобы вы начинали», – сказала я, но они только усмехались, неловко разговаривали, и никто не решался начать. «Нина, ведь ты тоже кавалер», – проговорила Ирина. «А ведь правда». И я, улыбаясь, взяла бутылку наливки и налила себе и Мусе, моей даме. Кое-как ребята принялись наливать вина себе и своим соседкам. Я понемножку отхлебывала из рюмки густую оранжевую и прозрачную влагу и молча ела, так что Муся даже сострила на мой счет, сказав: «А Васька слушает да ест». После двух рюмок я предложила Мусе пить на соревнование, хотя ее рюмка была в два раза меньше моей. Мы перепробовали все сорта, а потом я уже ни на кого не обращала внимания, пила себе рюмка за рюмкой и следила, как на меня подействует вино, но ни головокружения, ни забытья не было. Я спокойно продолжала анализировать свои мысли, они были ясны, но вдруг я почувствовала себя совершенно развязно, все показались такими близкими и своими, застенчивость совершенно пропала.

Потом все вышли в сад. Ночь была чудесная, теплая и почти безветренная. Сладко пахло влагой, ночной холодок пробирался по веткам, небо было светлое и синее с низкими и бурыми облаками. Я стояла на волейбольной площадке, смотрела кругом, иногда начинала молоть чушь, потом убегала к девочкам или в дом. Обычное мое «я» было унижено в лице других девочек, оно кипело завистью и оскорбленной гордостью, смеялось над собой за свое глупое положение. Другое – пьяное – хотело лишь веселиться, забыть все, плюнуть на все. Вот почему необходимо мне вино, ведь без него была бы такая тоска.

<18 июня 1935>

Женское во мне говорит так громко, что заглушает все остальные чувства, я все время думаю о ребятах: о Зелениных и других. С ними мы последнее время часто встречались и на днях ездили за город. Маргоша увлекся Лялей и не отходит от нее ни на шаг. Она очень благосклонно к нему относится, и поэтому у

него прекрасное настроение, и он очень добродушен и мил. Он не может скрыть ни одного из своих чувств, и всегда очень легко сказать по его лицу, сердится он или доволен. Общее впечатление от поездки осталось очень приятное, как о дне, проведенном совсем по-иному, не в Москве, но иногда было и скучно.

В Болшеве мы взяли две лодки и поехали кататься. Маленькая речечка, какой-то приток Москвы-реки, очень живописна, небыстра и глубока, с темными заводями, поросшими кувшинками, вся в порогах и извилинах, обросшая развесистыми ивами. Мы часто въезжали в их густую тень, я и Ира сели в лодку с Юрой и Шуней, в другой были Володя, Маргоша, Муся и Ляля. Вначале было весело, перекидывались словами, смеялись и гребли. Среди травы и тростника выбрали стоянку и вылезли на берег, где ребята разделись и пошли купаться. Муся и Ляля уехали за лилиями, на берегу остались я, Ира и Володя.

Никак не могу понять, почему именно об этом времени остались у меня приятные воспоминания. Мы лежали под деревьями, закусывали и болтали, было как-то особенно просто. Потом мы трое уехали кататься, и было весело и спокойно, я чувствовала себя совершенно удовлетворенной от того, что рядом со мной сидел Володя, мы были втроем и он был весел. Чем объяснить это чувство? Или он начинает мне нравиться, или это просто женское тщеславие говорило. Через пять часов мы сдали лодки и пошли в лес, и тут мне стало очень невесело. Маргоша был с Мусей и Лялей, Ира невыносимо капризничала и ужасно противно дулась, Володя шел или с Шуней, или с девочками. С Юркой я не могла идти, потому что против него у меня стала подниматься страшная неприязнь, к тому же он все время молчал, и, понимая его, я все же злилась.

Лес был северный, но радостное чувство все же не покидало меня до тех пор, пока Володя не сказал мне одной препротивной вещи. Мы сели отдохнуть и доесть провизию, разговор как-то зашел о драке, и Володя сказал мне: «Давай со мной драться». – «Давай», – ответила я вызывающе. «Ну нет, с тобой я не согласен». – «Почему? Что за странные представления о моей силе?» – «Да, еще бы, тебе ведь скоро девятнадцать лет будет». Как мне больно и обидно стало, я покраснела и уже серьезно, но стараясь быть равнодушной, сказала: «Ну, далеко не девятнадцать». Нарочно или нечаянно он дотронулся до самого больного места в моей душе – то, что я всегда старательно отгоняла, о чем старалась не думать, он грубейшим образом кинул мне в лицо как неоспоримое и ужасное обвинение.

Я готова была заплакать от злости и оскорбления и, внутренне дрожа, быстро встала: «Пойдем, Ирина?» Этот

инцидент нарушил мое благодушное спокойствие, долго я не могла забыть насмешливого и оскорбительного тона, когда он говорил: «Тебе скоро девятнадцать лет будет». За что они оскорбляют меня на каждом шагу? Неужели я так уж противна и стара, что даже сожаления не вызываю? До чего я дошла! Сожаления прошу. На некоторое время этот невысокий широкоплечий мальчик с маленькими пристальными глазами стал мне противен.

<20 июня 1935>

Жизнь двигается толчками, неожиданными и неравномерными, как будто громадное колесо ветряной мельницы: подует ветер – и замелькают в воздухе крылья, неудержимо и губительно, неся на каждом какое-то новое событие, новое впечатление. Или вдруг наступит неожиданное затишье – и крылья бессильно повиснут в воздухе, и потекут однообразно и уныло скучные дни. Всю зиму уныло стояло колесо моей жизни, а теперь вдруг неожиданно и резко повернулось. Новая страница жизни захватила меня, новые знакомства – новые переживания.

Что это значит? Что за ужасное состояние? Так скучно и так не хочется ничего делать. Почти все время, чтоб не сказать большего, думаю о ребятах, и главным образом о… не знаю, сейчас в голове все перепуталось. Я заставляю себя думать не о том, о ком мне хочется, а о ком считаю нужным, – и теперь вовсе ничего не понимаю. Но скука начинает доходить до безумия. Отчего мне так хочется увидать его? Ведь не может быть, чтоб мне нравился Володя, этот насмешливый и злой мальчик? Но почему мне так досадно, когда я слышу, что он находится с другими девочками. Я все злюсь и на них, и на всех, настроение ужасное, и временами кажется, что больше не вытерплю, а выхода нет. Хочется куда-то уехать, потому что Москва стала для меня кошмаром.

<2 июля 1935>

Кашира

Три часа унесли меня за тридевять земель от Москвы, в небольшой живой поселок будущего города. Здесь чисто, просторно и как-то даже поэтично: белые новые домики и светлые

вымощенные тротуары, кругом лес, высокие тонкие березки. Лес очень большой, безлюдный и жутко заброшенный, сухая земля усыпана хворостом и листвой, всюду цепкие кусты и деревья, частые, низкорослые, – дуб и клен. Мне как-то невесело и странно, я мало думаю о настоящем и будущем, а все вспоминается Москва, ребята, наши встречи, поездки. Такое теплое и нежное чувство у меня к ним и к девочкам, и немного грустно, будто мы не увидимся теперь никогда. Почему они так милы мне стали, так хочется их видеть и временами что-то вроде сожаления появляется, что я уехала сегодня и не увижу их?

Они все должны сегодня прийти к Ляле. Я сейчас не вспоминаю ни о ком в отдельности, и хочется видеть их всех, и даже Юру, на которого зла ужасно и который не дает мне покоя. Я не понимаю, как это вдруг вспыхнул он к Ирине. Если б он увидал ее только теперь, а то видеть каждый день, быть вполне равнодушным, ухаживать за другой (хам!) и… вот нате вам! Но сомнений в том, что она ему нравится, нет, он ходит к ней каждый день и смотрит жадными глазами. Да нет, я не буду женщиной, если ошибусь. Мы не ошибаемся никогда в таких случаях, и все-таки хочется надеяться, что я ему нравлюсь. Я еще временами начинаю сомневаться в том, кто ему нравится, и так хочется окончательно проверить. Сегодня мне бы представился случай – я бы поговорила с ним… Ну да что толковать, это невозможно.

< 3 июля 1935 >

Кашира

Настроение немного грустное, но приятное, и все наполнено воспоминаниями. Смешно признаться, но я привязалась к нашей московской компании, первой и, должно быть, последней в моей жизни. Впервые в этом году я имела среди мальчиков таких близких хороших товарищей, и они долго не забудутся, мне кажется иногда, что это первое яркое и живое впечатление моей жизни. Сейчас все мысли наполнены ими, и каждый шаг вызывает тучу воспоминаний. Я здесь одна и заполняю свое одиночество старыми образами. Вчера вечером моросил дождь, было необыкновенно тихо и тепло. Лес, весь мокрый и пахучий, ярко зеленел кругом. Я рвала цветы, что-то приятно ныло у меня в груди, и так хотелось, чтоб здесь со мной был кто-то молодой, интересный и волнующий. Вспоминались поросшая травой и кустами, неровная болшевская дорога, темные колокольчики и

белые ромашки. Мы рвали их, Володя, широко шагая, неожиданно бросался и перебивал цветок из-под носа, а потом, смеясь, отдавал. Вспоминала, как я и Юра лазили через кусты и он был весь белый от каких-то липких мелких цветов.

Сегодня пошла за ягодами. В лесу никого, он дик и местами так густ, что почти невозможно пройти. Мне было весело, потому что я была не одна, а с маленьким фокстерьером. Чей он? Не знаю. Он очень мил, весел и общителен. Мы лазили через кусты, а потом лежали в траве и рвали ягоды. Я очень скоро потеряла всякое представление о том, где нахожусь, бродила как придется, то выходя на узкие тенистые дорожки и широкие просеки, заваленные хворостом, то углубляясь в темную и сырую чащу, где было тихо, а наверху шумел ветер. Свет падал бледными и неверными бликами, и приятна была эта дикость и одиночество. Вчера поздно вечером я пошла погулять по поселку. Слабо и нежно темнело. На пустоши играли в волейбол, и я робко подошла и смотрела, а потом пошла к гигантским шарам, где несколько девушек взвивались высоко в воздух и звонко хохотали.

<3 августа 1935>

Москва

Готовлюсь на рабфак и поэтому занимаюсь целый день. Живу одна, мама и девочки на даче, в Москве лишь я с бабушкой. Странно, как твердо и непоколебимо мое решение насчет рабфака, мне иногда самой чудно, как я без сомнений, без вопросов подошла к своей несколько взбалмошной идее. Так, как будто мне больше идти некуда, хотя открыт путь – в школу, путь легкий и веселый, но я давно отреклась от него. Моему самолюбию льстит такая решимость и твердость, ведь заниматься сейчас очень трудно – вокруг очень много искушений, и они так сильны! Дача, поэзия природы, леса и поля, а тут четыре стены, душная Москва и сухие учебники. Странно мне теперь все в себе – мое спокойствие, с которым я занимаюсь, моя твердость и весь внутренний мир. Он перестраивается, и хотя я еще не понимаю, что созидается во мне, но знаю, что это новое и поэтому интересное.

Сейчас во мне восстановилось некоторое равновесие, нет болезненных припадков хандры, нет тоски и отчаяния. Я теперь уже не покончу жизнь самоубийством, и не потому, что она стала легче, нет, она все такая же, и даже взгляды мои те же, но все это

касается меня как-то поверхностней, как будто та часть души, которая болела вечно, уже отпала. Я успокаиваюсь, но вместе с тем и черствею. Теперь уже природа не вызывает во мне такого чувства, что раньше, если иногда утром и высунешься в окно, с наслаждением дыша свежестью утра и смотря на слабо голубеющее ясное небо, но душа уже не рвется, как прежде, навстречу этому небу, не стремится слиться с кружевным узором облаков и улететь вместе с ветром в прозрачную синюю даль.

Мне немного жаль, что я не могу, как раньше, жить каждым клочком травы, каждым порывом ветра. Это или совсем прошло, или только задержано усилием воли, она, должно быть, держит меня крепко и не дает распускать себя. А что будет потом, я не знаю. Нет, я всегда буду любить природу, но сейчас я занимаюсь, занимаюсь много, без похвалы. И хоть страшно некогда мне, остается место и время на странные, волнующие движения в душе, похожие на предчувствие, ожидание или просто желание чего-то. Вечерами, засыпая, я отдаюсь взбалмошным мечтам о странных и глупых вещах, но мечтаю, не веря, а так, рисую перед собой чью-то чужую жизнь, невозможную для меня.

А о рабфаке не думаю почти совсем, не потому, что неинтересно, а просто совершенно не представляю, как там и что. Экзамены так невероятно новы, что даже не знаю, пугаться ли. Я начинаю освобождаться от своей застенчивости, становлюсь естественней, иногда вдруг нападет такая беспричинная радость, как будто я лучше всех на свете, красивей и милей. И знаешь, что нет, а все-таки с таким наслаждением закинешь голову и, смотря на всех весело и почти заносчиво, идешь и улыбаешься всем, чувствуя такую силу в теле и сердце, так все живет там, так хочет борьбы и жизни.

<25 августа 1935>

Прошло лето, как проходит все на свете, и опять потянется холодная, суровая зимняя жизнь. Но какая это будет жизнь? Я не в школе и, кажется, не на рабфаке. Так где же я? Позавчера сдала последний экзамен, и стало скучно от однообразия свободного времени, потому что не стало цели. А только несколько дней назад жила тысячью различных чувств и ощущений – новая обстановка, новые люди… И радостно было, идя в новую жизнь, и чуть жила в душе грусть по школе, как какое-то сожаление.

Полиграфический – убогий и скверный институтишко: узкие крутые лестницы, низкие коридоры и неприглядно бедные и неуютные аудитории. На письменных, кроме трех девушек,

сидящих рядом со мной, я не сталкивалась с окружающими и еще представляла их лучше, чем на самом деле. Двадцать третьего был устный опрос, коридоры набились сдающими, в их говоре, смехе было все так пошло, так резало слух, так казалось глупым. Ребята (как и все фабричные и даже не фабричные на свете) двусмысленно посмеивались, двусмысленно переговаривались, и девушки жались от них к другой стене. В первые минуты я почувствовала себя страшно одинокой, и стало охватывать чувство застенчивости и неловкости, к счастью, на меня никто не обращал внимания. Русский я сдала быстро и побежала вниз в другую аудиторию, где сдавали математику.

<26 августа 1935>

Глупо. Ужасно глупо!.. Я иду в школу. А кто это полмесяца назад говорил о своем твердом решении? Кто думал, что со школой все кончено? Но разве я виновата? Полиграфический переводят в Лефортово, а ездить туда было бы безумием. Итак, я опять в школе, однако меня могут и не принять туда еще. Директор мне почти отказал, он как-то замялся, говорил о том, что больше нет мест и что лучше бы мне идти в сорок вторую школу. Завтра пойду к И. Ю., попрошу ее о помощи, потом опять в школу, а потом, если примут, радовать своих. Многие, узнав о моем возвращении в школу, подумают, что я не выдержала, сдалась. Нет, я никогда не сдаюсь, а только отступаю.

Я сейчас себя чувствую среди всех своих знакомых такой неразвитой и такой дурой, что мучаюсь этим беспрестанно. Что за странное заблуждение у всех о моих способностях? Все думают, что очень умна, и этим делают мне еще больнее. А теперь главное! Клянусь всем дорогим в моей жизни, всеми теми муками, которые пришлось испытать мне, что никогда не допущу своего ребенка (если он будет) до тех условий, в которых очутилась сама. Самое ужасное для детей – это попасть в ненормальную обстановку, и тот ребенок будет хорош, который строго, нормально и спокойно воспитывался.

<30 августа 1935>

Вот новости! Мама сегодня сказала, что просматривала мой дневник, так как боялась найти там что-нибудь контрреволюционное. Было бы очень мило, если б она наткнулась на записи о братьях Зелениных и других. Вообще, это мне не

очень нравится, хотя я не рассердилась, я знаю, что делала она это только в моих интересах.

С рабфака я ушла… Я вдруг решила, что там слишком мало дадут мне общего образования, а выйти недоучкой – значит противоречить себе и своим целям. Я решила пойти в школу, но с условием, что в январе перейду на рабфак при МГУ, я теперь хотела идти туда, и это главным образом было причиной того, что я полностью порвала с Полиграфическим. Временами я ругаю себя за это, но исправить ничего нельзя, теперь надо думать о другом. В тридцать пятую школу меня не приняли. Это можно сказать определенно, хотя директор (проныра противная) кормит меня надеждами. Да я не верю и теперь определюсь завтра же в сорок пятую новую школу рядом с нами. Чем она должна быть хуже остальных? Ведь была же и тридцать пятая новая, и я училась в ней была новой вторая школа на Усачевке, а теперь стала образцовой.

Итак, я в сорок пятой. Не так дурно, и мне скорей надо определиться, чтоб не искушать себя при виде Муси, Ирины и прочих. Моя новая школа большая, значит, там будет много народу и столько нового. А в январе я все-таки уйду. Как-то на днях я зашла в нашу тридцать пятую, там была И. Ю., которая стала агитировать меня на курсы по подготовке в Педагогический институт. Ах, педагоги! Никак не удержатся от агитки! Педагогов сейчас нет, и она решила воспользоваться моим безвыходным положением. Ну нет, дудки! Я не хочу закабалять себя в учителишки, с этой знаменитой профессией привел бог недавно познакомиться.

У мамы происходят испытания в организующуюся в этом году семилетку. Она, бедная, без помощников никак не может справиться и взяла в помощь меня и Ирину. Было немножко смешно и странно указывать и объяснять совершенно взрослым людям и старикам, но потом мы привыкли и стали чувствовать себя прекрасно. Эти чужие и враждебные рабочие становились такими покорными и робкими детьми, очутившись в школе, у многих, в особенности у стариков и женщин, дрожали от волнения руки. Они краснели, запинались и как-то дружелюбно и ласково обращались к нам.

<31 августа 1935>

Я довольна отчасти, что пришлось столько беспокоиться этим летом, я как-то выросла, перестала бояться и привыкла к неприятностям, только часто стали появляться тройная складка

на лбу и выражение какого-то сосредоточенного неразрешимого вопроса. Я осталась без места и жалею, что взяла документы из Полиграфического, с рабфака. Ну да лишь бы устроиться, а там сожаление пройдет! Обходила все школы: мест нигде нет. Была и в тридцать пятой, и И. Ю. сделала последнюю попытку уговорить директора. Он, маленький и противный, слегка усмехаясь, сдержанно и коротко уверял ее, что теперь ничего нельзя сделать, а она, эта милая дорогая И. Ю., с такой ласковой просьбой говорила ему обо мне, объясняла, что нельзя оставить меня, такую способную ученицу, за бортом, что можно выбросить Димку, который не держал испытаний. Ее просящая улыбка и подвижная фигура – все так умоляло, а он холодно обрезал ее доводы, и мне было гадко и стыдно, что из-за меня она просит и из-за меня ей отказывают.

Из школы я ушла с неприятным чувством и завернула в шестую, где сейчас учится Володя и где когда-то училась я. Теперь выбирать не приходится, хочу или не хочу учиться с Володей и во второй смене – лишь бы приняли. Но завуч была на собрании, и поговорить было не с кем, так и ушла ни с чем. В этом году появилась серьезная жизнь, поэтому все глупые мысли о мальчиках, о своей наружности, о наших отношениях невольно отошли назад, и раздвоение стало меньше, как-то мало теперь думаю о настоящей жизненной дороге. Я все эти годы бьюсь в заколдованном круге между серьезной жизнью, учебой, наукой и женскими мечтами, желаниями, мальчиками.

И то и другое сильно во мне и одинаково, поэтому решать непосредственно чувством нельзя, надо, чтобы вмешалась голова и определила более важное и нужное мне. Она долго колебалась, но теперь я знаю, что надо бросить легкомыслие и всецело уйти в науку. Но как облегчить этот уход? Как сделать его легким и спокойным? Ведь эта жизнь глубоко в меня вросла и слишком волнует, чтоб так просто от нее можно было отделаться. Надо ею присытиться, чтоб потом забыть, а я полна неудовлетворенного раздражения, колющего мое самолюбие. Бросить эту жизнь – значит сдаться, сказать себе: «Я не смогла быть интересной, не смогла увлечь ни одного мальчика, не смогла добиться своего». Но я не хочу сдаваться! Ведь нужно лишь самой увериться, что я кому-то нравлюсь, и тогда успокоиться, потеряв всякий интерес к фокстротам, мальчикам и бессмысленным разговорам.

< 3 сентября 1935 >

Что делается со мной? Так ужасно и так противно, ощущение

такое, будто скоро должно случиться что-то страшное, неизвестное, и я занимаюсь с постоянным замиранием в душе – как-то там неспокойно и гадко. Я учусь во второй школе на Усачевке, но почему-то я недовольна, хотя восьмой класс хорош по составу, все способные и очень развитые. Я чувствую себя такой ограниченной и неумной, так страшно учиться среди них, и хочется, стыдно сказать, назад в тридцать пятую школу. Вчера Ирина сказала, что директор соблаговолил принять меня назад в школу, – и теперь во мне начался ужасный разлад. Куда идти? Я не помню еще подобного мучительного ощущения и этих ужасных сомнений. Если б перейти было невозможно, я бы успокоилась, а то мама сказала: «Как хочешь. Может быть, перейдешь?»

Я теперь вдруг почувствовала, что потеряла всю свою самостоятельность, твердость и такой беспомощной маленькой девочкой стала. Все эти дни скучаю и по Мусе, и по Ирине, и по всем. Новые сотоварищи чужие, непонятные, в школе я держу себя как-то настороженно и неспокойно, как во враждебном лагере. И все эти сомнения, эти вопросы! Как глубоко врезалась в меня старая жизнь и как, оказывается, я люблю ее! Все мои кричащие слова о науке, о серьезной жизни оказались пустыми, я та же пустенькая и глупая девушка, с отвращением думающая о занятиях и в то же время ищущая каких-то идеалов в жизни, мечтающая и тщеславная. Мне часто хочется сказать про себя, что я Обломов.

Стыдно за слабость, и все же я не могу спокойно обречь себя на жизнь среди этих чужих людей. Боже мой! Что же делать? Я запуталась в жизни, только она началась. Но с какой стати быть там, где не нравится, – в этом и заключается умение жить, чтобы выбирать лучшее. Да горе-то в том, что я не знаю, где мое лучшее, не знаю, куда мне идти! Ничего я не знаю. Странно, что такие настроения женщины выливают обычно в слезы, а я не могу плакать, не могу страдать по-женски, только что-то все бурлит под ложечкой.

Я поняла теперь, что со всем своим страстным желанием познания, с упорной работой (нельзя ведь отрицать, что я много сделала для своего развития) оказалась теперь самой посредственностью и неразвитой, чтоб не сказать большего. Кто бы знал, как это мучает меня и как мне всегда хочется быть умнейшей и первой! Но я чувствую, что поздно спохватилась теперь за ум и что читать бесполезно, потому прочитанное проваливается, как в яму, я не помню ничего. Таких людей называют обычно неспособными, но мне до сих пор еще больно согласиться с этим, так раньше я не могла свыкнуться со своим уродством. А ведь я всю жизнь думала лишь о том, чтобы много

знать и быть умной. Есть люди, которые не задумываются над этим и не стремятся, а потом блещут умом. В жизни моей все устроено так, чтобы противиться моим желаниям и стремлениям.

<6 сентября 1935> Сегодня первый выходной день этого учебного года. Я в хорошем настроении и спокойна, потому что учусь в своей старой школе и кончились мои сомнения и муки, я пристала после бурного метания «без руля и без ветрил» к тихой пристани. Удивительно, как стало все хорошо, как свободно я держала себя вчера, кончилось то неприятное напряженное состояние, которое я испытывала во второй школе. Теперь остается самое страшное – взять из второй школы документы. А вдруг не дадут? Это еще ничего, если только не заявят в тридцать пятую. Странно, что эти сумасбродные проделки сходили мне пока с рук, папа очень недоволен, ругает меня трусихой, но мне все равно. Мне кажется, что прошлогодний ужас перед школой у меня не возобновится и что я благополучно проучусь этот год. Я, конечно, начинаю приобретать способность спокойно верить в свою ограниченность и бездарность, но отказаться от желания учиться не могу – это значило бы потерять последнюю цель. Очень возможно, что путем упорных трудов мне удастся выбиться из толпы, но больше, чем ученой клячей, я не стану, нет у меня этой жилки, что называют талантом.

<12 сентября 1935>

Ой, как бегут дни! Прошло полмесяца, я занимаюсь неохотно, но все еще тешу себя надеждой увлечься наукой. Свыклась с мыслью, что я Обломов? Нет, разумеется, не свыклась, я никогда окончательно не привыкну к ней, но теперь ясно знаю, что это правда. В общем, все погано, мысли поганые, никак не могу добиться того, чего хочу, и хоть есть простой выход – просто бросить добиваться, но это, кажется, не в моей натуре. Настроение, однако, неважное, никак не найду чего-то настоящего в жизни, что должна делать, как и зачем.

А вчера к Ирине пришла Муся, а с нею девятиклассники Николай, Юрий и Вадим. С последним я еще не была знакома, но спокойно чувствовала себя все время, и лишь тогда, когда они вошли в коридор, у меня сильно забилось сердце. Я внимательно посмотрела на Вадима, этого странного человека маленького роста, которого все боялись и по которому сходили с ума девочки. С первого же момента он поставил меня в неловкое положение и восстановил против себя, как-то странно задержавшись и не поздоровавшись со мной, так что мне первой

пришлось сделать движение рукой. Это меня взбесило, и я готова была уже не любить эту маленькую и плотную фигурку в черном костюме.

Вадим внес в наши отношения и разговор какое-то напряжение и стесненность, начав с того, что едко и скорее не словами, а тоном и улыбкой сострил насчет Ирины и насчет других, при этом посматривая хитрыми и жгучими точками глаз на Мусю и смеясь. Его присутствие заставило меня окончательно забраться в свою скорлупу. Он как-то снисходительно и небрежно обращался со всеми и лишь исключительной симпатией и лаской дарил Мусю. Она в его присутствии тоже изменилась, стала более взрослой, более кокетливой, была бледна, и так эффектно блестели ее черные, с мохнатыми ресницами глаза. Странно, что даже товарищи побаивались и стеснялись его и долго не хотели идти танцевать в его присутствии.

Мусе Вадим, должно быть, нравится, но у него тогда было скверное настроение, как я потом узнала, но еще до этого догадывалась по особой резкости движений, язвительной злой улыбке и хищному, недоброму выражению глаз. Он так засмеялся, когда Коля начал танцевать с Мусей, что тот сразу же бросил ее, сев на диван, такой смущенный и красный, как маленький мальчик, даже стало жалко его. Вадиму не сиделось, он то переходил с места на место, то начал показывать фокус, передав потом карты Ирине. Она, противно кокетничая, начала что-то раскладывать, а он не дождался конца и резко вскочил. Потом подсел ко мне, начал играть в «очко», но и тут еле высидел кон и, бросив карты, ушел.

А я все больше злилась на него и чувствовала себя глупо пригвожденной к месту без дела и разговоров, но так было противно от свого бездействия и молчания, от мысли, что над тобой могут посмеяться, сразу же захотелось уйти домой. Вадим вскоре ушел с Мусей в другую комнату и весь вечер проговорил с ней, а мы, немного поскучав, принялись играть в карты и скоро развеселились. Да, о Вадиме я слышала столько дурного, что представляла его себе просто злодеем, и немного удивилась, что он может дружески беседовать с Мусей. Вообще, теперь Муся для меня не просто хорошенькая девочка, а опытная девушка, уплывшая далеко от меня в области познания любви и флирта.

<23 сентября 1935>

Сейчас красят мою комнату и как-то залили дневник. Ужасно досадно – он такой замазюканный и неразбочивый стал, что

пришлось кое-что обводить. Ну ладно. Дни бегут, словно тучи пред грозой, с такой невероятной силой, что я не успеваю никак прийти в себя и поэтому, возможно, не хандрю. Мои мысли, мои стремления сосредоточены на одном: учиться, учиться и учиться. Стать умной, а это так трудно (чтоб не сказать больше). Я научилась спокойно относиться к своим недостаткам, значит, научилась не покоряться им, потому что злиться и беситься – это значит признавать невозможность борьбы. А я борюсь каждый день, каждую минуту, думаю только об одном, и мне странно, как мысль может так концентрироваться, не было ни одного шага, ни одного желания, не разбудившего эту мысль.

Я знал одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть.
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.

Она стала моим кошмаром – стать умной! Когда я слушаю объяснения на уроках, сквозь внимательно настороженный для восприятия мозг, не переставая, сквозит и сверлит одно и то же: «Надо знать это отлично, надо пройти это углубленно». Дома я ложусь и просыпаюсь с одним: «Сегодня прочту Покровского, начну заниматься по-немецки». Плохо то, что все это мысли. Моя ли вина в том? Не знаю. Мне не хватает времени.

Ведь не могу же я сократить свой сон до шести часов, это значило бы стать больной. Боже мой! Куда ж девался мой ум, моя память? Ведь недаром же считали меня способной? Да, все это было, но теперь ушло, колесо фортуны повернулось, нет, даже хуже, колесо фортуны скатилось вниз. Возможно, оно поднимется наверх, но память-то не вернется, этого не бывает, и кто бы знал, как мне ужасно это осознание. Я временами начинаю осуждать маму за то, что она не обратила внимания на мое болезненное состояние в прошлые годы и не попыталась спасти меня. Я победила свою тоску, но с каким ущербом! Говорят, после острой истерии бывает частенько ослабление памяти, и очень возможно, что я была больна именно этим, но… теперь не вернешь. Надо добиваться другим, план у меня готов, он почти старый, так хорошо мне знакомый. Главное – это максимальное использование времени и разумная интенсивная работа…

За эти школьные три года я должна развиться, должна добиться того, чтобы по окончании десятилетки сказать себе с удовлетворением: «Да, вот теперь ты можешь считаться умной и развитой». Ужасно! И никак не изменишь! Больно, что никто не верит в то, что так болезненно я чувствую сама, уверена, что

многие думают, что я напрашиваюсь на комплимент. И как всегда я надеюсь, что все изменится, что память придет, что я ничего-ничего не буду забывать. Я все время думаю о том, как устроить свою жизнь, чтобы приятное сочеталось в ней с необходимым и чтоб не возвращались прошлогодние настроения.

Я решила заниматься с Мусей (и с Ириной) вдвоем, правда, это займет немного больше времени, но зато гораздо лучше я чувствую себя потом: мне необходимо научиться говорить, а одной это нельзя сделать, так что здесь есть прямая выгода. Все остальное время буду тратить на серьезную учебу в расширенном объеме. Печально, что я никак не расстанусь с противным словом «буду», вот уж месяц почти я все собираюсь… Обломов… Как видно, я научилась философствовать, а «философствовать – это значит учиться умирать», сказал кто-то. Я понимаю это несколько иначе, философствовать – это значит учиться жить. Мне некогда теперь думать о ребятах, о наружности, об успехах, это будет тогда, когда придет ум. Даже на переменах я пытаюсь читать, но боюсь переутомиться: может получиться обратное действие.

Мне сейчас никто не нравится, никто даже особенно не интересует, и женщина во мне сидит спокойно, хотя конечно, она проявляет себя, но не мучает и не мешает ученью. Часто на уроках я чуть оборачиваюсь и смотрю в другой конец класса на так называемую камчатку, где сидят Левка и Зырик, который частенько на меня поглядывает, и до того смешно мне становится, когда я встречаюсь вдруг с его большими карими глазами, широко раскрытыми. Я усмехаюсь и отворачиваюсь, а потом потихоньку, как бы невзначай, скользну взглядом по далекой парте и сержусь, если смешное длинное лицо не повернуто в мою сторону. Единственный человек, который может понравиться мне и к которому чувствую я теплую симпатию, – это Левка. Он еще больше вырос, похудел, но все тот же у него удалой и добродушно хитрый вид и те же сияющие красивые глаза. Девочки говорят, что он подурнел, а мне кажется, что нет – все такой же милый.

<3 октября 1935>

Двадцать девятого у Ирины была вечеринка. Уже потому, что говорю я о ней лишь четыре дня спустя, видно, какое незначительное впечатление она оставила. Мне было скучно, я чувствовала себя ужасно чужой и смешной, боялась ребят, жалась по уголкам и все ждала с их стороны какой-нибудь гадкой выходки. Вадим почему-то соблаговолил предложить мне

танцевать, я согласилась и, как всегда, очень неловко и немного наивно утащила его в другую комнату. С ним я себя чувствовала наиболее просто и свободно, хоть и знала, что Вадим опасный человек. Он одного со мной роста, и, танцуя, я чувствовала его лицо на уровне своего и иногда шершавую щеку. Он очень мускулистый и сильный, и я ощущала, как под тонкой рубашкой ходили на его руке и плече мускулы. Вадим очень интересен, но глубоко несимпатичен мне как человек. Интересно, что перетянет? Вот вздор! Я никогда не буду в числе его многочисленных воздыхательниц. Как же!

Так вот, это был единственный раз, когда я танцевала на вечере, остальное время я сидела в качалке и злая как черт смотрела кругом. Вадим и Муся «беседовали», усевшись на диване и потушив свет, Колька целовался с Ниной, кто-то танцевал. Я отказалась от второй вечеринки, нет, я положительно не могу быть в таком положении, в котором нахожусь, это меня оскорбляет. Интересно проанализировать мое отношение к Вадиму: он красив, этот Печорин, но такого легкомысленного и пустого человека я еще не встречала; все интересы в жизни сосредоточены у него на интригах, девочках и вечеринках, он даже умным мне не показался, и я глубоко довольна, что он не нравится мне.

<6 октября 1935>

Чудесный вечер, темный и ясный. Где-то за домами кутается в облаках голубая луна, ветер, необыкновенно мягкий и нежный, упорно дует с юга и приносит сухой и душистый осенний запах. Он всегда шепчет мне о чем-то хорошем, красивом и далеком, навевая тревожную грусть, и я часами могла бы идти ему навстречу, слушая рассказ о счастье, о лесах и далях. Ветер так много приносит с собой из каких-то неведомых далеких краев, полных цветов, травы, деревьев. Есть своеобразная прелесть в природе осенью. Никогда не бывает так суха и шершава трава, так красивы и пестры краски леса. Дует ветер, и тревога слабо нарастает. Почему-то всегда чувствуешь себя одинокой и хочется любви и сентиментальной нежности. И все-таки необыкновенно хорошо…

<16 октября 1935>

В Абиссинии война. Война! Ужасно. Читаешь о жертвах, о

нападениях, о рвущейся шрапнели и сбрасываемых бомбах, а сама никак не можешь осознать, что где-то там далеко, в удушье Африки, началась кровавая бойня. Как хорошо знаешь из книг, что такое война, сколько раз читала, содрогаясь, о вспоротых животах и человеческих обрубках без рук и без ног, но, читая сухие донесения, не представляешь себе, что теперь наяву рвутся ноги, гибнут люди. А кругом все так оскорбляюще равнодушно и спокойно. Так же люди учатся, работают, так же кипят в своих мелких страстишках перед лицом неумолимой смерти.

Я кручусь между двух пристаней: к одной тянет рассудок, к другой – все остальное. Эти пристани – наука и флирт. Никто не понимает меня, да и никто бы не понял, если б я все рассказала. Всяк на свой аршин меряет! А решить что-нибудь надо: или туда, или сюда. Ах, недаром я хотела уйти из школы. Здесь такая нерабочая обстановка, и так она затягивает, так мешает. Муся и Ирина ни о чем не думают, кроме мальчиков, я нет-нет да и начну за ними тянуться. А где уж мне! Приду к ним, сижу букой и грею лишь завистливую гадкую мысль: «Они умнее меня, ничего не делают, а умнее. Почему я такая дура?» Какое же веселье полезет в голову с такими мыслями? Я знаю, что тогда только воспряну, стану веселой и беззаботной, когда сброшу с души безобразную ношу. Я дура! Это ужасней от того, что раньше все считали меня очень умной, теперь же мне никто уже не говорит этого – значит, все думают иначе.

Несколько месяцев назад я иногда сомневалась, говорила себе: «Ты, должно быть, не такая уж дура, а то тебя вытолкали бы из этой компании». И надежда, прячась по уголкам, золотила горькую темь души мягким светом.

Теперь упорхнула и она. Что ж, смириться? Я, должно быть, дойду и до этого. Как-то вдруг, ни с того ни с сего, я поняла, что я за бортом. Иллюзии у девочек разрушились, я не подхожу к их компании ни по уму, ни по деньгам, ни по наружности, и меня выбросили. Я не то чтоб любила эту легкую жизнь, но бесконечно злит меня то, что я не гожусь туда, что даже в этой пустой среде я на целую голову ниже всех окружающих, ниже тех, кого временами презираю.

< 23 октября 1935 >

У меня несколько меняется образ жизни. Заниматься хочу мало, так как вполне достаточно иметь по всем предметам «хорошо», а на «отлично» успею перейти в десятом, выпускном, классе. В школе преподают много ненужных подробностей,

которые быстро забываются и которые приходится брать зубрежкой. На это тратится все время. Боже мой! Как быстро идут дни и как ничего не успеваю.

Я немного отошла от Муси и Ирины из-за ребят, мне всегда была чужда эта компания, а теперь в особенности, потому что Вадим очень зол на меня. Гадина какая! Я незаметно для себя изо дня на день все больше восстанавливаю себя против него, меня так бесит его самонадеянность, эгоизм и себялюбие. По его мнению, все люди созданы для того, чтоб только ублажать его причуды и служить его целям. Еще на вечеринке у Ирины Вадим предлагал выпить за его дела и чокался со всеми, я отчасти знала про эти дела и отказалась, а он, помню, спокойно сказал: «Не хочешь пить за мои дела? Как хочешь». Но Мусе он шепнул на ухо: «Ну, этого я никогда не прощу». Странно. Тихая, робкая девочка, всех побаивающаяся и сторонившаяся, вдруг вызвала в Вадиме резкую антипатию.

Мне кажется, он считает меня более умной и опасной, чем я есть на самом деле, а я временами начинаю ненавидеть его, не рассуждая, хорошо это или дурно, даже ищу случая задеть его. У меня странно путается желание злить его и все же наладить с ним отношения, я специально для Вадима ухожу с площадки, как только он начинает играть, на переменках мельком взгляну на него, а иногда, уловив где-то близко его круглые и недобрые глаза, думаю: «Как он относится ко мне? Что думает обо мне эта странная личность?» А эта странная личность все же чертовски красива! Не знаю, чем кончится это, ведь Вадим из тех, которые ничего не забывают. Мне как-то Муся сказала: «Если б Вадим имел возможность, он бы здорово тебе насолил». Мне странно сознавать, что я имею в нем серьезного врага, я ведь всегда имела со всеми если не дружественные, то дипломатические отношения.

Сейчас в нашем классе составилась команда из совершенно иной компании, и я влилась в нее, девочки попроще наших, но, кажется, и подоступнее. Они всегда оживленно бегают на переменках или смеются, охотно принимают приставания ребят и как-то необыкновенно быстро с ними знакомятся, что для меня совершенно непонятно. Они знакомы с ребятами девятых и десятых классов, и мне в них нравится то, что они премиленькие девочки, но не барышни, правда, не нравится уж слишком вольное обращение их с мальчиками. Мне весело в круговороте дней и часов, не дающих одуматься, и все же временами приходит вопрос: «А когда читать? Когда учиться?» Не знаю.

< 8 ноября 1935 >

Праздник прошел. Великий революционный праздник, а в душе какая-то глухая злость, неудовлетворенность и вовсе не празднично. Немного скучно, немного грустно и ужасно не хочется заниматься. Удивительное дело! С удовольствием читаю научные серьезные книги, с интересом просматриваю газеты, но все, лишь немного отдающее школой, муштрой, обязательным порядком, вызывает отвращение, как бы интересно ни было. На днях в школе произошел скандал. Весь восьмой класс сбежал с контрольной по литературе. Осталась одна Лиза К., она пошла к директору, рассказала обо всем, и мы ей за это объявили бойкот. На следующий день нас ругали страшно, открыли контрреволюцию и искали зачинщиков. Бедного Льва дважды вызывали к директору, и он оттуда возвращался с красными глазами. Дело доходит чуть ли не до исключения из школы, и мне вдруг этого захотелось, потому что… Куда он пойдет? Наверно, его попытаются устроить на рабфак, так и я с ним за компанию. В общем, это почти совершенный вздор, один процент против девяноста девяти.

Мне очень хочется больше жизни, больше движений, а мне даже некуда пойти вечером. Муся с Вадимом и прочими меня не признают, у Иры кто-то там есть, да и у меня, кстати, еще есть кое-какие дела на сегодня и, кроме того, уроки. Уроки! Куда ни глянь, все в них упрется, я, кажется, за всю вторую четверть совсем съеду с «отлично». Надо сознаться, что все мои глупые настроения, недовольство и метания от неудовлетворенного чувства любви. Надо бы полюбить кого-то, а в школе некого, не Вадима же? Один интересный мальчик в школе, да и тот мерзавец.

< 17 ноября 1935 >

Я раздевалась и, сдавая пальто, думала, как бы пройти так, чтобы взглянуть мельком в зеркало на себя и посмотреть, действительно ли я уж такая мужиковатая или же ничего. Моя дурная фигура, как раньше – мое дурное лицо, не дает мне покоя, я и ходить стала как-то стесненно, держа руки полусогнутыми на животе, как институ-точка, боюсь сделать лишнее движение, чтоб не показаться смешной. Взяв номерок, я пошла вглубь вестибюля, просторного и светлого. Диспансер сиял чистотой и красотой, вверх тянулась широкая белая лестница, симметрично бежали от нее, закругляясь вверх, два марша лестниц и вели на второй этаж. Я прошла ее и поднялась по другой, более скромной, задней.

На третьем этаже меня оглушил гам полувзрослых басистых

голосов, и я, неожиданно испугавшись, остановилась на лестнице и, задрав голову, смотрела на площадку. К перилам подходил юноша, высокий, здоровый, и смотрел на меня сверху. Я вдруг постыдно испугалась и убежала, а надо ведь было пойти туда во что бы то ни стало, иначе моя память никогда не вылечится. Но опять проходить профотбор… так не хочется. Мне казалось, что там одни мальчики, и было страшно. Так я и не пошла и, походив по диспансеру в раздумье, ушла домой.

А дома – скандал. Мама и вообще все взрослые никак не могут понять нас. Они требуют, чтоб мы уделяли внимание дому, убирались, наводили чистоту, готовили, – им легко говорить, когда, кроме готовки, у них нет ничего. Не все ли равно маме, идти на работу или остаться дома хозяйничать: и там, и там она одинаково теряет время. А мне? Мне каждая минута дорога. Я целый день ищу чего-то нового и полезного, и в школе, и дома одна мысль – познавать. И вдруг надо чистить картошку, мыть посуду – значит, в течение часа или двух засыпать в тупом бездумье и твердить себе каждую минуту: «А время идет, и ты теряешь его, это золотое время».

Я часто задаю себе вопрос, правильно это или нет, должна ли я бросить всякую физическую работу и отдаться науке, перестать обращать внимание на укоры мамы, на то, что она, усталая и постаревшая, начинает варить обед, а я сижу и читаю. Или наоборот – во всем помогать ей, быть прилежной дочерью и женщиной, зато навек остаться глупой посредственностью. Нет, ни за что! Я должна доказать, что женщина не глупей мужчины, что она теперь тоже станет человеком, будет работать и будет творить. Я знаю, что думают мужчины, как высоко они ставят себя и как их оскорбляет, если женщина победит их в чем-то. И вот доказать им, что мы победим, что у нас головы не только мальчиками и тряпками забиты, хочется. Эх, если б мне попасть в другую компанию, в другую обстановку, к серьезным, умным людям!

А я кручусь среди пустеньких девочек и сама невольно думаю и говорю о Вадиме и других мальчиках. Вадим! Тот, кто не знает его, кто никогда не говорил с ним, уверяет, что он очень противный и вовсе не красивый, что бросается в глаза что-то животное в его широких скулах, в маленькой и хорошо развитой фигуре. Так говорила и я, так говорили Муся с Ирой в шестом классе. А теперь? Муся почти что влюблена в него, Ирина уже влюблена, а я если и не симпатизирую ему, то уж, без сомнения, признаю его красоту. Да, он красив, нет человека, лицо которого так ярко характеризовало бы личность, а глаза, круглые и широко расставленные, недобро сощуренные, горят таким дьявольским

огнем, что становится жутковато.

Недаром говорят: «Все течет, все изменяется». Не так давно, лишь в прошлом году, каждый из нас занимал совершенно иные роли, первой в учении была я, а Ирина и в особенности Муся прекрасно ко мне относились. Я пользовалась авторитетом у них, и каждая старалась сесть на уроке со мной, на перемене ходить со мною.

Ирина пользовалась большим успехом у мальчиков, целыми уроками вела остроумную переписку с ними и крутила Левкой, так что Мусе даже досадно становилось.

Муся уже тогда начинала подавать надежды, но в компании с ней не считались и терпели лишь как подругу Ляли и как удобного почтальона. Муся сама рассказывала мне, как она боялась ребят и все вечера просиживала в уголке, молча и пугливо поглядывая на всех. Она терялась в их присутствии, одно время ее очень не любили, а Вадим частенько подсмеивался. И вот несколько месяцев спустя он приезжает из Балаклавы и вместо робкой девочки встречает очаровательную маленькую женщину с лукавыми глазами, веселенькую и умненькую. Перемена была поразительна, так могут меняться только некоторые девочки. Я частенько смотрю на нее и думаю – откуда что взялось? Почему раньше не было этих красивых веерообразных ресниц, этого «бесенка» в глазах (как говорит Вадим)? Муся стала независимой, и я вдруг почувствовала, что она совершенно перестала во мне нуждаться. Теперь мне приходилось подходить к ней, подделываясь под нее. Ух как меня это бесит!

Самое незавидное положение у Ирины – ее совершенно перестали замечать ребята: для Вадима она не существует, а Коля и Юра прямо-таки ненавидят ее. Меня Вадим не любит, значит, я для него не пустой звук, а что-то значу, и чтоб не стать ничем, мне временами так хочется злить его, играя на его самолюбии. Но как мне бывает стыдно, когда мы, двое больших и умных, подобострастно склоняемся перед маленьким мотыльком и слушаем со вниманием ее болтовню, кажется, все догадываются об этом и смеются. Так стыдно становится и хочется бросить ее, чтоб не быть смешной.

<20 ноября 1935>

Я ожидала психоневропатолога. Хорошенькая, уютная комнатка почти пуста, темные стены, на которых отдыхает глаз, удобные плетеные кресла. Я села около стола и, откинувшись на

спинку и заложив нога за ногу, почувствовала вдруг какое-то необыкновенно успокоительное и приятное чувство, будто это была не чужая приемная, а давно знакомая и любимая комната. Вставать не хотелось, когда подошла моя очередь, я робко вошла в кабинет. За столом сидел большущий черный врач, и уже то, что он был мужчина, такой страшный и быкообразный, вызвало у меня неприязнь, недоверие и смущение. Я села и подозрительно, исподлобья глянула на него. Он смотрел внимательно, почти пристально большими бычьими глазами.

Я вдруг сразу решила, что он ничего не знает и что я не буду верить ни одному его слову, и все время, пока он спрашивал о чем-то, а потом начал проделывать разные манипуляции, я ждала только конца приема. Он поставил меня, взял за голову и посмотрел в глаза: «У вас с рождения такой глаз?» – «Да», – ответила я равнодушно. Разумеется, как я и думала, он ничего путного не сказал, и я ушла неудовлетворенная, злая и подавленная. «Так он сразу заметил глаза… Значит, так заметно? Конечно, заметно. Ты почему-то выдумала, что все прошло». Так я опять уродка?! Да, опять. И вот я сижу перед зеркалом, смотрю на себя… и плачу. А я давно не плакала, как-то раньше не могла выдавить слезы, только по-прежнему знакомо и ужасно давило внутри.

Я ни перед чем не сдавалась, ведь можно было найти выход: я поступала на рабфак – и, не поступив, не отчаивалась, потеряла память – и все-таки надеялась на возврат ее, но это неисправимо. Это значит – опять целые дни муки, ужаса и затворничества. Я все время была в счастливом заблуждении, как будто надо радоваться, что хоть немножко пожила без кошмара. Ничуть, только стыдно за себя. Уродство – это самое ужасное в жизни, а на лице, а на глазах! Проклятье! Рыдать в бессильной злобе, рвать волосы на себе и знать, что ничего никогда не сможешь изменить. От этого сходят с ума – быть ни за что заклейменной незаживающим клеймом на всю жизнь. И нет вины, нет виноватых, и поднимается злоба на саму себя. Ненависть, презрение и злоба.

Завтра я не смогу никому смотреть в глаза – мне будет стыдно. И значит, никаких иллюзий, никаких мечтаний больше? Нет, не могу я так жить! Боже мой, мне кажется, я с ума сойду. Мне кажется счастьем вчерашний день и все эти мелкие неприятности, которые раньше трогали. Что теперь делать? Что делать? Я хочу на весь свет закричать – что мне делать? Врачи, которым не верю, операции, которые не помогут, и соболезнования, от которых смешно и тошно. И никаких надежд. Как все это случилось? Почему я вчера, почему я раньше не

думала об этом? Почему после операции я успокоилась и все старое прогнала вон? Так, правда, некоторое время я не была такой? Не знаю. Должно быть, я просто… обманулась!

Только я начала меняться, только начала успокаиваться, как вдруг… Сегодня я получила два удара. Дура и уродка! Зачем же мне дали то, что называют гордостью и самолюбием? Я хочу блеска, славы, я хочу любви и счастья, а получаю стыд, ненависть и отчаяние. Отчаяние! Какое благозвучное и какое страшное слово. Отчаяние – это значит смерть. Это значит нет никакого выхода. Вот опять где-то у сердца чувствую противную и тяжелую гадюку, она сидит и сосет. Это – злоба бессилия, это ненависть урода. Очень противное существо ростом с блоху.

<22 ноября 1935>

Муся, очаровательная ангорская кошечка с мягкой, как пух, шерстью, выпустила коготки, и очень острые. Вчера она сказала мне, смеясь: «Ну, подвинься, толстушка!» Я промолчала. «Ты не сердишься?» – «Нет, – отвечала я ей в тон, – я тебя так презираю, что даже сердиться не могу». – «Ах ты, гадюшка!» На этом как будто кончилось, но сегодня она громко и нахально начала говорить мне: «Ах ты, толстушка. Ты толстая, Нина». – «Муся, перестань!» Она смеялась, наивно таращя глаза: «Ты не сердись, Нина, я всех называю толстыми, кого люблю». – «А я прошу этого не делать», – говорила я тихо, боясь, чтобы кто-нибудь нас не услыхал. «Вот чудачка! Это у меня ласкательное имя, я ж говорю, что всех так зову», – ворковала Муся. «Муся, замолчи, или я с тобой разговаривать не буду…» Я отвернулась презлая.

Нет, какое она имеет право, как она смеет оскорблять меня! Я сидела, ни на кого не глядя, и чувствовала ненависть к ней и презрение к себе. Я не нашла ни слова в ответ на насмешку, была беспомощна, а она продолжала язвить. «Муся, прошу тебя, замолчи», – повторяла я. Она некоторое время молчала, а потом решила помириться: «Нинок, не сердись, ты будешь у меня не толстая, а тонкая-тоненькая». Она с каким-то особым удовольствием произносила слово «толстая», близко поднося в моему лицу маленькие пальчики, показывающие, какая я буду тоненькая.

С глупейшим видом смотрела я в ее хитрые, удлиненные глаза с улетающими ресницами и тщетно искала каких-то резких слов – злость охватила меня, затопила все остальные чувства, стыд покрывал мое лицо красными пятнами. «Муся, если б ты знала, как мне хочется ударить тебя». Она еще не сдавалась. Я

сказала ей, отвернувшись: «Пойми, что ты себя унижаешь. Неужели у тебя нет ни капельки самолюбия и тебя не оскорбляет, что я не хочу с тобой разговаривать, а ты лезешь?» Я уткнулась в парту и просидела так весь оставшийся урок, а Муся скоро оправилась и начала весело болтать с девочками. Теперь мы не разговариваем, и я ненавижу ее, и вдоволь насмотреться не могу, и… так завидую. Стыдно признаться.

< 28 ноября 1935 >

«Лень-матушка вперед нас родилась», – говорит пословица. Второй день сижу дома, правда, оба по причине, но чувствую, что еще и еще не ходила бы в школу. Вчера рано-рано поехали с мамой в Бутырку[40]. Чуть светало, и нудно было видеть оживающее утро в темных вечерних сумерках. И странно: эта синяя ночь вся была пропитана неуловимым и еле ощутимым дыханием утра. Как-то особенно свеж и чист был воздух, или это казалось так, потому что сама я только что встала и была бодра и весела. Падал редкий, мелкий снежок, кругом торопились люди.

В тюрьму я приехала замерзшая и злая. Народу было много. На скамейках сидели полусонные женщины с узелочками, узлами, сумочками и целыми мешками. Все почти женщины, и какие различные: старые и молодые, веселые и отупевшие от горя, простые и интеллигентные, много рабочих. И у всех выражение апатии и какого-то покорного горя. В отношении к политическим чувствуются какие-то сдвиги: Бутырка стала их тюрьмой, их теперь не высылают почти без суда и следствия, как пять лет назад. И с родными объясняются более вежливо.

Боже мой! Как не хочется завтра идти в школу. Будет черчение, а у меня нет ни одного чертежа, их надо делать целый вечер, притом еще за эскизами ехать к Мусе. Позволит ли мне мама остаться дома? Вдруг нет? Тогда я пропаду. Впрочем, нет, позволит, я на самом деле немного больна. Опять хочу уходить из школы. На днях разговаривала с И. Ю., мы с ней вместе вышли из школы. «И. Ю., я хотела бы поговорить с вами». – «Пойдем, детка», – сказала она ласково, как только может говорить И. Ю., и взяла меня под руку. «И. Ю., я уже такая бродяжка, и опять хочу уходить из школы. Как вы думаете, будет прием в январе на рабфак?» – «Нет, Нина. На хороших рабфаках никогда не бывает зимой свободных мест». – «Никогда?» – «Да. Но, впрочем, я попробую поговорить, может быть, но вряд ли. Не лучше ли тебе остаться в школе? Или, может быть, дома плохое материальное положение? Ты, конечно, скажешь мне, почему не хочешь учиться

в школе?»

Я, разумеется, сказала ей: «И. Ю., видите ли, мне уже шестнадцать лет, а вокруг меня четырнадцатилетние, маленькие». – «Ну это же пустяк, раньше было заметно, что ты старше, а теперь с каждым годом будет сглаживаться. Да у вас и четырнадцатилетних-то мало, все больше пятнадцатилетние, а им скоро будет шестнадцать, значит, они станут тебе ровесниками». Я ей не сказала, что мне-то будет через месяц семнадцать лет. Боже мой! Уже семнадцать, а я еще чувствую себя маленькой девочкой. Как глупо. Я еще не жила, мне за эти семнадцать лет нечего вспомнить, я говорю не только о чувствах, хотя надо сознаться, что чувства в жизни занимают видное место, как стимул к работе, к учению, к самой жизни, а у меня не было ни друзей, ни радостей.

Сестры много вспомнят из своего прошлого: бешеные скачки на лошадях где-то в отдаленных аллеях Сокольнического парка, веселый круговорот катка, волейбол, вечера с друзьями и с теми, которые их любили. Муся будет через три года с удовольствием вспоминать волнующие вечера, полные какого-то обаяния, красивых мальчиков, свой успех, танцы до головокружения, кокетство и милое тщеславие. А Нина не вспомнит ничего! Каждый из них скажет когда-то: «Да, я пожил ничего!» А у меня, так сказать, «была молодость», я чувствую лишь неудовлетворенность жизнью, которая не оправдала надежд, людьми, которые обманули, и собой, не сумевшей поймать ни жизнь, ни людей.

<21 декабря 1935>

Семнадцатого, на вечеринке у Муси, у меня сначала было хорошее настроение, было немного скучновато, но почему-то приятно. Я стала гораздо свободнее держать себя, и это радовало. Все танцевали, а я сидела в уголке, иногда переговаривалась с кем-то и смотрела на танцующих – у меня привычка смотреть на лица, а не на ноги, что гораздо интересней: иногда встретишь чей-то взгляд или улыбку. Часто мелькало красное лицо Вадима и его сатанинские глаза. Но через час, наверно, меня охватила тоска, да такая, что реветь от злости и унижения хотелось. Почему никто не мог пригласить меня танцевать? Ведь я же умела немножко. Почти с ненавистью смотрела я, как один или другой брал девочек и начинал мелькать по комнате, а я все сидела и робко надеялась, что кто-то догадается хоть из вежливости. Но никто не догадывался, и я, сдерживая слезы, злая, ни с кем не

разговаривая, сидела на кресле и, положив голову на руки, почти дремала. Я была уже уверена, что потанцевать мне не придется, и все еще спрашивала, за что меня все игнорировали. Не Вадим ли уж из какой-нибудь мести приказал своим мальчикам помучить меня?

Подошла Ира и проговорила, смеясь: «Нина, что с тобой?» – «Спать хочется», – делая добродушное лицо, пробормотала я. Трещала какая-то пластинка, танцующих не было, все устали уже. Вижу, подходит Вадим, горячий, оживленный, и вдруг говорит, протянув руку: «Нина, я с тобой еще не танцевал сегодня. Пойдем?» Я удивленно и растерянно взглянула на него. «Пойти или нет? Никто ведь не танцует, и нас все заметят. Как стыдно-то будет, но не пойти ужасно глупо», – промелькнуло у меня в голове. Я медленно и неуверенно поднялась и коснулась горячей руки его, от неожиданности я забыла наблюдать за собой и за другими, лишь чувствовала, что тяжесть и обида, гнетущая меня, проходит, а тут рядом этот злой и неискренний, но находчивый мальчик, нелюбимый, но красивый, спаянный из мускулов, ходящих под белой просторной рубашкой.

Пластинка скоро кончилась, я неловко взглянула на него, усмехнулась и поспешила сесть на диван. Колени чуть тряслись, казалось, все с удивлением и интересом смотрят на меня и видят, как неловко и странно я себя чувствую, мне что-то стыдно было. Вадим поставил другую пластину и… опять взял меня. Я чувствовала, как радостная волна захватывала меня, росла и ширилась, скуки как не бывало. «Ах, Дима, как скучно сегодня было», – сказала я и заметила, как чуть дрожал у меня голос от пережитой обиды. «Да? А мне никогда не бывает скучно». – «Еще бы, тебе!» Он посмотрел на меня: «Когда я выпью, все равно сколько, рюмку ли, пять, до опьянения никогда не дохожу, но для меня как-то пропадают отдельные люди, я вижу только лица. Мелькнет лицо – я подхожу, увижу еще – беру танцевать».

«Редко же ты меня видишь», – с горечью вырвалось у меня. «Нет, ты все сидишь, ну я тебя и не заметил», – с наивнейшим видом уверял он. Гадючка! Говоря, я иногда поворачивала к нему лицо и тогда задевала его ухо носом, и было смешно и немного неудобно. Я села на свое место, взбудораженная, удивленная, и сквозь антипатию к Вадиму почувствовала к нему горячую благодарность за подачку, которую он кинул мне. Я была благодарна, что он это сделал, а никто другой не догадался. Да, он тонко заметил, увидав меня на кресле, злую и хмурую, что я дошла до высшей точки отчаяния, и спас меня. Я себя чувствовала маленькой и несчастной девочкой, которой вдруг подали руку. И мне так захотелось верить в другого Вадима, хорошего и не злого.

< 29 декабря 1935 >

Два дня не могла себя заставить написать о том, что произошло двадцать седьмого. Было страшно и стыдно вспоминать, и все же помнила об этом ежеминутно. Я позорно и постыдно засыпалась по литературе и по химии. Боже мой, как было стыдно. Я не могла никому в глаза смотреть! Казалось, каждый смеется надо мной. И не то ужасно, что я не ответила на «отлично», а ужасно то, что это крест на все мои способности[41]. Не ответить такой пустяк – какой позор! Это значит – я совершенная дура. Нет-нет, бесконечно стыдно! Мною овладело отчаяние и безумная злость. Дома я плакала злыми слезами, потом пошла в глазную больницу, но не добилась там толка. К вечеру я совершенно охрипла.

К сестрам пришли ребята, которые вздумали подсмеиваться надо мной, и это так меня взбесило, что я ушла от них и не хотела разговаривать. Как мне было больно и досадно до слез! Странно сошлись две эти неприятности в один день, и я просто пала духом. Вчера и сегодня в школу не ходила и старалась весь день спать, ни за что не бралась, а на душе тяжелым камнем лежала одна мысль: «Зачем теперь заниматься?» Мне временами хотелось бросить школу, все, мысль доходила почти до самоубийства, сейчас этот кошмар отходит на второй план, и в душе тошно до ужаса. Я не знаю, что буду делать, читать не могу, потому что все равно забуду все, цели в жизни нет совершенно, и это ужасно. А быть неудачником из гордости и самолюбия не хочу, я не хочу смиряться ни перед чем.

< 4 января 1936 >

В ночь на первое января и утром я ощутила движение времени. Вот оно ползет, громадное и неумолимое, медленно и непреклонно, перевалил еще год и… пропал. Я уже не думаю о нем, я стремлюсь все время вперед, опять о чем-то мечтаю и желаю чего-то, и нет ни одного воспоминания, чтобы отметить прошедший год. Жизнь была бесцветная и серая. Мне страшно совестно, что мне семнадцать лет, что я дошла до того уже, что стала лгать и говорить про свои шестнадцать. Это я делаю впервые в жизни. Кажется, начинаю жалеть, что ушла с рабфака осенью, но теперь уже ничего изменить нельзя. Я согласна теперь опять месяц-два без отдыха заниматься, чтоб только уйти из школы, это сплошная пытка – осознавать свое бессилие. Вот я и испортила себе настроение, а то все время поддерживала в себе

равновесие.

Теперь я умею это делать и стала не такой, какой была раньше. Я теперь не боюсь знакомых сестер, не молчу все время, а главное, могу веселиться, смеяться и шутить. Новый год я проводила с сестрами дома, и этот вечер я танцевала, принимала участие в играх и не боялась никого. И я знаю почему, ведь раньше на меня никто не обращал внимания, как на малышку, это меня ужасно мучило, я становилась застенчивой и пугливой, моментально глупея. Я не говорила ни слова, боясь насмешек или думая, а вдруг на мои слова не обратят никакого внимания. Теперь все решили, наверно, что я все-таки подросла, со мной заговаривали, танцевали, и я была весела, дурила и бегала.

Женька пришел раньше, когда еще никого не было. Я пошла открывать в полной уверенности, что это мама, и, когда увидала перед собой знакомое, давно не виденное лицо, по старой привычке екнуло сердце и забилось сильно-сильно, но уже потом я к нему относилась так же, как и к другим. Женька устроил необычайную иллюминацию, обернув лампы цветной бумагой, – и стало так красиво и празднично кругом. За столом, помню, было оживленно и смешно, Нина начала со всеми целоваться под общий вой и хохот. Она много пила, кокетничала с Андреем и казалась интересной, Андрей какой-то чудной и немножко противный, все молчал, сопел длинным носом и нехорошо усмехался. В обществе он всем мешал и был как мозоль на глазу, но все чаще он убегал с Ниной в другую комнату, целовался, что ли, с ней или лез обниматься. Удивительный поганец! Вот так бы все ему дотронуться, коснуться или низко наклониться, только глаза у него хорошие, большие, синие и необыкновенно яркие.

<11 января 1936>

Вот уже несколько месяцев папочка сидит в тюрьме. Как странно, что мы теперь никто не волнуемся, не ужасаемся и спокойно говорим об этом как о самом обычном деле. Недавно кончилось следствие, и мама пошла хлопотать о свидании. Ей назначили на сегодня. Еще в прошлом месяце она подала заявление на себя и меня. Сегодня мы поехали на Лубянку получать ордер, и в школу я не пошла. Я долго колебалась и не знала, куда идти, в школу или к папе. Не хотелось пропускать первого дня, но не пойти к папе? Позднее меня неприятно поразило, что к моему желанию видеть папу в сильной степени примешивалось тщеславное гадкое чувство. Я несколько раз думала, что, если я не поеду, папа назовет меня эгоисткой, а в

противном случае будет очень доволен любящей его дочерью и невольно, может быть, подумает: «А вот старшие не приехали!» Мне хотелось именно этого (чтоб меня отличили), и я больше думала не о том удовольствии, которое я доставлю папе, а о том, которое получу сама от удовлетворения своего тщеславия.

Ордер дали, но только на одну маму. Мне вдруг до слез так стало обидно, и, чтоб не расплакаться, я шла стиснув зубы. Действительно ли мне так хотелось видеть папу? Очень возможно. Но только даже в эту минуту я не могла удержаться от мысли сделать какой-нибудь заметный жест или сказать что-нибудь эффектное, чтоб окружающие обратили внимание и подумали: «Какая хорошая дочь». Я тут же выругала себя за эту мысль и пошла домой злая как черт. От этой злости у меня глаза иногда наливались слезами и даже кричать хотелось или выкинуть что-нибудь безобразное, исступленно хотелось разорвать ордер или бросить им в лицо. Сволочи!

Но я ничего не сделала, не закатила истерику и даже не заплакала, а продолжала спокойно идти и думать, что я совсем не думаю о папе и о том, что не увижу его, а лишь о том, что эти мерзавцы, сидящие у власти, нисколько не считаются с нами. У меня страдала гордость, болело самолюбие и… только. А сколько злости, желчи! Она, казалось, переливала все границы, затопляла меня.

Я ненавидела положительно всех, кого ни встречала на дороге. И обмеривая прохожих яростным, угрюмым взглядом, нахмурив брови, думала, какое чувство вызывала у людей своим видом и что каждый думал обо мне. Сегодня был чудный день. Солнце, ярко-золотистое и светлое, все покрывало светом. Небо было подернуто легкой и светлой дымкой, и в воздухе стоял чудный прозрачный туман. Сквозь редкие белые облака слабо синело небо, и медленно-медленно на землю падали легкие снежинки. Воздух искрился и переливался в золотой пряже лучей. Эти дни читала о Толстом, и опять я невольно подпадаю под влияние его мышления. Страсть самосовершенствования была у меня всегда, а сейчас вдруг появилась необыкновенная ясность самокритики, спокойное и беспощадное саморазоблачение и толстовская жестокая откровенность. Самоусовершенствуйся, дружочек! Посмотрим, что-то из тебя получится. А надо сознаться, что у Толстого я нахожу все больше общего с собой: та же несчастная наружность, от которой он в молодые годы и в детстве так страдал, рано развившийся самоанализ, бесконечная гордость и даже тщеславие, эти вечные поиски чего-то, неумение успокоиться. Иногда я встречаю у него слова, сказанные будто мною, то ли это от того, что мы действительно похожи, то ли это

сказывается необычайная гениальность Толстого, так верно подметившего душевные движения.

< 17 января 1936 >

Рабфак, кажется, провалился. Велели зайти двадцать пятого, и хотя я разжигаю в себе надежду, но в душе осознаю, что ничего не получится. Я успокаиваю себя и говорю: «Ну ничего, Нинок, одну только пятидневочку походишь в школу, а там пойдешь на рабфак». И тут же злая мысль ползет издалека: «Да, жди, так тебя и примут. Когда говорят, зайдите через несколько дней, но обещать ничего не могут, значит, дело не выгорело». И все-таки я надеюсь и в школу не хожу. Странно, мама мне это не запрещает, будто понимает мое состояние и вполне со мной согласна, хотя этого не может быть, – или она так занята, что махнула на нас рукой? Нет, не то. Вероятно, она знает, что причина у меня есть, и просто не вникает в нее, потому что совершенно мне доверяет. Боже мой!

Несчастная мама, мне так больно за нее, и я так ненавижу тех, по вине которых она мучается, так хочется иногда помочь. Вот, кажется, что-то неожиданное произойдет – и все изменится, но ничего не происходит. А она стала старая, больная и апатичная ко всему, даже к нам и папе. Она похожа на заработавшуюся ломовую лошадь, которая уже по инерции ходит целый день в жесткой упряжке и возит тяжести, хотя сил нет, и по привычке покорно и терпеливо терпит побои. Мама знает свой долг и будет выполнять его до тех пор, пока совершенно не лишится сил, пока не умрет. Собственное ее «я» и все прочие заботы стоят на втором плане, и если есть время исполнять их, она исполняет, а нет – она спокойно и самоотверженно старается забыть их.

Мама – это идеал матери, я еще нигде не встречала таких матерей, кроме бабушки. Мама всю жизнь положила на нас, иметь детей для нее было самым важным вопросом в жизни, ведь иметь детей – значит потерять себя, отречься от себя и жить только для них. Она теперь не интересуется своим здоровьем и спокойно говорит о смерти как об избавлении, но жизни своей не улучшает, ведь каждый час отдыха отнимает необходимую для нас копейку. Я не знала, что люди могут так кошмарно много работать с утра до ночи без отдыха и без радостей.

А дочери, которым посвящена и на которых загублена вся жизнь, ходят задрав носы и не желают ничего видеть дальше своей маленькой подленькой жизни. Они воображают, в

особенности младшая, что недаром созданы для этого света и что одарены необычайными талантами, поэтому грешно тратить время на такие вещи, как уборка по дому, маленькая помощь маме, чтобы утешить ее. Они не желают штопать свои вещи и стирать их и ходят, как нищие, грязные и неряшливые. Три бездушные эгоистки, не любящие мать. А вы загляните в их душу. Боже мой! Чего только нет там? Какие возвышенные и прекрасные идеи, какие мысли и планы! Сколько самоотверженности и героизма, когда, удобно лежа в мягкой постели, они мечтают о своем будущем!

А папа сидит в Бутырках. Сидит со своей дикой и беспомощной ненавистью, со своей энергией и одаренностью и больными глазами. Сегодня я была в Политическом Красном Кресте и подала заявление. Любопытное учреждение, которое много кричит о себе и ровно ничего не делает. Я слышала от окружающих, что они ходят по несколько лет, не добиваясь никакого толку. Народу много, помещение отвратительное, похожее на закуток, посетителям очень мало отвечают, говоря, что «мы постараемся, но вряд ли из этого что-либо получится». Достойный ответ.

Я абсолютно не занимаюсь, но завтра придется взяться, потому что девятнадцатого иду в школу. Я не хочу больше быть умной и серьезной, не хочу ничего делать, а буду все время танцевать, бузить, гулять и жить. Я вдруг поняла, что молодость дана только один раз, и если я не использую ее, то уж никогда не вернутся эти возможности пожить. Я хочу жить! Я поняла вдруг, что мне уже семнадцать лет и что это лучшая пора жизни (обычно считается), а я хожу в каком-то странном полусне, как будто мне тридцать лет, и все радости пролетают мимо меня. Ведь в жизни мне не останется ни одного воспоминания, ни одной волнующей счастливой картины, а жизнь без единой минуты счастья – не жизнь. Я хочу любить, обманываться, но любить, ведь старость без любви – это кошмар. Сейчас я в ужасе замечаю, что я влачу жалкое существование, и тут же думаю: «Ничего, еще есть время все исправить». А через десять лет я буду ужасаться, раскаиваться и проклинать себя за то, что в жизни ничего не нашла, и тогда уже надеяться будет не на что.

<30 января 1936>

Проклятье! Не хотела писать о своих неудачах, потому что мне перед собой даже стыдно думать о них. Я все ждала, что наконец удастся мне моя затея, но теперь… Опять прежние

пессимизм и хандра. В жизни моей не исполнилось ни одного желания, ни одного! Мне надоело и опротивело это, я не хочу быть больше неудачником. Понимаете, не хочу! И мне стыдно за мое дурное настроение и за мои неудачи. Да ведь я же не виновата в этом! Это какой-то злой рок! Или, может быть, я сама не умею никогда ничего устроить. Мне везде отказали: в Архитектурном на рабфаке, в Текстильном и на подготовительных курсах, – как сговорились. И вот я опять в школе. Скука… и тоска! Когда я подумаю, что мне уже семнадцать, а жизнь моя бесцветна и сера, мне страшно становится. Ведь я буду до исступления жалеть эти так тускло проползшие годы.

В школе тесно и душно, меня так бесит как мое легкомыслие, так и моих друзей, недавно они очень обидели меня. Я последнюю шестидневку не ходила в школу сначала была больна, а потом, надо признаться, просто прогуливала, так ни одна из них не зашла ко мне. Никто! Это просто невежливо, милая Муся! Можно крутить с мальчиками и быть с ними не человеком, а какой-то гадкой, злой и пародией на человека, но с девочками сохраняй же человеческий облик! Нельзя же быть до такой степени эгоистичной и ограниченной, чтоб представлять весь мир, созданный для тебя. А Ирина! Мне тяжело, потому что я их всегда посещала и требую с их стороны даже не любви и привязанности, а просто чувства такта. Отвратительные и легкомысленные девчонки! Признаться, я осталась одна в школе, раньше ведь они во мне нуждались, потому что я лучше их всех училась, я затыкала их за пояс и нужна была им.

<11 февраля 1936>

Я очень злая, наверно, у меня ко всякому почти чувству примешивается злость, и я плачу злобно и с ненавистью. Я не пишу ничего о рабфаке, но это не значит, что я не думаю о нем. Хотелось бы написать – итак, я на рабфаке. Но, вероятно, не удастся, поэтому буду жаловаться, и, конечно, не на себя. Я ли не упорно ходила по рабфакам и курсам, в Полиграфический раз шесть сряду ездила, и там мне почти отказали, в Архитектурном тоже и на курсах. Что же осталось? Почему-то в голову неожиданно пришла мысль о сельскохозяйственном – по всей вероятности, это и есть мое призвание. Но он находится у черта на куличках или в Петровском парке, и ездить туда куда как приятно.

Но я решилась и на это. Сегодня, после нескольких минут

полного отчаяния, я решила поговорить с мамой, чтоб тринадцатого кончить это дело, упросить ее съездить в Архитектурный, на рабфак, а сама поскачу в сельскохозяйственный. По совести сказать, мне ужасно не хочется идти тринадцатого в школу, потому что меня будут спрашивать по географии, по которой я ничего не знаю, и чувствую – знать не буду, сколько бы ни сидела. Значит, опять засыпаться. Какое унижение! Попытаюсь договориться с мамой, очень хочется верить, что все удастся, и поэтому верю, хотя только подумаю трезво – все надежды рушатся.

В душе появляются какое-то мучительное беспокойство и волнение, которые бывают в минуты полной безысходности и сознания, что выход был, а ты сама не нашла его, а теперь поздно. Конечно, поздно. Уж второе полугодие началось, я бы все узнала давно, если б не Ляля. Гадина! Дала ей аттестат и просила узнать на рабфаке, примут у них или нет. Я думала, что она лучше сможет все устроить, а она, по свойственной ей беспечности, за целую шестидневку не могла поймать директора и поговорить с ним (я, как подумаю об этом, начинаю ненавидеть ее).

И она же сегодня, когда я упрекнула ее в невнимании, вдруг рассердилась (будто ее оскорбляют), назвала меня дрянью и скотиной. Ну нет! Этого я не прощу вам, Ольга Сергеевна! Нельзя быть в такой степени эгоистичной и черствой. Таким образом, у меня несколько драгоценных дней ушло совершенно даром. Страшно подумать о том, что у меня, может, не удастся моя затея, и мне кажется, что мое терпение в конце концов лопнет. Боже мой, как хочется променять это тухлое болото на что-то другое, теперь даже как-то безразлично, на что иное. Хочется плакать от злости и отчаяния.

Женя и Ляля – странные люди, таких неглубоких и поверхностных (о развитии уж и не говорю) я еще не встречала. Я не могу понять, как это они с чистой совестью могут не исполнить своего обещания, сделать какую-нибудь ужасную бестактность. Это определенно недомыслие, но не от глупости, а от легкомыслия, которое не дает им задумываться над жизнью. Такое впечатление, будто жизнь их все время берегла и лелеяла, все им удавалось. Они, как мотылечки, порхают и ни о чем не думают. Пусть порхают, пока не опалят крылышки.

<16 марта 1936> Дорогой мой друг![42] Давно я не разговаривала с тобой и не делилась своими горестями. Ты думаешь, это происходит от того, что мне очень весело и поэтому не хочется скучать с тобой? О нет. Я все так же несчастна, как и раньше, и по-прежнему у меня нет никого. Понимаешь, никого, с кем я могла поговорить, никого, кроме тебя. Да, я знаю, ты

удивлен и спрашиваешь, почему же я тогда не обращалась к тебе раньше, если ты – единственный мой друг. На это трудно ответить. Причин было много, только я не знаю, сочтешь ли ты их вполне уважительными. Ну да все равно, я привыкла говорить тебе все.

Помнишь, последний раз мы говорили о рабфаке. Тогда я была полна этой идеей, она вдохновляла меня и обещала такие невероятные вещи, но и мучила меня много. Но все-таки это была надежда, для которой стоило жить и трудиться, но теперь ее окончательно нет. Не все ли равно, как она разрушилась и долго ли еще мучила меня, только теперь я опять на самом дне ужасной темной ямы. Мне недолго быть несчастной, надоело быть неудачницей, и поэтому даже тебе я ничего не говорила. Мне надоело жаловаться тебе и даже перед тобой бывает стыдно за мою жизнь, в которой ничего не было, кроме неудач. Я все ждала это время, что вдруг что-нибудь случится – и я вдруг оживу, смогу, как все, смеяться и шутить, но…

Помнишь, одно время я почти не ходила в школу. Когда история с рабфаком провалилась, я себе сказала: «Ну, Нина, теперь займись учением, ты довольно ленилась в этом году. Пора поработать». И я начала работать, ты ведь знаешь, как я умею работать, особенно когда есть для чего. У меня уже опять была цель, ведь утопающий хватается за соломинку – я тоже схватилась за нее. Я решила (мне стыдно говорить об этом) летом опять подавать на рабфак. Ведь правда, мое упорство похвально, а сама я смешна ужасно. Мне нужны отметки, и я их буду добиваться.

Теперь о моем состоянии. Я начала ходить в школу, и первые дни были, пожалуй, радостны, потому что я соскучилась по людям. Только вдруг я стала замечать, что вокруг меня не старые мои друзья Ира и Муся, а какие-то чужие и непонятные люди. Я вдруг оказалась никому не нужной, меня попросту забыли. Я сомневалась, надеялась, злилась и мучилась. Муся, несносная в своих капризах, привязалась к другим девочкам, а я была всегда так уверена и в себе, и в ее любви ко мне, что это меня как-то ошеломило. На уроках мы с ней сидели вместе, и она была как будто по-прежнему веселая и ласковая, но и совсем другая, не говорила мне ничего, а с наступлением перемены вдруг убегала к другим.

Боже, сколько муки доставляли мне эти перемены, я готова была разрыдаться от злости, я была одна, из наших никто не замечал меня. Я иногда подходила сама, а чаще вовсе уходила из зала, потому что не привыкла просить снисхождения. Нет, этого ты, вероятно, не поймешь. Вспоминать свое прежнее положение, а теперь ощущать каждую перемену и видеть, что меня предпочли.

Я долго думала о причинах такого охлаждения. Муся просто разлюбила, а Ирина? Я ее не люблю, но меня злит, что она соблюдает здесь какую-то политику: когда мы с ней вдвоем, она лезет ко мне с откровенностью, а при других как будто не замечает меня. Я просто стала не нужна никому – так я поглупела.

Итак, я там чужая, нет даже внешней близости. Иногда мне хочется начать борьбу и добиться вновь Муси, но это значит немножко польстить ей, немного унизиться перед ней и бывать у нее дома в этой развратной компании… Нет, спасибо… Удивительно то, что я их никого не люблю, меня к ним нисколько не тянет, но мне ужасно стыдно перед всеми за мое унижение. Это новое несчастье как-то пришибло меня, я изнервничалась, иногда даже плакать стала, но чем больше несчастий, тем ожесточенней хочется победить все! И я борюсь. Прости меня, но я за этот месяц изменяла тебе в мыслях, может быть, поэтому и написала, но думала я о другом друге, настоящем, живом, которого можно видеть и слушать! Ведь ты ничего мне никогда не советуешь.

Недавно были у папочки на свидании. Он отпустил бороду и стал похож на архиерея. Он скоро уезжает в Алма-Ату[43]. Я его теперь люблю. Тюрьма, заключенные, какой-то широкий двор, тесные переходы, окошко и папино лицо, чьи-то рыдания, возгласы, истерика – все это как сон. Прошло, будто сцена в кинематографе, и нет. Я собираюсь ехать в Алма-Ату. Я о ней мечтаю так же, как и о рабфаке. Я уеду в эту азиатскую глушь, буду ходить по горам, есть яблоки и, может быть, хоть на время убегу от себя. Алма-Ата! Отец яблок! О, как ты, должно быть, прекрасен! Нет, не поеду. Это-то в моей власти.

<23 марта 1936> Начались каникулы. Всего пять дней, но все же отдых. А я устала. Чувствую впервые в жизни, что я устала по-настоящему, голова болит, хочется постоянно спать и, вообще, ряд признаков общей усталости. А отдыхать только пять дней. В четвертой четверти занятий будет очень много, надо запастись терпением. Учиться еще два с половиной месяца, ужасно много, а потом испытания… Что за наказание с этой учебой! На дворе весна, семнадцатая весна по счету. Боже мой! Как много пережито и как мало прожито! Я часто вспоминанию сейчас, а воспоминания – это признак старости, когда в настоящем и будущем нет ничего. Черт! Мало я взяла из этих семнадцати лет полезного, а могла бы быть сейчас в высшей степени развитой и умной, а в результате – балда. Удивительное дело, с некоторых пор я перестала развиваться. Так и стою на одной точке, а теперь, пожалуй, даже пячусь назад.

От папы нет писем. Это странно. Я жду их каждый день. Что с ним могло случиться? Нет-нет, ничего не может быть страшного. Зачем мне в голову лезут всякие глупости?

<23 мая 1936>

О, как восхитительно чувствовать, что ты скоро освободишься, что лето твое и время твое и можешь делать то, что взбредет тебе в голову. Только бы не думать сейчас о лете, не замечать ничего кругом, не замечать природы, потому что стоит только раз заметить, как она чудесна, то покой будет нарушен. А я разлюбила природу, она уже не трогает меня, как раньше, не мучает своей красотой, я как-то охладела к ней, что-то умерло в моей душе. Но нет, любовь должна проснуться: лишь увижу я лес и поле, уйду в пеструю густую тень березняка или под хмурые своды бора, и опять вернется очарование природы. Какие сейчас, должно быть, чудесные нивы, и какая трава, и какие цветы!

Май! Ты самый лучший месяц! Как благоухает воздух каждым распускающимся листочком, каждой распускающейся веточкой, как ясно и свежо небо, какая зелень, какие ночи, теплые и тихие. Скорей, скорей бы уехать на дачу, я вырвусь хоть на три дня в начале июня. Неужели же гнить в этой противной Москве? О, я должна использовать это лето, во мне сейчас, как никогда, такая жажда жизни, удовольствий… Однако какой сумасшедший набор слов! Я, кажется, не так хочу из Москвы, как показываю это. Все равно у меня сейчас очень хорошее настроение.

<4 июня 1936>

Красота – могущественная вещь, красота вообще и человеческая в особенности. Я человек, кажется, серьезный, иллюзий не имею и прекрасно знаю, как часто под красивым лицом скрывается очень некрасивая душа, и, зная это, все-таки увлекаюсь красивым. Урод же вызывает во мне брезгливое чувство, в лучшем случае жалость. Это нехороший взгляд, я осуждаю себя, но это происходит помимо моей воли. Какое-то инстинктивное стремление к красоте. Погода сейчас очень хорошая, делать нечего, так как заниматься буду с седьмого, а читать не хочу – напало какое-то оцепенение. Вот смотрю в окно и нюхаю ноздрями свежий воздух, по-собачьи вздрагивая, который ветер приносит ко мне.

В кино идет сейчас картина, которая называется «Петер».

Если передать ее содержание, то все обаяние ее пропадет, поэтому я не буду излагать его, да и незачем.

Но в жизни я не видала артистки, которая играла бы чудеснее и убедительнее Франчески Гааль. Глаза поразительной величины, карие и продолговатые, с громадными ресницами и непередаваемой игрой. И весь облик кокетливой девушки, переодетой в мужчину, – столько жизни, огня и обаяния в каждом ее движении. Я смотрела пять раз эту вещь и еще пять раз могу смотреть ее, я просто брезжу Францеской. Если б я была мужчиной, это чувство можно было назвать влюбленностью, и я вспоминаю всякую мелочь, иногда перед глазами встают ее лицо, ее фигура, ее глаза.

Я раскусила себя: я завистлива. Неудовлетворенность, мучения от сознания своей некрасивости, желание быть умной – все это следствие зависти. Зависть! Я даже не честолюбива, а просто завистлива. Часто, бывая одна, я успокаиваюсь в своей жизни, мне ничего не хочется, и я почти довольна, но стоит мне встретить человека, в чем-нибудь меня перегнавшего (а это всегда так бывает), мое спокойствие нарушено. Я злюсь на него и на себя за то, что проводила зря время, мне хочется что-то сделать, чтоб перегнать его и освободиться от этого постоянного и невыносимого чувства унижения. Итак, во всем зависть, я тону в зависти.

<27 июня 1936> *Гаврилов Ям*

Дневник хорошо характеризует меня – выступает вся мелочность души моей, которую не скроют изредка встречающиеся темы. Стоит обратить внимание на то, что обычно составляет предмет моих дум, чтоб понять меня. Я сегодня прочла кое-что из записей, и мне, признаться, стыдно стало: пессимизм и мальчики, мальчики и пессимизм. Я вижу, что это дурно, но это дурное есть мое «я», за что я так глубоко не люблю себя. Это есть первое противоречие, а их много еще. Печорин говорит где-то, что всякий физический недостаток так или иначе влияет на душу человека, будто соответствующая часть ее отмирает. Он глубоко прав, поэтому начну с наружности.

Для девушки более несоответственной, даже непропорциональной фигуры не встретишь: выше среднего роста; богатырское сложение, главным образом за счет широкой мужицкой кости; прекрасно развитые плечи, не уступающие своей шириной бравому мужчине; низкая талия; некрасивые руки и ноги. Теперь лицо. Оно, разумеется, некрасивое, но важны не отдельные черты, а то нечто, что отличает одну физиономию от другой, и это нечто у меня составляет какая-то угрюмая и тяжелая неподвижность (больше я ничего на нем не подмечала).

Этому неприятному выражению соответствуют и отдельные черты его: большой, но далеко не благородный лоб, очень широкие и короткие брови, маленькие кошачьи глаза (зеленые было бы слишком красиво), злые или не выражающие ничего и имеющие при этом такой недостаток, который нельзя скрыть и который изуродовал мою душу, немного вздернутый нос и большие толстые губы, несколько мясистые. Причем лицо какое-то расплывчатое, нехарактерное, в нем нет ничего, что отличало бы его от тысячи таких же бесформенных и расплывчатых лиц. Да! Надо еще добавить, что все это дополняется огромными оттопыренными ушами.

Характер свой я сама не понимаю, но в общих чертах я в высшей степени пессимист, безнадежный и безвольный нытик, отсюда угрюмость, замкнутость и обособленность, к тому же я еще и завистлива. Это отличительные черты мои, остальные – как и у большинства: слабоволие, тупоумие, заурядные способности и память узость интересов и т. д. Итак, ни в наружности, ни в характере у меня нет ни одной положительной черты, есть у меня единственная красивая деталь – это длинные ресницы, но… они настолько светлы, что абсолютно незаметны. Когда начали развиваться в моем характере ненормальности, я и сама не знаю.

Из детства своего я не помню почти ничего, а рассказывали мне мало. Когда я была еще совсем маленькой, мы жили в Сибири, наша и другая семья, у которых был маленький мальчик. Его часто наказывали, и каждый раз я приходила к его отцу и упрашивала снять наказание со своего маленького друга, что часто удавалось, потому что всем известно, сколь трудно отказывать маленьким детям. Потом последовательность событий я, конечно, путаю, помню себя уже в Москве, я живу с бабушкой и папой в нашей громадной красивой квартире, а мама с сестрами в детдоме. Я одна, товарищей, кажется, не было, потому что я их не помню, и я в большой, почти пустой комнате играю с большим светлым мишкой – почему-то хорошо сохранилось ощущение окружающей пустоты и одиночества. В это же время ночью случился пожар, и папа, разбудив меня, увел на улицу. Страшно абсолютно не было, лишь любопытно. Да, вдруг вспоминать детство – это признак старости.

<29 шюня 1936>

Гаврилов Ям

Идет дождь, и мне скучно. Первого июля, может быть, уедем в

Москву. Право, я ничего против не имею. Много ли мне нужно, чтобы было весело? Только одного человека, с которым я могла бы шляться по лесам, ловить рыбу, ездить на лодке и вообще отдаваться всем тем маленьким летним развлечениям. Но у меня нет такого от того мне и скучно, хоть я живу с Лялей, но чувствую себя абсолютно одинокой, в особенности когда она вместе с Жоркой. Нет ничего неприятнее, как быть третьим лицом, быть лишним. Это можно терпеть раз, другой, но когда это тянется годами, то становится противно. Почему ни одна из девочек на меня не похожа?

< 14 июля 1936 >

Лебедянь

Я проехала с севера на юг, из Гаврилова Яма, заброшенного среди сосновых лесов и хмурой полусеверной природы, в веселую и зеленеющую фруктовыми садами Лебедянь, свободно раскинувшуюся посреди степей и гораздо приветливей и симпатичней Гаврилова Яма. Гаврилов Ям – безобразный маленький городишко с маленькими домами, тесно прилепленными друг к другу; нет ни кустика, ни деревца. Весь он так и разит несносной провинциальной скукой, это фабричный город, и почти все, живущие в нем, рабочие, хотя есть и мещане. Фабрика видоизменила лицо города: улицы наполнены рабочим занятым людом, редко там встретишь уснувшую от скуки заглохшую улочку.

Люди там на диво несимпатичные, и мы с Ольгой называли их «ямские жабы». Изможденные, злые, длинные женские лица мелькали нахально в окнах, когда мы проходили по улице, чувствовалось, что за нашими спинами неслышно сплетается паутина пересудов и сплетен. К концу нашей жизни мы ненавидели там всех людей, и особенно грубых, глупых и ограниченных рабочих, в самом худшем смысле этого слова. Любопытно, что как гадки были люди, так хороши собаки (хотя в Лебе дяни – наоборот). Вместо обычно воспеваемой солидарности рабочих в Яме господствовал совершенный антагонизм между местными рабочими и приезжими, задирательство и мордобой там обычная вещь. Для меня все ужасы провинциальных городов соединились в представлении о Яме, и вырваться оттуда было для нас счастьем.

Для меня самое приятное – это менять места и переселяться из одной местности в другую, о чем я не раз говорила Ляле. Я не

могу прожить на одном месте продолжительное время без того, чтобы не начать скучать, когда мало-мальски привычное становится мне противным и лишь в виде исключения приятным. Лебедянь – это неизведанное и невиданное место, поэтому так интересное. Она стоит на высоком обрыве, а внизу течет голубой Дон. С набережной далеко видно кругом: светлая широкая река, мощными петлями развернувшаяся по равнине, теряется за деревьями и вдруг неожиданно блестит далеко в стороне; внизу ползут веселые и утопающие в садах пригороды; слабо зеленеют низкие берега Дона; воздушно маячит серый высокий мост, а по обрыву бегут к реке желтые тропки.

Вот этого-то я и боялась – мне становится скучно. День проходит так лениво и спокойно: встаешь, пьешь чай, купаешься, потом обедаешь, спишь и опять купаешься, и так до конца дня. И несмотря на то что времени так много, все кажется, что его не хватает, потому что все зачем-то друг друга дожидаются и ходят без дела и без толку. Назревает атмосфера такого мучительного однообразия, что хоть вешайся. Скучно еще и оттого, что здесь мало людей, да и совсем нет их (знакомых, конечно). Я провожу лето так, как будто мне сорок лет, то есть так же, как и мама. А разве это нормально? Я себя чувствую больной от полного физического бездействия, чувствую себя хилой, руки и ноги точно плети, хоть бы погрести, что ли, от безделья и однообразия жизни. Особенно расходилась моя фантазия, и Ляля говорит, что у меня развращенное воображение. Не знаю, хотя, может быть, и так.

<5 октября 1936>

Мне что-то хочется писать стихи, только никак рифмы не идут на ум. Сейчас настал у меня период умиротворения и душевного спокойствия, ведь этот год – моя ставка. Я это решила и пока жду, что из этого получится, в этом году я должна напрячь все силы, поднять всю энергию свою, волю и способности, чтоб сделать как можно больше. А весной устрою смотр и посмотрю, что я сделала и стоит ли продолжать работать и есть ли надежды на мою одаренность. И тогда или откажусь от борьбы, или буду уверена в победе. Может быть, это самообман, может быть, это только оттягивание роковой минуты, которой я боюсь и в которой я не смогу отказаться от своих мечтаний, даже уверившись в их несбыточности. Но пока положение мое на этот год определенно, и я спокойна. Конечно, все прошлые годы были болезнью, которая наступает у некоторых в переходном возрасте. Я, кажется, вышла

из нее победителем, хотя и с большими потерями.

Любопытную хронику представляет мой дневник. Четвертого октября прошлого года я писала, что хочу учиться, что у меня масса энергии и что ставка моя – три года. А энергии хватило лишь на месяц, спустя который я начала хныкать и мучиться. Очень любопытно, сколько я протяну в этом году. Пока же я говорю себе, что слабоволия проявлять не должна и весь год должна учиться и учиться. Большое значение будет иметь отношение ко мне девочек в школе, но пока я с ними в хороших отношениях. Если же я останусь одинокой, как в прошлом году, то школа будет для меня тяжелым бременем, хорошо хоть, что сейчас нет мальчиков, которые разъединяли нас в прошлом году, это мое счастье.

Теперь о моих отношениях к мальчикам. Я к ним совершенно равнодушна, именно как к мальчикам, и многим симпатизирую как товарищам. У меня установился особый тон с ними: веселый, но простой, шуточный и в достаточной степени сдержанный, каждую минуту (опасную) могущий перейти в резкий. Есть другие ребята, это камчатка. С ними я ни в каких отношениях, очень резко скажешь с ними слово, а с некоторыми до сих пор еще ничего не сказала. Из них исключение составляют Левка и Димка. К Левке отношусь хорошо по старой привычке, хотя теперь меня в нем многое отталкивает: его грубость и блатной вид (чувствуется влияние его друга). А Димка – это человек, которого стоит уважать, он несколько похож на Володю своим умом и одаренностью, только серьезней и проще, в нем много привлекательного. Он подходит, хоть и не совсем, к тому типу мужчин, который я могу уважать. Сегодня я не думаю о нем, ибо гораздо легче предупреждать болезнь, чем лечить ее. Итак, сегодня последний день свободы моих мыслей, кто знает, во что может превратиться этот легкий и праздный интерес к человеку, который не замечает меня и никогда не будет замечать. От меня всего можно ожидать, но меньше всего легкого флирта, и поэтому я очень боюсь серьезных увлечений. Когда нравится человек, то вся жизнь сосредотачивается на нем: хочется сказать что-то, чтоб он услышал, сделать что-то, чтоб он заметил, ответ на уроке дается не для педагога, а для него, все делается для него, и только для него. Я это уже испытала с Женькой и не хочу повторений, не хочу лишних слез.

Женя и Ляля говорят мне часто, что я хорошенькая. Как-то сделал мне этот комплимент Юра (впервые в жизни мне это сказал мужчина). Правда это или неправда?.. Не знаю. Я не верю, и факты подтверждают мою уверенность.

< 22 октября 1936 >

Чем объяснить, что я вдруг успокоилась – и кажется, что этого хватит на год, – то ли я хорошо отдохнула летом и исправила нервную систему, то ли твердо поставленная задача на этот год меня одобряет, то ли я просто отупела и опустилась. Меня почти удовлетворяет моя жизнь, к хорошим и посредственным отметкам я привыкла и теперь почти не мучаюсь, лишь изредка начнет подниматься что-то – сейчас же подавлю. Дома мой день так рационален, так строго распределен, что, право, при желании нельзя придраться. Кажется, что вся энергия, все помыслы сосредоточены только на учебе, чтении и прочем, ни одной нерационально использованной минутки, ни лишних разговоров, ни лишних движений. Здесь мой идеал достигнут.

В школе я провожу уроки не совсем так, как хотелось бы: во-первых, не всегда слушаю преподавателя (иногда так приятно под однообразный звук голоса, удобно усевшись, отдыхать физически и умственно), во-вторых, ту часть урока, которая сравнительно свободна, не занимаю посторонним, но нужным делом. Школу я считаю местом отдыха, так как надо же за весь день где-нибудь отдохнуть. Там отвлекаешься от серьезных мыслей, живешь непосредственно, балуешься, как маленькая; там я разрешаю говорить глупости, смеяться до упаду и перекидываться хитрым взглядом с Левкой. Дома же я делаюсь сразу старше на несколько лет, там я или ругаюсь с сестрами, что весьма гадко, но неисправимо, или занимаюсь, что всегда меня успокаивает. Но чего у меня нет и что необходимо для развития моего, это круга умных, развитых и серьезных знакомых, с которыми можно было бы поговорить о серьезных и интересных вещах.

< 28 октября 1936 >

Неприспособленный умирает! Я могла или умереть, или приспособиться, мне пришлось приспособиться, и с каждым годом эта способность растет во мне. Раньше меня мучило мое уродство, теперь это почти прошло, раньше мне было стыдно моего возраста, и это сознание отравляло мое пребывание в школе, теперь же я спокойно об этом думаю, а чаще и вовсе не думаю, лишь изредка уколет чья-то невзначай брошенная фраза. В прошлом году сознание моей глупости и неспособности доводило меня до бешенства и отчаяния, а теперь я уже начинаю разводить философию о том, что не всем же быть гениальными и что простые смертные тоже могут быть полезными обществу.

Это мне еще не совсем удается, ведь философия (как отвлеченное объективное рассуждение о вещах) не дается в молодости, полной горячности и самолюбия. Но это, в конце концов, совершенно правильный взгляд, нельзя же, чтоб все люди были одинаково умны, каждый трудится и старается по своим способностям. Это, в принципе, меня удовлетворяет, но есть неувязки, которые я осуждаю постоянно, хотела бы изменить и не могу, просто не умею. Мне всегда так мучительно думать, что среда, в которой я вращаюсь, так легкомысленна и пуста. Но это правда. Я не хочу осуждать или ставить ниже себя Ирину, Мусю и Таню, к сожалению, я стою с ними (внешне) на одном уровне, и интересы у нас одинаково пусты… Отчего так получается?

Женщины так односторонне и узко развиты, а мужчины, даже самые посредственные, отлично умеют всем интересоваться. Бесспорно, здесь играет видную роль ужасное наследство, которое оставило нам старое поколение. А может быть, женщина просто глупее? Это тяжелый вопрос для меня. Даром ничего не получишь, необходимо добиваться равенства с мужчинами. А разве мы, женщины, добиваемся?! Мы сидим в своей грязной яме, вырытой десятками веков, и кричим фразы, которые для нас «придумали» мужчины: «Да здравствует равноправие», «Дорогу женщине». Никто из нас не дает себе труда подумать о том, что это только фразы, часть успокаивает этими словами свое женское самолюбие, а другую часть (и большую) просто не оскорбляет такое положение.

Что мне делать, чтоб прервать этот заколдованный круг? Прошлые мои школьные товарки были несколько серьезней нас, но от них за три версты несло мертвечиной и школьной муштрой, они умели говорить живо об уроках, причем страшно узко, они могли каждую перемену с трепетом ожидать урока и дрожать на опросе. Я не могла и не хотела терпеть этой казенной мертвечины и потому бросалась в объятия глупости, хулиганства и легкомыслия. О, как я прекрасно понимаю мальчиков! На их месте я презирала бы девочек, я бы не разговаривала с ними.

<6 ноября 1936>

Как приятно иногда чувствовать себя совершенно свободной, ходить не торопясь, думать без напряжения, разговаривать когда хочется и отдыхать. Мое мнение, что дневник – ненужная и лишняя вещь, не дающая никакой пользы, а следовательно, вред. Развить слог дневник не может, потомству он не пригодится, так зачем же он? Но мне слишком приятно писать все, что есть в

душе, кому-то рассказывать об этом.

Я – очень странная, я еще никого не встречала такой. Есть желание нравиться, флиртовать, веселиться, быть женственной и интересной, беззаветно смеяться и шутить, иногда даже говорить глупости, желание заполнять свою жизнь яркими, веселыми и полными жизни минутками. А наряду с этим есть и стремление учиться, есть строгие и упорные мысли о будущем, о цели в жизни, есть резкий и здравый ум, желание найти в жизни что-то серьезное и прекрасное, желание отдать себя науке. Часто я так люблю физическую работу, чтоб почувствовать, как ломит руки и спину, чтоб по телу пробежала усталая истома и оно почувствовало себя таким сильным и молодым, поэтому я люблю спорт, беготню и возню. Меня до странности не удовлетворяет эта тягучая, однообразная и скучная жизнь, которую я обречена вести и которую или не умею, или не могу разрушить.

Часто я начинаю не уважать себя, а это ужасно – не уважать самого себя. Первым делом я презираю себя как женщину, как представителя этой униженной части человеческой расы, но это изменить нельзя. Больше всего меня мучает моя компания, люди, с которыми я общаюсь. Как ни странно, но я их презираю иногда, а ведь это ужасно и бесчестно по отношению к ним – считаться их друзьями, а в душе снисходительно улыбаться на их слова и то завидовать им и их веселью, то стремиться уйти от них. Я с ними неоткровенна, потому что знаю, что буду не понята ими, я иногда со скукой слушаю их болтовню и стыжусь, если кто-нибудь посторонний услышит наши разговоры.

Это меня преследует всюду. В коридоре, в раздевалке, в классе, во время урока разговоры, разговоры и разговоры только о мальчиках. Думаешь бывало: «Господи, о чем бы поговорить? Об Испании? Но газет они не читают. О книгах? Мы мало читаем общего, они читают легкие и увлекательные, но довольно бездарные романы, которых я в руки не беру». Впрочем, они читали, конечно, и классиков, но я не могу говорить на заранее задуманную тему лишь с той целью, чтоб говорить об умных вещах. Это так фальшиво и противно для меня. Не могу! Вот поэтому-то, чтоб чем-нибудь заняться, я и начинаю бузить, бузить до самозабвения, а потом ругаю себя же за это, впрочем, баловаться я себе сознательно разрешаю. Интересно, что Ира, а за ней и прочие предполагают, что увлечение Женей так на меня подействовало, что я сильно потеряла в умственных способностях и стала менее умной. Удивительно, как у них все сводится к любви. Ах, женщины, женщины! Как вы односторонни и легкомысленны!

Мне хочется в школу, да, я люблю ее. Почему? Не знаю. Там я

весела, там можно смеяться, там чувствуешь себя не одинокой, дружной и чем-то тесней с другими. Но почему же раньше этого не было? Я меняюсь, а в одном уже точно изменилась – что осталось от прежней злой девочки, молчаливой и пугливой, как зверек, ненавидящей всех и себя, мучающей себя вопросами и сомнениями, с больным воспаленным самолюбием и гордостью, с ужасом ожидающей от всех оскорблений и насмешек?

Но и раньше я любила иногда школу, а временами на меня находил ужас: я сидела безучастная, злая и несчастная, а несчастных и жалких всегда сторонятся. Это отталкивает, и от меня все отходили, а мне ведь просто хотелось, как и теперь, болтовни, смеха, товарищеских, простых отношений с мальчиками. Меня оскорбляло, когда мальчишки начинали матерщинить, или безобразно хулиганить на уроках, или приставать к девчонкам. Мне тогда, как никогда после, хотелось быть мальчиком, чтоб не терпеть этих оскорблений, незаслуженных, ни на чем не основанных, гнусных и безобразных оскорблений. Чувствовать каждую минуту, что тебя презирают. Это ужасно!

Но теперь многое изменилось. Я выросла, мне через два месяца восемнадцать лет. Неприятно, но я имею мужество говорить себе, что это не позор, что можно и в восемнадцать лет учиться в школе и не быть маленькой. Да, это неприятно, но чаще я заставляю себя не думать об этом, подумаешь, два года разницы, а потом я не буду стыдиться своих лет. Наружность моя уже не так мучает меня, ведь о ней никто мне не напоминает. Учиться я стала весьма неважно, и, может быть, поэтому стало так легко и свободно на уроках – бояться некого. Я долго боролась с собой, но теперь добилась и навсегда выбралась из противного «отличного болота», как сказал папа.

Теперь пару слов о вечере. Школа снимала помещение, что создало совсем иное настроение. Все девочки пришли такие праздничные, веселые, хорошо одетые, и сразу похорошели, даже мальчики оделись лучше, чем всегда. Танцы проходили оживленно и весело. Я сидела с девочками недалеко от сцены и, будучи в прекрасном и сумасшедшем настроении, острила и говорила без умолку и была очень довольна, когда окружающие смеялись. Мне было очень весело, хотя я не танцевала весь вечер.

< 20 ноября 1936 >

Когда надо много заниматься, у меня всегда скверное настроение, потому что один голос не велит зубрить, а другой

напоминает, как стыдно получить посредственные отметки и как стыдно молча стоять и ничего не знать. Впрочем, занимаюсь я, конечно, смертельно мало и очень довольна этим. Папа сказал: «Не лезь в “отличное болото”». Минутами на меня нападает хандра, когда думаю о своих способностях или о Димке, и чаще эти мысли неразлучны: стоит вспомнить о Димке, как вспоминаешь свою глупость, и наоборот. Еще через год, а может, через два я окончательно перестану мучиться этим – хорошо или плохо?

Димка нравился мне в младших классах, когда он, аккуратно одетый, точно джентльмен, с гладким зачесом волос, смешно выступал в своих коротких детских штанишках. Нравился и тогда, когда, уже подросший, неряшливый и худой, одетый в какую-то рвань, в стоптанных туфлях, остриженный и подурневший, смешно волнуясь и жестикулируя, он уже умел прекрасно отвечать срывающимся переходным голосом. В нем все было странно и необыкновенно, теперь же он превратился в интересного юношу, умного и серьезного.

А как я стараюсь показать ему, что не люблю его, не замечаю или даже чувствую к нему антипатию. При встречах я отворачиваюсь, демонстративно отхожу в сторону или, опустив глаза, с деревянным лицом прохожу мимо. Если где-нибудь столкнешься с ним, первая мысль, это даже не мысль, потому что я делаю это прежде, чем подумаю, – это показать ему, что мне неприятно, что я хочу скорей отойти, чтоб не дотронуться до него. Но разве он обращает на это внимание, тот, который вообще не замечает меня?

А какая я злая и завистливая! И все Димка, единственный человек, которого я уважаю бесконечно, потому что он единственный талантливый из окружающих меня. Это мой идеал человека. А так это глупо – стремиться к идеалу и не смочь достигнуть его. Да, идеалы недостижимы, впрочем, возможно, я по привычке слишком идеализирую его. Нет, он мне не нравится, я просто ему завидую. А все же любопытно – что он обо мне думает? Ведь нет людей, о которых не выскажешь своего мнения, о каждом есть определенное мнение. Какое же мнение у него обо мне? О, я знаю какое, именно то, за которое мне так стыдно бывает: глупая, легкомысленная и некрасивая девчонка, грубая, ленивая и мужиковатая. Ну довольно, я не должна так много думать о нем.

<23 ноября 1936> Вечер под выходной – это вечер лени и отдыха, а иногда сомнений, дум и тяжелых выводов. Когда есть свободное время, невольно отдаешься размышлениям, и нет ничего хуже их для меня, потому что я сейчас должна действовать

и работать, а вовсе не предаваться размышлениям. В этот единственный для меня свободный вечер так не хочется ни за что браться и ничем заниматься. Положим, этот маленький отдых можно себе разрешить и занять скучноватое время писанием дневника.

Вчера я особенно сильно чувствовала свою симпатию к Димке, мне хотелось наблюдать за ним, обращать на себя внимание. Провести вместе урок уже кое-что значило для меня. На военноведении несколько человек, девочек и мальчиков, в том числе и Димка, ушли в другой класс, чтоб стрелять там. Я не стреляла по глупой своей трусости, но за ним наблюдала с трепетом. Любопытно, что девочки, оставшись в меньшинстве, всегда чувствуют себя чуть-чуть смущенно и неловко и все ждут какой-то пакости со стороны мальчишек, никто не знает, что делать…

Я с кем-то начала баловаться и нарочно упорно гонялась за ребятами, потому что Димка смеялся, и это инстинктивно мне было приятно. Как он встал и где встал, далеко ли от меня – все это приобретает такое особое значение, все будто раскрывает непонятные черты. «Первое прикосновение решает все», – сказал где-то Печорин. Удивительно – отчего прикосновение так волнует? Димка начал стрелять и, укладываясь на полу, коснулся ноги моей, и мне это было приятно. Я заметила, что он застенчив по натуре, самолюбив и весьма скромен.

Вчера мне суждено было весь день с ним сталкиваться. Я стояла в дверях и смотрела в коридор, когда Димка подошел сзади так, что я не сразу его заметила, а лишь услыхала близко за собой его низкий голос, что-то говорящий приятелю, и почувствовала вдруг мимолетное прикосновение его теплой куртки к спине. По мне не пробежало электрического тока, меня не обожгло и не бросило в холод, но так неизмеримо приятно было это теплое острое мгновение. Да, он стоял сзади, слегка касаясь моей спины, и ласка и тепло были в его прикосновении. А сегодня я уже почти не думала о нем, не замечала его часто и как будто почувствовала охлаждение, потому что заметила его в хулиганском поступке. Моя любовь должна быть идеалом, знаю, что этого не бывает, а говорю.

<26 ноября 1936>

Сегодня было групповое собрание по поводу плохой дисциплины. Обычная вещь!! Странная вещь класс (как целая определенная группа людей). Каждого по отдельности я хорошо

понимаю, многим симпатизирую, но чуть очутимся вместе, как черт-те что делается. Какое-то гадкое отношение к учителям, что-то затаенное, злое, нет нового хорошего отношения, как теперь говорят, «советского» отношения. Нам все еще хочется насолить им, сделать пакость и самоотверженно потом молчать, не выдавая товарищей (именно это достойно нашего уважения).

Сказать по совести, сегодня, взглянув на этот класс как посторонняя, почувствовала отвращение к этим глупым и упрямым существам, и стоило усилий сдерживать себя и оставаться им солидарной. Ну предположим, я выступила бы, чего бы я добилась? Весь упор делался на Левку, Димку и других. О, как я злилась, как я ненавидела Димку! Как мне хотелось бросить ему в лицо дерзкие и справедливые обвинения! Сегодня я видела его несколько другим, чем обычно, он, видимо, делал усилия, чтоб сдерживать свое раздражение. Ах, Димка! И все-таки он мне нравится, нравится его непосредственность и ясный ум. Единственный человек, который говорит по существу, по-деловому и которого приятно слушать.

Сегодня он смело и откровенно объяснил на собрании свое поведение; смысл его слов был следующий: «Я объясняю причину своего поведения тем, что мне скучно на уроках… поэтому я себя так веду… я, конечно, мог не мешать другим, но… пока еще ничего не могу с собой сделать». Я видела, как ему трудно было говорить это всему классу, который (он знал это) его не понимает и который сам он глубоко презирает. Он выдавливал жесткие откровенные слова, и стало совсем тихо, когда он говорил. Краска то заливала его лицо, то он становился вдруг совсем бледным и опять краснел, даже шея темнела, и зло вскидывал глазами. Это мне тоже в нем нравилось, хотя я злорадствовала в душе: по-видимому, по отношению к нему у меня борются два чувства – симпатия и зависть.

<28 ноября 1936>

Будет ли время, когда мне не надо будет бояться и стыдиться своих лет? Не знаю. Ляля говорит, что нехорошо драться и ребячиться, как я это делаю. Она права отчасти – ведь мне восемнадцать лет, но я нахожусь в среде детей. Да нет, у меня нет оправданий, и все же я права. В школе я должна находиться в постоянном аффекте, в постоянно возбужденном, наигранном состоянии, чтоб не скучать и не беситься от навязчивых мыслей о своих годах и способностях. Ирина как-то сказала, что эта наигранность и некоторая неестественность заметны во мне, что я

смеюсь и веселюсь, а мне вовсе не смешно. Но в школе я ни минуты не должна находиться в покое и молчании, я постоянно ищу, где бы посмеяться, с кем бы подраться, с кем пошутить или поговорить. И занятая мыслью убежать от своего «я», уже не замечаю и не интересуюсь, хорошо или плохо то, что я делаю, и какое впечатление это производит на окружающих.

У меня есть оправдание, оно сильнее всех мнений и осуждений. Я не хочу страдать и мучиться хотя бы в школе. Я, право, похожа на бешеную, появляюсь то там, то тут, нигде не посижу, не уставая смеюсь и дурачусь. Потом вдруг стану хмурой и сумрачной, чтобы в следующую минуту бузить опять. Странно, куда я ни посмотрю, всюду встречаю улыбающийся взгляд и смех. И это доставляет удовольствие; бывало, сидишь вполоборота и осматриваешь ряды учеников, и такими близкими, но и непонятными кажутся эти так хорошо знакомые лица. И все они вызывают какое-то теплое чувство дружбы и симпатии, особенно в последнее время, со всяким хочется поговорить и пошутить.

<2 января 1937>

Еще один год улетел из моей жизни, такой же маленький, незаметный и ненужный больше, о нем ни воспоминать, ни думать не хочется. Да и зачем? Я гляжу вперед, и только вперед. Все прошлые неудачи заставляют меня исправляться, но уже не мучиться, ведь на ошибках учатся. Это, так сказать, предисловие к Новому году, нельзя же его хоть этим не отметить. Двадцать девятого был последний день занятий, а вечером школа устраивала елку. Я еще была полна мыслями о ребятах и школьных делах, занятия прошли весело и оживленно.

Я и Муся были в ударе, мы достали ветку елки и украсили ее, а потом угощали всех конфетами и дурили вовсю.

<3 января 1937>

Три слова о Новом годе. Было на нем достаточно оживленно и весело, хотя могло бы быть и лучше. Впрочем, некоторым было, конечно, веселее, а я все-таки чужая была[44], но собой осталась довольна. То ли я изменилась, то ли у меня стал более взрослый вид, но со мной все уже говорили как с равной, и я не чувствовала себя неловко. Я не была одна, Ляля, как и я, плохо знала компанию, и поэтому мы были вместе. Я быстро освоилась с двумя-тремя молодыми людьми и чувствовала себя с ними

совсем свободно. Вино сделало нас веселей и общительней, заставило больше смеяться и чувствовать ко всем симпатию. И от всей ночи (утро не считаю) у меня осталось смутное воспоминание о чем-то ласковом, приятном, полным дружелюбия и симпатии. Какие-то намеки на нежность, теплое прикосновение руки, ласковая улыбка, близкий улыбающийся взгляд – все, что не имеет содержания, стоит только это выразить словами. Когда выпьешь несколько рюмок вина, первое новое ощущение – это близость с окружающими, исчезновение тех преград, которые прежде были и на следующий день вновь будут, чувствуешь себя родной и близкой. Кому не приходилось испытывать приятного волнения, похожего на головокружение, от пожатия чьей-нибудь твердой мужской руки; или вдруг почувствовать, как тебя кто-то мягко берет за плечи; или стоять вдвоем в комнате и говорить что-нибудь, глядя в красивое волнующее лицо. Это, может быть, пьяное возбуждение, но красивое и невинное.

Приложение

Выдержки из писем Рыбина С. Ф. [45]

Отец – старшей дочери Евгении

«Тесно у вас в Москве, интересно бы посмотреть, как она изменилась за эти два года. Знаю, прибавилось жителей 200–250 тысяч, а как это отразилось на уличном движении, не представляю. Думаю, больше ненужных движений и толкотни за карточками и прочими вещами. Эти очереди и здесь надоели. Я хоть раз-два в месяц становлюсь в затылок, чтобы получить свой фунт сахара, табак и еще муку, но я никак не могу усвоить эту пролетарскую привилегию в жизни. Должно быть, еще не выварился как следует в пролетарском котле. Любопытно бы, конечно, прочитать, что вы видели в деревне со своей экскурсией, да еще с таким ответственным поручением, но письмо от Ляли я так и не получил – не доехало».

«Как вы, за первый семестр сильно устали? Наверное, новая обстановка подействовала на тебя, так что приходится волноваться. Хорошо, что расстались с названием ударного класса. Особенно ты, дружок, не возмущайся, старайся спокойнее относиться к занятиям и сознательно сохранять свои силы, сдерживая себя от волнения и нервности. Этот год в смысле питания будет тяжелым, серьезно нужно отнестись к тому, чтобы экономно тратить запасы физических сил, небогатых как у тебя, так и у всех в этот год. У нас тоже очень голодно, спасаюсь кашей на молоке».

«Спорт, разумеется, лучше, здоровее и разнообразнее дает движение, подвижность, развивает и укрепляет силу. Катание на лыжах и коньках – занятие интересное, но то что вам ежедневно дают зарядку, то это звучит не красиво, не музыкально. Заряжают пушку, ружье, а к людям это непривычно и грубо. Вообще, о ваших воспитателях. Не они виноваты в этом, а система, чрезмерно все грубо, присмотритесь. Словно хотят из людей сделать механическую часть какой-нибудь машины, зарядить и пустить, а ты тут вертись кругом, как бездушная, неодушевленная вещь. Я так давно видел в вашей школе номера физкультурников, на вечере, и мне бросилось в глаза вот эта грубость, отсутствие красоты, пластики. Так же и в цирке делают, но только лучше, а внутреннее содержание жизни цирковых артистов самое отвратительное. А у вас это носит солдатский характер, наверное, и строю вас учат, и винтовку держать».

«При других условиях было бы все иначе, теперь же

приходится поступать так, как это вытекает из обстоятельств. Начиная, родная, борьбу за свое право на человеческое существование, придется много положить энергии, чтобы отвоевать это право, стать и занять достойное место и не затеряться в толпе, как песчинка в степи. Помни, дружок, я с пятнадцати лет начал вполне самостоятельную жизнь, был учителем в деревне и никогда не тужу об этом. Я не потерял до сих пор энергии для борьбы и чувствую достаточно сил, чтобы не застыть на одном месте».

«Вот, живя в столице, ты имеешь возможность получить образование, посмотрела бы ты, что представляет собой здешняя молодежь – просто жалкое убожество. Кончивший семилетку или техникум еще не умеет говорить на „вы“, совершенно не умеет читать, и читать по-русски, и никуда на работу негоден, может быть, за исключением области Коми. Вероятно, так повсюду в автономных республиках: ребят не учат, а больше тешат сознанием автономности и самостоятельности».

«А жизнь такая пустая, бесцельная. Лето прошло, жары нет, время уходит на службу, а жизнь такая пустая и бесцельная. Жить, чтобы время изжить. Ты понимаешь ужасную трагедию огромных тысяч людей, коротающих свое время. Сейчас десятки миллионов рабочих голодают по всему миру, да и в России не сытно живут, в особенности служащие и их семьи. Какая-то полоса мировой скорби, отчаяния, ужаса, при наличии колоссальнейших запасов продуктов, как говорят – девать некуда. Излишки частенько списывают, чтобы удержать деньги».

«Напиши мне, согласна ли ты с моим взглядом на Толстого как философа и политика. Проверь мое мнение на книжке его. Тогда только будете считать свое знакомство с Толстым, когда станет все ясно».

«Знаешь, ты пишешь то же, что и Ольга, словно сговорились. Значит, быт фабричный одинаков и там, и здесь. Вот когда ты поживешь на свете немного больше и побольше понаблюдаешь за жизнью, ты поймешь, сколь она невысока в народной гуще. И пожалуй, в деревне она выше, чем на фабрике, но я могу теперь ошибиться. А у нас и говорить нечего. Чуть стемнело, все закрываются ставнями снаружи и сидят в закрытых помещениях, а если корова на дворе, то втаскивают в сени или в комнату на ночь, иначе обворуют. Воровство и бандитизм. Смесь воровского элемента из России и казаков-кочевников дали удивительные всходы. По магазинам – нищенство, десятками пьяные дерутся,

рядом живет коммунист, который по ночам не раз избивал и жену, и братьев, и мать. Тяжелая картина. В армиях, в учреждениях, в торговых учреждениях воровство и растрата. Отдельные интеллигенты малочисленны и бегут отсюда при первом случае».

«Я знаю, что будешь учиться и целиком отдашься чистому искусству, но ты заранее должна знать, что путь твой долгое время будет тернист и нужно большую силу воли, чтобы все преграды преодолеть. Тогда-то тебе не раз придет на выручку твоя прикладная живопись. Аспирантуру бери только в том случае, если она не отвлечет от прямых твоих занятий и не измотает тебя мелочами. Конечно, времени впереди довольно, чтобы обстоятельно и не раз все это продумать. Знаешь, будь поактивней в институте, я предполагаю, практичные люди заблаговременно добиваются выгодного назначения – для себя, работы и, во всяком случае, не идут, куда их назначают».

«Я рекомендовал Ляле и тебе рекомендую прочитать Кропоткина „Взаимопомощь как фактор эволюции среди животных“. Интересная книжка. Пожалуй, и довольно, ведь теперь вы будете очень заняты своею учебой».

Отец – старшей дочери Ольге

«Школа теперешняя мне непонятна. У вас все свободы и вольности, только бы учиться, а ваши ребята бузят и хулиганят, как ты говоришь. Из-за чего? Какие теперь могут быть вопросы, да еще в группе, где 90 процентов комсомольцев? В прежнее время нас на это толкали особые вопросы, принципиальные, за которые некоторые страдали – и все же не жалели об этом, так как считали жертву необходимой. А теперь вы хулиганите, так как серьезных вопросов в нашей среде нет».

«А чистка у нас все продолжается, тут коми смакуют все до комического. Народ ограниченный и всякую мелочь принимает всерьез, сидят неделями, роются в книгах друг у друга, выявляют недочеты, пишут доклады о работе. Если советскую власть рассматривать как идеал современности во всех ее проявлениях, то нужно сюда приехать и посмотреть, как эти инородцы, теперь нацменьшинства, фактически владеют всеми правами большинства и, пожалуй, самым главным правом – правом большинства; нужно полюбоваться, как именно они проводят в жизнь все предначертания Москвы, с какой добросовестностью и охотой, – и все же при таком отношении к работе дело не

ладится. У них ведь ни в чем сомнений нет».

«Все целиком настроены враждебно ко всем, кроме себя. Цени это и не забывай. Не заниматься и не помогать им нужно, а подальше от всякой навозной кучи, которая воняет и отравляет воздух. Вот как ты писала, что думаешь в фабзауч[46], подумай, лучше ли там обстановка. Система воспитания, практикуемая ими, везде одинакова, пожалуй, там еще хуже, так как обстановка ухудшается еще грубостью и пошлостью, с добавлением в обязательном порядке доносов. Когда ты еще поразмыслишь, а потом с возрастом и со временем поймешь и узнаешь, что за обстановка у них в других местах, где люди мрут как мухи, где умеют умирать из протеста к жизни такой. Надо где-нибудь доставать книг хороших, запишитесь в библиотеку, если это нужно, то лучше платить немного за пользование книгами».

«Читать не следует больше дряни, вроде Вербицкой. Ею увлекались после первой революции 1865 года, с момента духовной реакции и упадничества. Так же, как и театр, – в десять раз интересней и полезней посмотреть классическую вещь, чем Горького. Алексей Горький все же не классик, сколько бы о нем ни кричали. Что у тебя получится, будем разговаривать на следующий год, то есть когда поступите в вуз. Я думаю, мы с тобой не продешевим свою жизнь».

«Значит, на физику налегнуть тебе придется. Я вполне одобряю твой выбор. Вообще, строить, производить новое, да еще машину, облегчающую работу и жизнь человека, – весело, интересно и привлекательно. Пожалуй, будущее принадлежит машинам во всех областях жизни, в особенности в России, где мы далеко отстали от других стран. Пока что ты займись учебой, а там видно будет. Ведь это чрезвычайно сложный и обширный цикл наук, и придется среди них делать выбор. Я доволен, если вы не будете ударниками».

«Там среди моих книг ты найдешь книгу Кропоткина „Взаимопомощь как фактор эволюции среди животных“. Название точно сейчас не помню, но ты там сама разберешь. Кропоткин очень крупный ученый в России и за границей, основатель анархизма, он так же знаменит в своей области, как и Толстой в литературе. Советую прочитать эту книжку по свежему впечатлению, она многое выяснит, читается легко и полезна будет в биологии в школе. Значит, вы начинаете читать, ну, это хорошо. Относитесь ко всему критически, проверяйте, не берите

на веру, выясняйте в других книгах, о своих сомнениях напишите мне, и я отвечу тебе всегда охотно, правда, в письме всего не скажешь. Главное, не спешите строить своих убеждений из прочитанных двух-трех книжек, не спешите, ибо это не все, нужно знать все возражения и мнения „за“ и „против“. Иногда ведь и не найдешь прочитать необходимую литературу по тому или другому вопросу, а нужно знать – следовательно, спросить придется».

Отец – старшим дочерям Евгении и Ольге

«Я с самого начала думал, что вы слишком перегружены серьезными занятиями, но, оказывается, у вас много свободного времени, и вы занялись пением и гимнастикой не в школьных занятиях, а в особых кружках. Очевидно, Ляля собирается в борцы, а Женя – в боксеры. Я представлял себе, что в седьмой группе, называемой ударной, вы действительно займетесь серьезным делом, а вы по-прежнему опускаетесь в гущу неинтересных, правильнее – совершенно бесполезных времяпровождений. Я раньше писал вам письма посерьезнее, вы мне не ответили на них, не сумели. Не заключили ли вы из этого, что вы очень слабо развиты?»

«В теперешнее время тот выживет, кто оказался умней и развитей, более знающим. Вы сами того не замечаете, как лишняя нагрузка в этих бесполезных кружках переутомляет вас. Таким образом, эти кружки просто вредны для вас, и советую вам бросить их и вообще больше уделять внимания занятиям дома, так как ваши кружки – просто время для болтовни. Ваши школы второй ступени по своей постановке выше гимназии, а кроме того, с уклоном „общественного“ и пустого времяпровождения. Главное, мои родные, будьте со мной и с мамой искренни, мы имеем большой опыт в жизни, во всем поймем вас».

«Как ваше чтение? Не явилась ли охота читать научные книги и по каким дисциплинам? Через годок будете читать и мою библиотеку, там много интересных и ценных книг. Скоро опять явится ваш учитель по обществоведению и будет вас изводить. Теперь, наверное, он дает вашему классу изучать постановления последнего партийного съезда, а к тому времени жизнь уйдет далеко вперед и яснее будут видны ошибки этого съезда. Впрочем, только слепые не замечают ошибок».

«Знаете, школа ваша, да и всякая, как она хороша ни была, постоянно дает однообразное образование, какое выгодно в данное время и вообще ее хозяину, а хозяин школы – государство.

Следовательно, очень много хороших вещей, целых наук, вы в школе не узнаете, а только на стороне, путем самообразования».

«Вы долго будете помнить эти юношеские переживания, эти несправедливости, безобразия, отвратительное отношение ко мне, отдавшему всю свою жизнь общественному делу угнетенных и обиженных классов. Вы еще только начинаете читать газету, а когда вы научитесь понимать и разбираться в политических вопросах, то, разумеется, узнаете о политике по суждению не одних правящих групп, а многих направлений и течений. Каждый вопрос освещается со всех сторон и каждой партией со своей точки зрения. Только тогда вы поймете всестороннее значение общественных наук в развитии современного общества и научитесь оценивать каждый вопрос независимо от указки школы или кого-то других. Сейчас же основное для вас – учиться не политике, а главным образом предметам, а политикой занимайтесь немножко, чтобы не отстать от других. В школе держитесь независимо, не увлекайтесь подпольными кружками, если они будут создаваться, в особенности из всяких течений правящей партии. Так как они не откроют вам правды-истины. Она, правда, скрыта за семью замками для всех ваших кружков. Многие носители этой правды не могут высказаться ни открыто, ни подпольно, и не по своей вине. Ваши же всякие течения толкутся точно с повязками на глазах в большой комнате, воображая, что они все видят, а на самом деле повязку забывают снять».

«На Октябрьские праздники не ходите с демонстрацией, это от вас далеко, тяжело, утомительно и абсолютно неинтересно. Лучше используйте денек для здорового отдыха. Не оставайтесь в школе до девяти и десяти часов, старайтесь скорее кончить и уходить домой. Нездорово это и не по-коммунистически. Говорят о семичасовом рабочем дне, а ребят нагрузили на все пятнадцать».

«Вы должны помнить, что ваше положение хуже других, и поэтому со спокойной совестью можете не участвовать в общественных кружках. Пусть те, кто наслаждается этим обществом, чувствует блага этого общества, то пусть и занимаются благотворительностью. Одно знайте: учитесь получше, запасайтесь знаниями, читайте больше, чтобы быть в любую минуту готовым к борьбе за свое существование, а повеселиться можно дома с мамой. Ваше положение делает вас головою старше всего вашего класса. Примите же это как неизбежное, должное и смелое и с сознанием своего достоинства смотрите на все вокруг себя».

«Чаще всего человек есть со средними способностями и умом,

а крайности – великие умы, гении, таланты, с одной стороны, и идиоты – с другой. Общество, государство живет средними умами, выделяя их на руководящие роли по известным дарованиям, способностям и т. д. Все это создается самим человеком или его средой, ближними. Вы сможете и должны самым серьезным образом готовиться к выработке из себя человека незаурядного, действительно человека, который не только сам плывет по течению или плетется в хвосте, а впереди, руководя другими, зная не только для себя, но и другим указывая путь. Это не всегда легко, это чаще для человека создает большие огорчения, лишения, невзгоды, но это создает ему такое наслаждение, удовольствие, самоудовлетворение, которое не дает ни богатство, ни знатность».

«Будьте настойчивы в своих стремлениях, развивайте свою волю – это основное качество человека. Затем будьте мужественны и никогда не будьте трусами. Целая нация имеет историческую кличку трусов – евреи, из трусости потеряли они свою родину, государственность, из трусости не служат в армии, а если служат, стараются быть в тылу по хозяйству, зато все, что связано с трусостью, клеймится кличкой трус и т. д. Конечно, не все, может быть, но большинство из них безусловно таковы.

Есть нехорошая черта у русских – уступать нахальству, пасовать, как говорят. Это не нужно делать, наоборот. Нужно иметь гражданское мужество, активно возмущаться этим и поставить нахала на место. Есть еще одна черта у русских, нехорошая, какую я не хотел бы, чтобы она была у вас, – это излишняя приветливость. Мы любим без толку улыбаться и во время улыбки терять свой ум».

«Если не покажется скучным, почитайте политическую экономию, там у меня есть. Читать нужно понемногу, вроде занятий. По экономии в особенности интересны лекции мои студенческие: „История экономических учений“ Булгакова, – но сначала нужно прочитать политическую экономию, чтобы знать, о чем идет речь. Если покажется трудным, то, стало быть, еще не время вам сушить мозги. Там есть несколько книг Кропоткина. Только помните – не нужно свои мысли повторять вслух в школе, а уметь разбираться и уметь молчать где следует».

«Вы видите, я уж упомянул о заработке, вы еще дети, в общем, надо бы побольше видеться, а я все с вами проповедую то о серьезном отношении к учению, то теперь о заработке. Это, ребятки, потому, что жизнь резко изменила вам жизненный путь: мало того что вы живете впроголодь, но и здоровье у нас всех плохое, мы при таких обстоятельствах быстро состаримся, если не случится чего худшего. Поэтому вам придется жить

самостоятельно значительно раньше, чем при другом исходе этих обстоятельств».

«Вы знаете, я совсем не умею танцевать, не умею играть ни на одном инструменте, не умею кататься на коньках, не умею даже смеяться как следует. Почему? Да, очевидно, жизнь моя сложилась так, что этому учиться некогда было. Но я не сетую на жизнь за это, я заменил эти удовольствия тем, что жил всегда в союзе с идеей, я не понимал мещанского нытья и не мечтал о мещанском счастье, оно мне было чуждо совершенно. И если бы мне предложили мешок золота и „блаженную“ жизнь буржуя, при условии быть только обывателем, то есть не интересоваться общественной, политической, научной, я бы отказался, я бы просто не выжил в таком мещанском довольствии, настолько все это для меня чуждо, непонятно».

«Выступить на ваших уроках по обществоведению можно по некоторым вопросам, в которых нет резкой разницы между взглядами и партиями: например, социальное страхование, вопросы организации народного здравия и т. д. Можно читать по этому вопросу и высказать свое мнение – конечно, если вы его будете иметь. А если вас устрашает, то и помалкивайте».

«Сейчас так много нужно ученых, что знающих людей в вуз примут, только проявите себя как следует. Что вы не ударная группа, так это только хорошо. Музыка, как специальность, не сулит интересного: или учительница, или быть спутником в качестве аккомпаниатора артисту. Не интересно. Знать же музыку для себя, для удовольствия поиграть и отвлечься от житейских невзгод хорошо, поэтому не забывайте, а продолжайте играть».

«Я думаю, родные мои, политическую экономию вы поймете, у вас много преимуществ перед нашими временами в занятиях. Кое-что дает и обществоведение. Если вздумаете читать, то попробуйте Чупрова в моей библиотеке. Он прост, понятен, невелик. Напиши свое впечатление от этой книги, я по ней держал экзамен в коммерческий институт. Только понятия и формулировки политической экономии надо запоминать и разбираться. Если этот предмет окажется приятным, то потом прочитаете историю экономических учений. У меня лежит Булгаков, изложено хорошо и интересно. Конечно, ваш общественник будет рекомендовать других авторов».

«Когда человечество движется вперед, учась, просвещаясь, изобретая, то такое движение человечества называется прогрессом. Эти единицы-личности: глубокие по уму ученые, одаренные от природы талантом художники, писатели (Толстой, Гоголь, Есенин), композиторы, художники живописи, ваяния, зодчества. Их мало, совсем мало, кроме них этим занимаются, как

пустоцвет цветет, немало всяких, которые думают, что они личности, проводящие прогресс человечества, а на самом деле – жалкие подражатели, бесталанные, часто приносящие вред делу. Все остальные только подражают капиталистам для выгоды, барышей: барышни – чтобы понравиться, ваши учителя – чтобы выслуживаться, а особенно глуп ваш общественник со своими колхозами и всякой чертовщиной, да еще грозящий выбросить из ударной группы».

«Я на вашем месте за неделю отдыха прочитал десяток книг, которые стоят дороже ваших пустых времяпровождений. Сейчас при журнале… издаются произведения Короленко В. Г. Он не писал крупных вещей, но его рассказы содержательны. Достаньте и почитайте».

«Теперь о советах моих вам. Мне особенно хочется, чтобы из вас получились настоящие люди, интеллигентные, серьезные, умные. Поэтому я с большой осторожностью смотрю за каждым вашим шагом. Вы должны быть достаточно серьезными в своем поведении, и я не сомневаюсь в этом. Но я много наблюдал за молодежью современной, комсомольской, и она мне не нравится. Нравы слишком распущенны. Много нехорошего среди них, об этом и в газетах попадается часто ряд всевозможных сообщений. Ваши воспитатели (если они только есть) имеют нездоровый уклон, к сожалению, его не желают замечать, уделяя чересчур много общественному и политическому воспитанию (обработке) молодежи, они забыли основное – человеческую личность, ее цельность, а их общественность значительно ниже среднего».

«Эти коми-комики опять для себя ничего не хотят делать. Еще чувствуется их дикарство на каждом шагу. Полуварвары, как говорят немцы про нас. Зато скоро сразу сделаемся сверхцивилизованными. Как бы только история не подшутила над этим экспериментом».

«Я вспоминаю, года два тому назад в ваши дни рождения у вас бывали подруги-гости и вы весело проводили время, а теперь не то. Как изменилось время для нашей семьи. Ну да вы и это должны понять и не иметь обид на свою судьбу. Ведь это не случайность, не исключительное явление, а, пожалуй, обыденное. Не нужно забывать, что мы переживаем время, которое в жизни нации появляется раз в несколько столетий. Уж интересно и то, что вы живете именно в это время, ведь потом для вашей будущей жизни эта эпоха будет чрезвычайно интересна по воспоминаниям».

Отец – младшей дочери Нине

«Я не то что старею духом, но как-то чувствую себя лишним, вернее, посторонним от этой жизни, хотя мне и больно от этого,

так как вся моя жизнь была крепко связана с этой жизнью и народом. Связав с ним всю свою судьбу, я должен нести и всю ответственность за его удачи и неудачи».

«Ты читала „Спартака“, а ведь интересная книга, главным образом она интересует меня с исторической точки зрения, так же как и „Камо грядеши“ Сенкевича. Очень советую прочитать и ее. В грубости римлян особенно упрекать нельзя, тогда ведь века такие были. Если сравнить теперешний мордобой (бокс) и проч. вещи, а также и нравы, и вообще всю действительность, то это совсем дико, если б не было фактом. А современное каннибальство у нас во время голодовки – это что-то вроде атеизма, и в то же время полное равнодушие и безразличие общества к этим безобразным фактам современности. Наблюдая тебя последние годы и сейчас, я вижу много своего в молодежи моей».

Письма детей Рыбину С. Ф. [47]

Старшая дочь Ольга – отцу

<24 июля 1930>

«Дорогой папочка!

Дни идут за днями, а от тебя нет ни письма, ни открытки. После приезда мамы мы от тебя ничего не слыхали. Ты уже давно должен получить письмо, в котором мы тебя извещаем, что едем в Москву. Это было давно, так что говорить о том, что твои письма идут в Родионово, нельзя. Впрочем, папочка, причину твоего молчания легко найти ввиду дальности расстояния, лежащего между Москвой и Усть-Сысольском. А у нас, папа, новость: Ленин прислал письмо, в котором пишет: „Милые детки! К концу пятилетки приходите все ко мне“. Да, папочка, это последний политический анекдот, который дошел до нас.

На первом плане нашей теперешней жизни, полной свободного времени, стоит музыка. Ей мы с удовольствием посвящаем многие часы. Разучивая пьесы и этюды, повторяя старые и разбирая новые, мы проводим за пианино (мы живем в тетиной квартире и потому нашим роялем не пользуемся) добрую половину дня, а если прибавить еще Нину, то музыка звучит постоянно и замолкает только на небольшие промежутки. Ниночка, как ты, наверно, уже слыхал, берет у меня уроки. У нее очень большое желание учиться, уроки она учит хорошо и сдает мне их через каждые два дня. Об успехах говорить нельзя, так как времени прошло немного, но учит уроки Ниночка добросовестно. Это меня радует.

Гуляем мы мало, что больше говорит о нашей лени, чем о плохой погоде. Погода неровная, жара сменяется холодом и наоборот, бывают дожди, солнышко улыбается редко, но зато метко, то есть палит беспощадно. С продовольствием в Москве все хуже и хуже. Очереди всюду, даже за луком, а перед палаткой постоянно стоит хвост из людей, даже если еще не известно, что будут что-нибудь давать. Мы часто обед берем из столовой. Но мы-то сыты, а вот собак кормить нечем. Кстати, Муська скоро принесет нам щенят, что, конечно, не очень радостная весть.

До школы остался ровно месяц, а мы уже намечаем план на будущие работы. Мы решили порвать связь со всеми кружками, всецело отдаться учению, чтобы осилить курс седьмой группы в полгода, что весьма сомнительно, а свободное время отдавать

музыке. План короток и ясен, но не так легко его выполнить. Мне лично трудно забыть кружки, и в то же время это сделать необходимо, так как они очень отвлекают от занятий.

Писать больше нечего, новостей нет, а потому крепко тебя целуем. Остаемся Ляля и Женя. От Нины и мамы привет. Привет от бабушки.

Сейчас получили от тебя письмо, в котором ты отвечаешь на наши вопросы. Мое письмо тебе будет неинтересно, так как, несмотря на уговор, Нина написала тебе много одинакового. Ляля».

<22 января 1931>

«Дорогой папочка!

У нас уже начались каникулы, которые будут продолжаться с двадцать первого по двадцать восьмое включительно. Каникулам все, в том числе и я, несказанно рады. За последние учебные дни мы порядком устали, так как были загружены зачетными заданиями и ложились спать не раньше двенадцати часов ночи. Теперь мы отдыхаем, часто бываем на катке, только не на своем, так как наш каток бесплатный, а следовательно, запущен и гадкий, да и не может быть хорошим, если няньки и родители катают там на санках своих детей.

Погода до сих пор, исключая сегодняшний день, стояла замечательно теплая, с массой осадков. Сегодня заметное усиление мороза, и снег уже не идет. Небо ясное, голубое; негреющие лучи солнца играют в снегу изумрудными блестками; небольшой пронизывающий ветерок сбрасывает с крыш тысячи мелких снежных пылинок и, кружа, опускает их на землю; а с крыш, облипая водосточные трубы, сползают огромные сосульки, напоминающие о весенних днях. Сегодня я тоже пойду на каток.

Вторая четверть окончилась для нас так же благополучно, как и первая, то есть по всем предметам удовлетворительные отметки. Дорогой папочка, нашу группу постигло большое несчастье: нас раскассируют, то есть разбрасывают по другим седьмым группам. Группа наша – первая в школе, и многим преподавателям жалко так ее уничтожать, но математик и обществоведка ненавидят нашу группу – так же, как и она их. Ребята на этих уроках страшно бузят и не раз срывали их, что значит, что учитель прерывал урок и покидал класс. Конечно, поступки такие называются хулиганством, и мы терпим должное наказание. Мы и наши три подруги, да еще некоторые страдаем, конечно, за всех, так как участие в срыве уроков никакого не

принимали, да и со всеми преподавателями мы в хороших отношениях. Хотя между ребятами нашей группы особой дружбы не существует, все-таки жалко расставаться друг с другом. Ведь учились вместе с некоторыми с первой группы.

Но это неважно. В других группах состав еще лучше нашей, но главное, что все группы значительно слабее нашей и нам в них будет очень скучно. Впрочем, сейчас это утверждать еще рано, а когда нас раскассируют, время покажет.

Дорогой папочка, получил ли ты письмо, в котором я писала тебе о путешествии в деревню по поводу перевыборной кампании? Должно быть, его не пропустили, иначе ты должен был ответить на него. А не пропустить было из-за чего, так как я писала в нем о теперешнем состоянии деревни.

Пока, крепко тебя целую. Целуют тебя Женя, Нина и мама. От бабушки привет. Ляля».

< 19 июня 1931 >

«Дорогой папа!

Завтра мы получим аттестаты, удостоверение о том, что мы кончили седьмую группу. Я получила от тебя письмо, в котором мы пишешь о многом так, что уже разъяснилось или приняло другой оборот. Теперь ты, наверно, уже получил письмо от Жени и знаешь, что мы в лагерь не приняты. Больше пока не предвидится иного дачного места, и мы уже свыклись с мыслью, что должны провести лето в Москве. Впрочем, это меня особенно не огорчает, так как, благодаря небольшому расстоянию до реки, мы каждый день можем ходить на Воробьевы горы, чем и пользуемся. Кроме того, в Москве мы можем читать много книг, что не могли бы делать на даче, так как не у всякого имеется такая библиотека, как у Рогозиных.

Дорогой папуся, а погода у нас стоит, можно сказать, шикарная, так досадно, что мы еще не начали купанье в реке. За длинный знойный день все успеют утомиться от жары, и люди, и животные, и растения, а так кстати бывает дождик, который смочит всю пыль, наполнит влагой сухую почву и вообще освежит все и всех. Сейчас идет дождь, долгий и скучный. Но весьма вероятно, как это часто бывает, лив всю ночь, он перестанет к утру. Мы долго пробыли сегодня на Воробьевых горах, но на обратном пути нас захватил дождь. Не беда, немного намокли.

Папочка, вместе с аттестатами каждому ученику была составлена характеристика. Составляла характеристику у нас в группе небольшая кучка ребят – пионеров-активистов. Эти

характеристики принесли многим массу неприятностей. Моя характеристика была приблизительно следующего содержания: учится хорошо, дисциплинированна, посещаемость хорошая (пока, как видишь, ничего, но чем дальше – тем хуже), общественной жизнью школы не интересовалась, аполитична, чужда пионерской организации и проявляются обывательские настроения.

Эта характеристика возмутила нас и наших товарищей, но на педагогическом совете два последних пункта (самые щекотливые) были сняты. Теперь я почти спокойна. У Жени характеристика ничем не отличается от моей. В общем, наши товарищи-пионеры перегнули палку и слишком увлеклись своей ролью – и никому, кроме них самих, не написали хорошей характеристики. Я считаю, что и характеристика, и аттестат, в сущности, вещь пустая, так как знания от них не прибудут. Ведь, в сущности, все наши ребята-общественники хотя и имеют хорошую характеристику в смысле общественной жизни, но по знаниям куда ниже нас. Скажу тебе, что технические науки мне нравятся куда больше, чем гуманитарные, так что мои наклонности до некоторой степени определились.

Дорогой папа, мне очень стыдно перед мамой за мой характер. Ясно, что за последнее время мама мной очень недовольна. Например, сейчас уже двенадцать часов ночи, я пишу тебе письмо, а мама просит вымыть посуду. Я отказываюсь из-за желания кончить письмо, чтобы оно не валялось, как некоторые. Мама на меня рассердилась, я знаю, что я виновата и поступаю нехорошо, но исправить не могу. Крепко целую. Помоги мне, как можешь, в моем старании быть в мире и согласии с мамой. Ляля».

<6 октября 1931>

«Дорогой папочка!

Курсами я очень довольна. Занятия начались серьезные, и теперь действительно нет свободной минутки. Весь сегодняшний день я провела за занятиями, а ведь это мой выходной. Особенно с рвением и охотно взялась я за изучение английского языка и немецкого. При таком желании, как у меня, всегда можно достичь благоприятных результатов, и я уже могу пускать в разговор целые английские обороты, что является сравнительно большим результатом за такой короткий срок (ведь не прошел еще месяц).

Педагоги у нас хорошие, уроков задают не стесняясь, а среди курсантов есть плохие и хорошие, но тупых учеников как будто бы нет, если не считать одного парнишку. С новой обстановкой

мы освоились с первого дня, а так как мы учимся в помещении месткома, который работает вечером, мы свободно можем пользоваться книгами, образующими рядом полок сравнительно хорошую библиотеку. Недавно я записалась в центральную Ленинскую библиотеку, бывшую Кумановскую, которую ты, наверно, помнишь.

Москва изменилась сравнительно немного, но все-таки изменилась. Количество асфальтированных улиц значительно увеличилось, сама Москва постепенно расширяется, застраиваясь на окраинах новыми домами-коробками теперешней архитектуры, вроде нашей Усачевки. По московским улицам носятся трехвагонные трамваи, что почти не уменьшает обычной трамвайной давки. Население быстро увеличивается. У Каменного моста, по ту сторону реки, в так называемом районе Болота, стоит новый десятиэтажный гигант дома Советов со всевозможными удобствами, которыми ясно кто может пользоваться. А наряду с новым строительством рушат последнее старье. Не говорю о маленьких церквушках, но такая же участь постигла знаменитый храм Христа Спасителя, музей чудесных картин великих художников и верный маяк Москвы, золотой купол которого виден со всех окраин Москвы. Купола почти сняли, уже принялись ломать стены.

У нас на Усачевке увеличивают зеленые насаждения, перед домами выросли ряды молодых деревьев. Вот и все известные мне изменения Москвы. Забыла сказать о звуковом кино. Это крупное нововведение Москвы, вещь поистине инженерная и до сих пор не сходит с экрана. Кто не знает „Путевку в жизнь“? Ее смотрят по два-три раза, и я пойду когда-нибудь второй раз.

Папуся, наши курсы дают хорошую подготовку для музейных работников, но они не ставят задачей, как говорил заведующий курсами, делать из нас музееведов, а главная их задача – поставить и дать дорогу к высшему учебному заведению, который является главной целью моей жизни.

Милый папа, если я сейчас лягу спать, то посплю только шесть часов, так как сейчас один час ночи и я встаю в семь часов, а потому спешу кончить письмо, ибо чувствую я себя прескверно, голова побаливает. Бедная мамуся сегодня опять пришла поздно, она теперь очень устает, в чем сознавалась сама. Нина совсем выздоровела и уже второй или третий день ходит в школу.

Крепко тебя целую. Привет от бабушки. Нина, мама, Женя целуют тебя. Ляля».

<21 февраля 1937>

«Дорогой папа!

Так хочется знать что-нибудь о тебе! Как твое здоровье и нет ли ухудшения в твоем зрении? Твои глаза нас очень беспокоят, тем более что сейчас ты не можешь продолжать свое лечение.

Уже три раза мы посылали тебе денег, по тридцать рублей каждый раз. Получаешь ли ты их, хватает ли тебе денег или, может быть, остаются – все это является для нас неизвестностью.

Несмотря на то что больше мне хочется знать о тебе, нежели писать о нас, придется выбрать второе. Уже больше половины февраля прошло, а дипломная работа[48] подвигается очень медленно. Всех нас охватывает опасение, что мы не успеем справиться со всеми заданиями к двадцать первому июня. Кроме того что наш диплом требует тщательного подбора материала, хождения по музеям, изучения орнамента все видов (как толчок для возникновения своей идеи), наступит момент так называемый технический – тщательное выполнение на бумаге (махровой ткани и ковре), и эта часть требует огромного времени. Особенно мне надо спешить с махровой тканью, которую надо продвинуть в производство, а последнее, как выяснилось на практике, требует своего времени. Практика моя прошла хорошо.

Женя участвовала в олимпиаде (ставили „Цыгане“ Пушкина), почему задержала свою практику. На нескольких пушкинских вечерах она читала стихи Пушкина, и с большим успехом. Это порядочно отвлекает от занятий.

Я узнала, что на диплом первой степени могут претендовать те из студентов, у кого не менее семидесяти пяти процентов „отлично“ по всем предметам. Этого нам бояться нечего. У меня „отлично“ наберется процентов на девяносто (по последнему постановлению о высшей школе „хорошо“ считается за „отлично“, так как в данный момент отметка „хорошо“ упразднена). Конечно, это не значит, что я не могу получить и двадцать седьмую степень.

Мама здорова, работает по-прежнему много. Ниночка все время занимается или читает – серьезный человек.

Целуют тебя все крепко. Береги зрение. Оля».

Старшая дочь Евгения – отцу

<16 ноября 1930>

«Здравствуй, дорогой папочка!

Я тебе (через Лялю) обещала написать свои впечатления о дне тринадцатой годовщины Октябрьской революции, 7 ноября. Совсем другую картину представляет этот праздник в сравнении с

прежними годами. Нет былого энтузиазма и веселья в рядах демонстрантов. Многие из последних идут не по собственному желанию, а по принуждению (во избежание черной доски или позорного столба). Мы с нашей (вернее, маминой) организацией – „Рабочая Москва“, поплутав по шумным, возбужденным улицам часа четыре, прошли на Красную площадь, где с мраморной трибуны нас приветствовали делегаты (Сталин, Ворошилов, Буденный и др.). Но на их приветствия демонстранты отвечали очень слабым „ура!“. Вечером Москва сияла множеством ярких огней, но все же иллюминация даже против прошлого года была слаба. Вероятно, советская власть экономит электричество, а то к концу пятилетки эту энергию будут выдавать по карточкам. Ну, пока прощай. Женя. Целуем все!»

<29 декабря 1930>

«Здравствуй, дорогой папочка!

Давненько я тебе не писала. Правду сказать, я порядком устаю после школы, а тут еще уроки. Папочка, с 1 по 10 января вся наша группа будет работать в типографии, так как в программу ФЗС (фабрично-заводской семилетки) входит производственная практика. Плохо только то, что у нас в этот период совсем не будет выходных. Каждый день мы будем три урока учиться (с девяти до одиннадцати часов) и три часа работать (с двенадцати до трех часов). Работать в типографии очень вредно. Весь воздух насыщен мелкой свинцовой пылью, которая разлагает наш организм (конечно, если работать целыми днями, и не десять дней, а больше). Следующая производственная практика у нас будет, вероятно, в марте, а затем в мае. Всего тридцать дней за год.

Папочка, завтра мы идем на профотбор. Там будет физический осмотр, а также и психиатрический. Идти в амбулаторию очень и очень не хочется. На улице сильный мороз. Конечно, для тебя, жителя Севера, это не называется холодом. Ну а нам непривычно. В лицо дует холодный, колючий ветер; щеки, нос, подбородок становятся ярко-красного цвета и горят как в огне; брови и ресницы и волосы, выбившиеся из-под шапки, покрываются инеем. Даже такое короткое расстояние, как от дома до трамвая, мы с усилием пробегаем. В школе все время идет волна зачетов. То опрос или проверочная по одному предмету или по другому. Не успеваешь отдохнуть. Но пока у нас все благополучно. Надеюсь, что так же будет и в будущем.

Папочка, за рояль мы почти не беремся. Спать ложимся

поздно и, конечно, совсем почти не гуляем. Каток у нас откроется с 1 января. А недавно мы ходили на каток на Девичку, где с наслаждением покатались. Но после этого удовольствия у меня теперь довольно сильный насморк. Катались в фуфайках (шуба очень тяжелая). После теплого воздуха теплушки нас неожиданно охватил холодный ветер – вот и простудилась. Ну это только с первого раза, а потом, как говорится, обвыкнемся.

Папочка, а в магазинах Москвы сейчас всего-всего много: ветчина, колбаса, сыр и всевозможные другие продукты. Народу толпится порядочно, конечно, больше любопытных, чем покупателей. Шутка ли, все дают без карточек. А цены совсем недорогие: раз в десять больше нормальных. Например, сосиски стоят десять рублей кило. Очень дешево.

Надо только удивляться, что мало находится покупателей, а кругом слышны жалобы, что ничего-де в Москве нет, даже капусты, а картошка наполовину гнилая. Но все же ничего. Как-нибудь до конца пятилетки доживем. А там, конечно, всего будет вдоволь. Ну, пока прощай. Крепко целую. Женя».

<13 февраля 1931>

«Здравствуй, дорогой папочка!

Сегодня получили от тебя письмо на Лялино имя. Папа, вот уже несколько дней, как мы работаем в новой группе и уже почти свыклись с ней. Дисциплина в этой группе совсем не лучше, чем была в прежней нашей. Здесь в классе стоит почти постоянный легкий гул от разговоров ребят, что часто очень лишает возможности слушать объяснения педагога. По учебе же против прежней группы (она была самая сильная из всех седьмых) эта довольно слабая, особенно по физике. Еще большой минус от раскассирования группы – то, что теперь у нас почти все учителя новые, совсем незнакомые нам.

По географии учитель мне очень нравится. Сегодня был его первый урок. Он прошел так живо и ярко. Этот учитель сумел заинтересовать ребят. У него совсем отброшен книжный метод преподавания (работа по книге), и мы исключительно сами разбираемся по карте (читаем ее) или он нам рассказывает. Последнее очень увлекательно.

Папочка, меня немножко затрудняет решение вопроса, что мы будем делать по окончании семилетки. Нам многие советуют идти в ФЗУ. Тогда дорога в вуз будет открыта, так как мы выйдем квалифицированными рабочими. В противном случае, если мы и попадем в техникум, желательный нам, то о вузе думать и нечего.

Вообще, теперь детям служащих на жизненном пути встречается масса затруднений, совсем не касающихся детей рабочих. Папочка, влечение к химии у меня еще не кончилось, хотя в некоторой степени уменьшилось, так как новая учительница совсем неинтересно преподает, а отчасти от преподавателя зависит внушить ученикам любовь к своему предмету, в данном случае к химии.

Папа, мы послали тебе посылку, и там от меня тебе подарок. Получив ее, напиши и как следует покритикуй последний. С интересом буду ждать ответа. Папочка, за рояль мы беремся редко (особенно за последнее время), и не потому, что нет времени. Просто все игранные вещи нам страшно надоели, а что купить новое, не знаем. Ну, пока прощай. Крепко целую тебя. Ляля, мама и Нина также. Привет от бабушки. Твоя Женя».

<Декабрь 1930>

«Здравствуй, дорогой папочка!

Сегодня у нас выходной день. Но последнее время в дни отдыха у нас не меньше работы, чем в будни. Сейчас в школе пошли зачеты (по русскому, географии, химии, немецкому, обществоведению и др.). Пока дела идут у нас благополучно.

По обществоведению мы уже начали новую тему, в проработку которой входит политэкономия. Мы в школе работаем по Леонтьеву (он пишет более легким языком, хотя сокращенней, чем Богданов), в твоей же библиотеке политэкономию Богданова мы все же в свободное время (которого сейчас совсем не имеется) прочтем.

Папочка, я думаю, ты не винишь нас за долгое молчание. Даже музыку мы теперь почти забросили. Папочка, вчера получили от тебя двадцать пять рублей, и как раз вовремя. У нас туфли вдрызг порвались, и сегодня мы идем покупать новые (лучше, конечно, ботинки, но едва ли они теперь существуют). А погода сейчас дрянная – сырость, грязь. Сегодня нам утром нужно было со школой идти на субботник, но мама нас, к счастью, не пустила, так как в такую погоду, разгружая картошку, очень легко простудиться, а у нас и так кашель и насморк. Ну, пока прощай, крепко целуем. Женя».

Младшая дочь Нина – отцу

<Июль 1930>

«Дорогой папочка!

С Москвой мы уже свыклись, и к тому же у нас не так уж плохо. Среди наших домов сделают скоро сквер, есть где погулять. Правда, мы гуляем мало, все сидим дома, играем на рояле, читаем, помогаем бабушке. Папа! Сейчас мы не купаемся – погода мешает: чуть не каждый день дожди. Вот собаки часто купаются, им все нипочем. Мама приходит позднее обыкновенного, так как на службе много работы и ей приходится часа на полтора оставаться. Я жду не дождусь, когда наступит ее выходной, уж очень хочется с ней погулять. Папуся! Мама говорит, что ты постарел, а мне что-то не верится, я никак не могу себе представить, какой ты сейчас, мне кажется, что ты все такой же. Ну, прощай. Да, папа, я и забыла тебе одну вещь написать. Знаешь, на днях от Ленина пришло письмо, где он пишет: “Милые детки, к концу пятилетки приходите все ко мне. Владимир Ильич”. Целую. От бабушки привет. Нина».

<6 декабря 1930>

«Дорогой папа!

Почему думаешь, что я бросила заниматься ботаникой, я просто это время не писала тебе о цветах. Я читала „Детство и отрочество“ Вольного. И „Детство“ Горького, а Толстого не читала ни одного рассказа. Вот я попрошу, чтобы мама принесла мне Толстого.

Папуся! В школе эти дни мы все пишем о перевыборах Советов, и вообще на обществоведение учительница обращает больше всего внимания. Велит все написанное знать и уметь рассказывать, а если б ты знал, как все это надоело, опротивело даже. Вроде закона Божьего. Сегодня все четыре урока писали. Мне очень хочется выучиться говорить на каком-нибудь иностранном языке, очень жаль, что в школе его не проходят. Ну прощай, целую. Женя, Ляля, и мама тоже. Бабушка шлет привет. Нина».

<7 ноября 1931>

«Дорогой папочка!

Вот и каникулы настали, а у Жени и Ляли будут в январе на двадцать дней. Сегодня мама на демонстрацию не пошла и помогает бабушке печь пирожки. Зато Женя и Ляля пошли. Вчера они получили жалованье и, представь, отдали все бабушке. Мама

очень рада, так как расходы на них уже отпадают и ей будет легче. Теперь осталась очередь за мной, но я торопиться не желаю, хоть иногда бывает немного обидно. Пойдешь ли ты на демонстрацию?

У нас сейчас ужасно нехорошая погода: сыро и туман. Через наше окно не видно линии и Воробьевых гор из-за него. А у тебя, наверно, уже зима. Ну прощай, целую, мама и девочки тоже. Привет от бабушки. Нина».

Послесловие

В марте 1937 года школьница Нина Луговская была арестована, и многие выдержки из ее дневника, подчеркнутые следствием, стали главным обвинением ей как *«участнице контрреволюционной эсеровской организации».* Вместе с Ниной по тому же обвинению были арестованы ее старшие сестры Евгения и Ольга, а также их мать Любовь Васильевна Луговская.

Самой Нине дополнительно было предъявлено более серьезное обвинение – *«подготовка террористического акта против Сталина»,* – представленное следствием как акт мести за отца. И оно подтверждалось ее собственными записями в дневнике:

«Несколько дней я подолгу мечтала, лежа в постели, о том, как я убью его[49]*. Его обещания, диктатора, мерзавца и сволочи, подлого грузина, калечащего Русь… Я в бешенстве сжимала кулаки. Убить его как можно скорее! Отомстить за себя, за отца»* [24.03.1933].

Такими резкими высказываниями, непримиримыми по отношению к большевикам и политике советской власти, переполнены страницы дневника девочки-подростка. Чтобы понять причины подобного неприятия официальной власти, а также предопределенность жизненного пути Нины, в отличие от судеб многих и многих тысяч невинно репрессированных в период 1937–1938 годов, следует подробно рассказать о ее родителях – Любови Васильевне Самойловой и Сергее Федоровиче Рыбине.

* * *

Любовь Васильевна родилась в 1887 году в Малом Архангельске Курской губернии, в семье сельского учителя. Окончив ливенскую гимназию, в 1909 году поступила на Высшие женские курсы в Москве и получила профессию педагога. С 1914 года стала преподавать математику в школе в Тульской губернии. Здесь она и познакомилась с будущим мужем С. Ф. Рыбиным.

Сергей Федорович Рыбин родился в 1885 году в деревне Дедилово (Луговская слобода) Богородицкого уезда Тульской губернии, в крестьянской семье. После окончания начальной

школы серьезно занимался самообразованием, позднее прослушал курс Московского Коммерческого института. В 1900-е годы вступил в партию эсеров и за активную работу четыре раза привлекался по политическим делам. В начале 1910-х годов освободился из сибирской ссылки и вернулся на родину. В 1914 году Сергей Федорович и Любовь Васильевна вступили в гражданский брак, а 25 октября 1915 года в семье родилась двойня – девочки Ольга и Евгения.

С началом Февральской революции Сергей Федорович активно включился в политическую деятельность, стал членом Исполкома Всероссийского совета крестьянских депутатов, участвовал в Демократическом совещании и был избран в Предпарламент. Тогда же супруги вместе решили взять общую фамилию – Луговские, связанную с Луговской слободой, местом рождения Рыбина, при этом его фамилия стала двойной, Рыбин-Луговской.

С победой Октябрьской революции Сергей Федорович продолжил активную работу в партии, был избран на съезде Советов Северной области в областной комитет, на Втором Всероссийском съезде Советов крестьянских депутатов переизбран в Исполком, затем стал членом объединенного ВЦИКа, исполнял также обязанности одного из редакторов газеты «Голос трудового крестьянства».

С конца ноября 1917 года[50] Сергей Федорович стал активным членом партии левых эсеров, участвовал во всероссийских съездах Советов, избирался членом ВЦИК 3-го и 4-го созыва и был делегирован левоэсеровской фракцией в ВСНХ[51]. Будучи делегатом V Всероссийского съезда Советов, подвергся аресту, а после IV съезда партии был избран в члены ЦК. В конце 1918 года Сергей Федорович принял участие в работе Экономического отдела при ЦК, активно вел партийную работу в Петрограде.

Весной 1918 года, в связи с переездом правительства, семья перебралась в Москву, и здесь 25 декабря 1918 года родилась младшая дочь Нина. Через два месяца, 11 февраля 1919 года, Сергей Федорович в числе других руководителей и активистов партии левых эсеров был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. После освобождения он примкнул к легалистскому крылу партии, занимавшему лояльную позицию в отношении к большевикам и выступавшему за участие в социалистическом строительстве. Из-за начавшихся трений в ЦК в октябре 1920 года вошел в состав группы товарищей, призвавших своих сторонников собраться на Всероссийское совещание, позднее включился в работу объединенной партии левых эсеров.

В конце 1920 года семья выехала в Сибирь, и лишь в начале 1922 года Сергей Федорович вернулся в Москву с младшей дочерью, временно поселившись в квартире матери жены. Как экономист, он активно поддержал политику перехода к НЭПу и вскоре принял участие в создании артели булочников «Вольность труда», основанной на кооперативно-синдикалистских принципах. Любовь Васильевна со старшими дочерьми задержалась в Сибири, работая в детдоме, пока в столице решался вопрос с жильем для всей семьи.

В апреле 1923 года по суду артель была закрыта, и Сергей Федорович с группой единомышленников принял активное участие в открытии первой пекарни «Трудовая вольность». Первые три месяца никто из учредителей жалованья не получал, наоборот, *«когда не хватало денег для покупки муки, продавали последнее барахло из дома».* Заработок каждого артельщика в то время составляли паек (1–1,5 кг хлеба на семью) и общий артельный стол.

К августу того же года, когда был зарегистрирован устав артели, в двух пекарнях с магазинчиком под той же вывеской уже работало около семидесяти человек. Сергей Федорович работал председателем правления артели, совмещая также обязанности члена ревизионной комиссии Москопищепромсоюза. Вскоре семья воссоединилась, а с сентября 1925 года, когда старшие дочери пошли в школу, Любовь Васильевна стала работать в артели счетоводом, совмещая обязанности библиотекаря и члена культкомиссии. В семье серьезно относились к воспитанию дочерей, которые занимались музыкой и живописью с преподавателями, приходящими на дом, спорт был также обязателен.

К 1928 году в артели «Муравейник» – в открытых к тому времени семи пекарнях, девятнадцати магазинах и на одной кондитерской фабрике – работало уже 393 человека. При артели существовали бесплатная столовая, парикмахерская, школа, библиотека, театральный кружок, покупались билеты в ложи театров, постоянно отчислялись деньги в поддержку политзаключенных, находящихся в тюрьмах, лагерях и ссылках.

В конце 1928 года Сергея Федоровича вызвали в Москопищепромсоюз и предложили ввести в состав правления нескольких членов партии большевиков. Он категорически отказался. Его вызывали еще дважды, и в последний раз предупредили, что, если он не примет в артель нужных людей, ее закроют, на что взбешенный Рыбин заявил: «Ну и черт с вами, закрывайте!»

7 января 1929 года Сергей Федорович вместе с большой

группой артельщиков был арестован и заключен для дальнейшего следствия в Бутырскую тюрьму; 9 марта 1929 года вместе со всеми арестованными он был приговорен к трем годам ссылки в Северный край и отправлен в Усть-Сысольск. Любовь Васильевна сразу же была исключена из членов артели как жена ссыльного, но позднее по суду добилась своего восстановления, после чего уволилась из артели уже по собственному желанию.

Она устроилась работать заведующей учебной частью в школе для взрослых при типографии «Рабочая Москва». Семья стала жить очень трудно: зарплаты Любови Васильевны (100 рублей) не хватало даже на то, чтобы прокормить семью, да и выдавали деньги с опозданиями, поэтому она постоянно занимала у родных и знакомых или же брала в долг в кассе взаимопомощи. В августе 1930 года Сергею Федоровичу удалось устроиться в Усть-Сысольске на работу, но при всем желании он мог помогать семье лишь небольшими суммами – от 25 до 50 рублей.

Все свободное от работы время Любовь Васильевна посвящала бесконечному поиску продуктов, отстаиванию вместе с детьми громадных очередей, с тем чтобы отоварить талоны на продукты и как-то прокормить семью. С возмущением сообщала она мужу о том, что они получили талоны самой низкой категории:

«Мы, служащие, получили 4-ю категорию, учащиеся, дети служащих до 18 лет, тоже 4-ю, а учащиеся, дети рабочих, 2-ю категорию. Додумались молодцы, вероятно, пришли к научному заключению, что дети, родители которых несут умственный труд, нуждаются в уменьшенном питании по наследству»[52].

С начала 30-х годов ухудшилось положение и с товарами первой необходимости, которые также выдавались только по талонам: одежда, обувь, мануфактура. Причем ежемесячные талоны отоваривались сначала для рабочих – ударников труда, потом для простых рабочих и лишь в последнюю очередь, если что-то оставалось в магазине, – для служащих, поэтому у последних талоны практически всегда пропадали.

Любови Васильевне приходилось продавать в комиссионных магазинах свои и мужа вещи, чтобы купить подрастающим девочкам одежду и обувь в коммерческих магазинах, намного при этом переплачивая. К тому же ей надо было постоянно поддерживать мужа в Усть-Сысольске, посылая туда крупы, сухари, консервы, а также одежду и обувь.

В январе 1931 года, чтобы расплатиться с долгами, Любови Васильевне пришлось взять на дом договорную сдельную работу и до поздней ночи сидеть над отчетами[53]. Описание быта,

бесконечных ежедневных проблем добывания продуктов и товаров и их возрастающей дороговизны занимает большую часть в письмах к мужу:

«С питанием у нас сейчас дело плохо: нет мяса, нет масла, и решили заговеть на молоке, так как кружка уже поднялась до 50 копеек, масло по 10 рублей тоже не покупаем, а мясо в этом месяце выдали только за 2 дня…»

«Купили сегодня конины – цена доступная, 1 рубль за кило, завтра сделаем тушеное мясо. Дети протестуют: „Не будем есть“. Ничего, с голоду поедят…»

«Работаю по-прежнему много, иногда до помутнения мозгов…»

«Мой добавочный заработок пойдет главным образом на покрытие долгов…»

«На мое жалованье 175 рублей[54] *прожить трудно, невозможно просто…»*

Осенью 1931 года Любови Васильевне стали помогать старшие дочери, выполняя за нее надомную работу, о чем она с гордостью сообщала мужу в декабре:

«Итак, папа, мы дождались помощников. Ляля и Женя вместе зарабатывают 90 рублей, почти мой заработок»[55].

Больше всего ее как мать волновало то, что занятость до позднего вечера в будние дни и многочасовые поездки по городу в поисках продуктов и одежды в выходные отнимают у нее все свободное время, что дети совсем заброшены, о чем она очень переживала и с горечью писала мужу:

«Моего влияния за последние месяцы не было, так как сдельная работа меня совершенно оторвала от дома и детей. А этот возраст особенно требует разумного влияния…»

«Мне иной раз кажется, что они совсем стали чужими…»

Девочки редко писали отцу, ссылаясь на занятость, рассказывали в письмах об успехах в школе, о занятиях музыкой и спортом, о прочитанных книгах и спектаклях в театрах, просили совета, что им делать по окончании семилетки. И Сергею Федоровичу многое не нравилось во времяпровождении дочерей, его очень волновало, что они в сложный переходный период оказались без твердого руководства отца, и он пытался хотя бы в письмах повлиять на них, донести свое мнение:

«Одно знайте – учитесь получше, запасайтесь знаниями, читайте больше, чтобы быть в любую минуту готовым к борьбе за свое существование, а повеселиться можно дома с мамой. Ваше положение делает вас головою старше всего вашего класса, примите же это как неизбежное, должное и смелое и с сознанием своего достоинства смотрите на все вокруг себя…»

«Относитесь ко всему критически, проверяйте, не берите на

веру, выясняйте в других книгах, о своих сомнениях напишите мне, и я отвечу вам всегда охотно…»

«Будьте настойчивы в своих стремлениях, развивайте свою волю – это основное качество человека. Затем будьте мужественны и никогда не будьте трусами…» «Мне особенно хочется, чтобы из вас получились настоящие люди, интеллигентные, серьезные, умные. Поэтому я с большой осторожностью смотрю за каждым вашим шагом…»[56]

В семье политикой интересовалась в основном младшая дочь Нина, но говорить с сестрами или с матерью на подобные темы у нее не получалось, поэтому свои впечатления от происходящего в стране, разговоры и споры с сестрами, отношение к школе и учителям, к нынешнему студенчеству она описывала в дневнике. Приведем некоторые выдержки из него:

«Я никогда не могу согласиться с сестрами, признающими в настоящем строе социализм и считающими теперешние ужасы в порядке вещей…» [04.07.1933].

«Разве можно сравнить бывшее студенчество с теперешним? Есть ли какое-нибудь сходство между грубыми, в большинстве случаев совершенно неразвитыми людьми, способными из-за малейшей выгоды на всякую подлость, с полными жизни, умными и серьезными, готовыми в любую минуту пострадать за идею молодыми людьми прошлого века…» [08.07.1933].

«Странные дела творятся в России. Голод, людоедство… Многое рассказывают приезжие из провинции. Рассказывают, что не успевают трупы убирать по улицам, что провинциальные города полны голодающими, оборванными крестьянами…» [31.08.1933].

«Даже школы – эти детские мирки, куда, кажется, меньше должно было бы проникать тяжелое влияние „рабочей“ власти, не остались в стороне. Отчасти большевики правы. Они жестоки и варварски грубы в своей жестокости, но со своей точки зрения правы. Если бы с детских лет они не запугивали детей – не видать им своей власти как ушей. Но они воспитывают нас безропотными рабами, безжалостно уничтожая всякий дух протеста…» [30.01.1935].

7 января 1932 года срок ссылки мужа заканчивался, поэтому Любовь Васильевна уже осенью стала отправлять мужу небольшие суммы денег, чтобы он смог взять билет на поезд и выехать из Усть-Сысольска. В марте Сергей Федорович вернулся в Москву, и после долгих усилий, благодаря помощи знакомых, ему удалось здесь остаться и даже поступить на работу экономистом сначала в столовую, а позднее – на строительстве домов для метростроевцев. Жизнь, кажется, начала налаживаться…

* * *

Дневник Нины Луговской, включенный в материалы следственного дела, состоял из трех больших общих тетрадей. Первая тетрадь велась с 8 октября 1932 года по 26 марта 1934 года, вторая – с 28 марта 1934 года по 6 апреля 1935 года и третья – с 7 апреля 1935 года. Последняя запись в дневнике была датирована 3 января 1937 года, а 4 января в квартире Луговских был проведен тщательный обыск, во время которого вместе с книгами и перепиской был изъят и дневник Нины.

Записи в дневнике велись Ниной нерегулярно, иногда она писала почти каждый день, но чаще с большими перерывами, – все определялось как ее настроением, так и происходящими в стране событиями. Почерк ее очень неразборчив, многие слова и фразы трудно читаемы, в основном записи в дневнике идут сплошным текстом, без абзацев и знаков препинания, часто с грамматическими и стилистическими ошибками, поэтому текст пришлось исправлять, разбивать на части, исходя из смысла излагаемого, а также сокращать некоторые повторяющиеся или же неразборчивые фрагменты текста.

Следует заметить, что в августе 1935 года Любовь Васильевна прочла часть дневника Нины, после чего у нее был серьезный разговор с дочерью: мать предупредила, что многие откровенные высказывания Нины могут быть представлены как «контрреволюционные» и стать причиной ареста не только ее самой, но и других членов семьи. Нина очень серьезно отнеслась к предупреждению матери, внимательно просмотрела весь дневник и постаралась тщательно зачеркнуть наиболее резкие высказывания. Некоторые строки удалось расшифровать, и в тексте они даны курсивом, а нерасшифрованные строки отмечены сносками.

И еще одно замечание, касающееся дневника. После изъятия тетрадей при обыске они были тщательно изучены следствием, многие строки в них были подчеркнуты красным карандашом, а затем часть из них распечатана на отдельных листах под заголовком «Выписки из дневника Луговской Нины Сергеевны» и приобщена к материалам следственного дела. Эти подчеркнутые строки представляют особый интерес, так как показывают, что же в личном дневнике подростка привлекало внимание чекистов и позднее было представлено ими как документальное подтверждение «контрреволюционных взглядов» Нины Луговской.

В ***Заключении***, на основании рапортов, протоколов допросов, «Обвинительного заключения» и реабилитационных материалов из архивно-следственного дела, рассказывается об аресте Любови

Васильевны и ее дочерей, ходе следствия и проводившихся допросах, окончательном обвинении и приговоре каждой из них, а также о том, как сложилась дальнейшая судьба арестованных.

В ***Приложении I*** приводятся отрывки из писем С. Ф. Рыбина дочерям, подчеркнутые следствием и распечатанные на отдельных листах под заголовком «Выдержки из писем Рыбина С. Ф.». Они были приобщены к материалам дела как доказательство воспитания дочерей «в контрреволюционном террористическом духе, в результате чего его дочь Луговская Нина была намерена совершить террористическое покушение на тов. Сталина»[57].

В ***Приложении II*** приводятся письма Нины и ее сестер к отцу, в которых следствием были также подчеркнуты строки с «контрреволюционными высказываниями».

* * *

Работа над книгой осуществлялась в рамках программы НИПЦ «Мемориал» – «Судьбы политзаключенных в годы большевистского террора». Особая благодарность – А. Б. Рогинскому, руководителю научных программ.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за неоценимую помощь в предоставлении архивных документов руководство и сотрудников Государственного архива Российской Федерации: С. В. Мироненко, О. В. Маринина и Д. Ч. Нодия.

Самая искренняя признательность моим друзьям и коллегам: Л. А. Должанской, Я. В. Леонтьеву, Н. А. Перовой и Е. В. Леонтьеву, за активную поддержку и неоценимые советы.

Огромная благодарность художнику А. И. Кувину (г. Владимир) и заведующему сектором редких книг Владимирской областной научной библиотеки А. А. Ковзуну за предоставленные документы и фотографии.

Ирина Осипова

Заключение

По инициативе Любови Васильевны еще с лета 1934 года, то есть с момента нелегального проживания мужа в Москве, в семье было договорено о пароле, чтобы во время нахождения Сергея Федоровича в квартире не впускать посторонних в дом. Он должен был определенным стуком сообщать о своем приходе, а именно сильно стучать в дверь три раза подряд. Позднее, когда об этом стало известно домработнице, договорились о новом пароле – два удара подряд и через паузу еще два удара.

В ночь с 14 на 15 октября 1935 года Сергей Федорович был арестован на квартире Никиты Рыбина и вместе с ним отправлен для дальнейшего следствия в Бутырскую тюрьму. 20 декабря помощником прокурора дело по обвинению его в антисоветской агитации было прекращено за недоказанностью обвинений, но это ничего не изменило в его последующей судьбе, и он остался в заключении. 22 февраля 1936 года Рыбин был приговорен за контрреволюционную агитацию к трем годам ссылки в Казахстан[58], и 22 марта он был отправлен в Алма-Ату. Летом того же года Сергей Федорович был переведен в Семипалатинск, где так и не смог устроиться на работу, и каждые три недели Любовь Васильевна вынуждена была посылать ему 50 рублей на продукты, чтобы он не умер с голоду. Уже в декабре того же года Рыбин вновь был арестован, вывезен в Москву и привлечен к следствию по новому групповому делу *«контрреволюционной эсеровской организации»*.

4 января 1937 года на квартире Луговских был проведен тщательный обыск, во время которого были изъяты вся переписка, касающаяся Рыбина, эсеровская литература, а также дневники дочерей Нины и Ольги Луговских. 9 января была вызвана на допрос в органы НКВД Любовь Васильевна, но она отказалась давать нужные следствию показания. В тот же день была вызвана на допрос и старшая дочь Ольга, она также отказалась сотрудничать со следствием, а дав подписку о неразглашении, после возвращения домой рассказала обо всем своему однокласснику (он во время обыска на квартире Луговских был в гостях у сестер).

7 марта Любовь Васильевна (Л. В.) вновь была вызвана на допрос, где отказалась отвечать на вопросы, интересовавшие следователя, а 10 марта на ее квартиру прибыли сотрудники органов НКВД и предъявили ей ордер на арест. Чекист, проводивший арест, в рапорте на имя начальника четвертого отдела Управления НКВД по Московской области утверждал, что

когда сопровождающие вывели Л. В. на улицу, то дочери ее открыли окна и стали *«демонстративно прощаться с последней, обращая внимание посторонних, и громко кричали нам вслед: „Мама, до свидания, не бойся“. В свою очередь арестованная Луговская также начала громко кричать, прощаясь: „До свидания, прощайте, детки“, – пытаясь своим криком обратить внимание прохожих»*[59].

На допросах 13 и 15 марта, 21 мая и 5 июня Л. В. категорически отрицала как свои *«контрреволюционные настроения»*, так и подобные настроения мужа, утверждая что *«Рыбин – советский человек»*. В предъявленной ей переписке с мужем отрицала, что возводила там *«контрреволюционную клевету на советское государство»,* что освещала *«в антисоветском духе жизнь и быт трудящихся»*, а также общественную жизнь в советской столице.

На допросе 7 июня следователю все-таки удалось, предъявив ей письма Рыбина, добиться ее вынужденного признания, что *«контрреволюционные настроения у него были в вопросах воспитания детей»,* но подписать этот протокол она категорически отказалась. На очных ставках с арестованными по этому же делу левыми эсерами ей было невозможно отрицать факта посещения ее квартиры товарищами мужа, передачи ею денег и продуктов для отправки их ссыльным товарищам в Великий Устюг, Усть-Сысольск и в Среднюю Азию.

16 марта была арестована ее младшая дочь, школьница Нина Луговская. На допросах, после предъявления ее собственных дневниковых записей, она была вынуждена признать, что *«резко враждебно настроена против руководителей ВКП(б), и в первую очередь против Сталина»*, что имела *«террористические намерения против Сталина»,* подтвердив версию следствия, что причиной такого отношения послужили *«репрессии со стороны советской власти по отношению к моему отцу»*.

Похоже, под диктовку следователя был ею написан совершенно наивный вариант, как она собиралась осуществить покушение на Сталина, причем вопросов о возможности приобретения оружия ей не задавали: *«Я думала только встретить Сталина у Кремля и совершить покушение выстрелом из револьвера, предварительно узнав, когда он выходит из Кремля»*.

Позднее в письме Хрущеву она объясняла свои признательные показания тем, что отдельные фразы и слова выдернутые из отроческого дневника, были предъявлены ей в качестве доказательств обвинения ее террористических намерений, что сами допросы велись грубо, с угрозами, вплоть до расстрела, и с требованием отречения от своих родителей. Все

это, по ее словам, довело ее до такого состояния, когда уже *«не имело значения, что подписываешь, – лишь бы поскорее все кончилось»*.

31 марта была арестована ее старшая сестра Женя[60], а 14 апреля – и сестра Ольга. Самым серьезным обвинением против них стало «проведение антисоветской деятельности», выразившееся в организации ими сбора подписей под протестом против исключения из института нескольких студенток; такие показания дала одна сокурсница Жени и Ольги, активная комсомолка, презираемая сестрами. По ее словам, сестры Луговские *«противопоставили группку студентов студенческой и советской общественности, вернее, партийным и общественным организациям института»*, а после осуждения их поступка «общественностью» начали демонстрировать *«свою аполитичность»* и свои *«антиобщественные настроения»,* отказавшись к тому же вступать в комсомол.

27 марта врачебная комиссия Бутырской тюрьмы дала заключение о том, что мать и ее дочери по состоянию здоровья годны *«к тяжелому физическому труду»*. 2 июня изъятые при обыске дневники дочерей, их переписка с отцом и переписка жены с мужем были приобщены к делу как *«документальное подтверждение контрреволюционных взглядов к советской власти всех обвиняемых, членов семьи Луговских»*. Любовь Васильевна, узнавшая об аресте дочерей, была вызвана 9 июня к следователю для подписания протокола об окончании следствия. Здесь она отказалась отвечать на новые вопросы, а когда следователь заявил ей, что *«никакие провокации Вам не помогут, и Вы будете давать показания»,* то она, согласно составленному позднее акту, сорвалась: «*Луговская на это ответила неистовым криком: „Вы издеваетесь! Позор для НКВД издеваться над женщиной“»*.

13 июня трем сестрам, Нине, Евгении и Ольге, было предъявлено «Обвинительное заключение», в котором утверждалось, что они восприняли *«контрреволюционную идеологию своего отца»,* Сергея Федоровича Рыбина-Луговского, что в своих письмах к отцу они описывали общественную и экономическую жизнь в столице, в институте и в деревне *«в резко контрреволюционной форме»*. Главным обвинением против младшей дочери Нины стала подготовка *«террористического покушения на тов. Сталина, а также на вождей партии и правительства»*. Квартира Луговских была представлена следствием как *«место явок эсеров, возвращавшихся из ссылок»*, а также против нелегального проживания отца. Любовь Васильевна обвинялась в том, что, *«будучи контрреволюционно настроена, оказывала помощь эсерам, находящимся в ссылках, по месту*

жительства укрывала эсеров, нелегально проживающих в Москве». Виновной себя она не признала, что было отмечено следствием. Дочери Ольга и Евгения признали себя виновными только в части переписки с отцом, которая, по мнению следствия, носила *«контрреволюционный характер»*, а Нина признала себя виновной по всем пунктам обвинения. 20 июня 1937 года мать и дочери были приговорены По ст. 58-8 и 58–11 УК РСФСР.*}* По ст. 58–10 УК РСФСР. По постановлению Особого совещания при НКВД.} к пяти годам лагерей[61] к пяти годам лагерей[62], а 28 июня отправлены в Севвостоклаг.

Сергей Федорович Рыбин во время следствия категорически отказался отвечать по всем вопросам, *«касающимся партийной жизни левых эсеров»*. В начале июля ему было предъявлено «Обвинительное заключение», в котором говорилось о нем как о *«руководителе контрреволюционной террористической и повстанческой эсеровской организации в Московской области, именовавшей себя „Крестьянский союз“, готовившей в 1936 году террористические акты против руководителей ВКП(б) и советского правительства».* Виновным себя он не признал, заявив, что *«остается верным принципам и традициям левых эсеров».* 1 августа 1937 года он был приговорен[63] к высшей мере наказания и в тот же день растрелян[64]. Похоронен на Донском кладбище.

* * *

Любовь Васильевна вместе с тремя дочерьми отбыла на Колыме весь пятилетний срок заключения. 17 июня 1942 года они были освобождены, но в условиях военного времени задержаны в лагере с закреплением в системе Дальстроя как вольнонаемные[65]. С января 1943 года все они проживали в поселке Эльген, а в 1945 году Любовь Васильевна с дочерью Евгенией выехали в поселок Сусуман Магаданской области, где 7 декабря 1949 года Любовь Васильевна скончалась. Ольга на Колыме вышла замуж и вместе с мужем и дочкой выехала в поселок Ола Хабаровского края. 19 мая 1952 года старшие сестры получили справки об отбытии срока наказания, после чего Евгения, выйдя замуж, выехала с мужем в Правдинск Горьковской области, а Ольга с семьей выехала в Пермь.

После смерти Сталина началась борьба сестер за реабилитацию, как свою, так и родителей. Первой, 26 июня 1957 года, была реабилитирована *«за отсутствием в ее действиях состава преступления»* Евгения Луговская. 11 декабря того же года, после повторного рассмотрении их дела, Любови

Васильевне, Нине и Ольге Луговским в реабилитации было отказано.

Все изменилось после посмертной реабилитации Сергея Федоровича Рыбина, которая произошла 14 ноября 1959 года. 9 января 1961 года была посмертно реабилитирована *«за недоказанностью обвинения»* Любовь Васильевна. 2 апреля 1962 года с такой же формулировкой была реабилитирована Ольга Луговская. И вновь было отказано в реабилитации Нине Луговской.

17 марта 1963 года она обратилась с письмом к Н. С. Хрущеву, в котором утверждала, что именно впечатления от ареста отца *«больно травмировали детскую душу, оставив горечь на долгие годы, которые вызвали в дневнике горькие строки против жестокости Сталина»*, обращая внимание Хрущева на то, что писались эти строки тогда, когда ей было тринадцать-четырнадцать лет. Очевидно, письмо Хрущеву возымело действие, ее дело было вновь пересмотрено, и 27 мая 1963 года она была наконец реабилитирована *«за недоказанностью обвинения»*.

* * *

Нина Луговская в конце 40-х в Магадане вышла замуж за бывшего заключенного, художника Виктора Леонидовича Темплина, который с 1943 года работал художником в Магаданском театре[66]. В 1949 году вместе с мужем она выехала в Стерлитамак (Башкирия), где они работали художниками-постановщиками в драматическом театре. 20 сентября 1953 года она наконец получила справку об отбытии срока наказания и в начале 1954 года выехала с мужем в Кизел Пермской области, где они продолжили работать в драматическом театре.

Осенью 1957 года В. Л. Темплин выехал во Владимир, где стал работать художником-постановщиком, а вскоре и главным художником областного драматического театра. Нина Сергеевна появилась там позднее, возможно около 1959 года, став художником-постановщиком в том же театре. По воспоминаниям, в ее оформлении спектаклей не было *«явной помпезности, не было явной демонстрации сюжетного хода спектакля»*, оно было *«неброским, акварельным»,* это была как *«тихая инструмен товка для исполнителя, как негромкая музыка-аккомпанемент»**.

С 1960 года Нина Сергеевна вместе с мужем начала участвовать в областных выставках художников. В 1962 году они уходят из театра и поступают работать в художественные

мастерские Владимирского отделения Художественного фонда РСФСР. Их творчество является ярким примером владимирской школы пейзажа, в которую они внесли свой опыт театрально-деко рационной живописи. Вспоминает владимирский художник Анатолий Иванович Кувин:

«Я познакомился с Виктором Леонидовичем в 1957 году, а позднее и с Ниной Сергеевной. Мы встречались с ними на выставках, обмениваясь впечатлениями о представленных работах, и меня всегда поражал их горячий интерес к жизни наших художественных мастерских».

А вот как описывает Нину Сергеевну председатель Владимирского отделения Фонда культуры Ирина Григорьевна Парчевская:

«Я встречалась с Ниной Сергеевной в основном на выставках. Она производила впечатление скромного и очень сдержанного человека. Была она женщиной приятной, но неброской наружности: среднего роста, худощавая, рыжеволосая и сероглазая».

С уходом из театра занятие живописью становится для Нины Сергеевны основным делом жизни, ее изобразительная манера постепенно изменяется, приобретая все большую экспрессивность и декоративность. В 1977 году во Владимире состоялась персональная выставка Нины Сергеевны, где она показала себя сложившимся художником со своим, только ей присущим видением окружающего мира. Об этой выставке писали:

«Выставка – приглашение к размышлению, где каждый мазок одухотворен, будто живой, и являет собой не только форму, но и внутреннюю сущность. „Входишь в зал и будто оказываешься в саду“, – сказала одна из посетительниц. Жизнеутверждающий, радостный мотив – главное в творчестве Нины Луговской».*

До последних дней своей жизни Нина Сергеевна не представляла себя без работы в мастерской, была активным участником всех областных художественных выставок и выставок владимирских художников в городах России. Нина Сергеевна скончалась 27 декабря 1993 года, а Виктор Леонидович Темплин – 27 апреля 1994 года, оба были похоронены на Улыбышевском кладбище под Владимиром. Картины Н. С. Луговской и В. Л. Темплина находятся во многих русских и зарубежных частных и государственных собраниях, а три ее картины украшают главный читальный зал Владимирской областной научной библиотеки.

Ирина Осипова

notes

Примечания

1

Нине в то время было семь-восемь лет.

2

Старшая сестра Нины.

3

Одноклассники Нины.

4

Старшая сестра Нины.

5

Одноклассник Нины.

6

Одноклассница Нины.

7

Юлия Ивановна, учительница математики и классный руководитель. Левка был ее сыном от первого брака.

8

Девичье Поле, сквер близ Плющихи.

9

Тетя Нины по стороны отца.

10

Анна Петровна Самойлова.

11

Приятельница матери Нины. Ее дочь Шура была дружна с Ниной, Женей и Лялей.

Здесь и далее подчеркнут текст, выделенный следователем НКВД.

13

Одноклассник Нины.

14

Домработница в семье Ирины.

15

Младшая сестра Ирины.

16

Ольга Александровна, мама Ирины.

17

Имеется в виду московская прописка в паспорте отца. Не получив ее, он должен был в десятидневный срок выехать из столицы.

18

После этого вопроса тщательно зачеркнуто в дневнике двенадцать строчек, которые невозможно расшифровать.

19

Софья Васильевна, тетя Нины.

20

Одноклассник Нины.

21

Отец Нины проживал под Москвой, в деревне Марфин Брод Можайского района.

22

Имеется в виду ведро, в котором было 8 кг картофеля.

23

«Торгсин» расшифровывался как торговля с иностранцами.

24

Одноклассница, самая активная пионерка.

25

Речь идет об Андрее Сергеевиче Бубнове, наркоме просвещения и ответственном за школьные реформы 1930-х годов.

26

Зачеркнута одна строка.

27

Имеется в виду Сталин, который, по слухам, посещал могилу своей жены Аллилуевой, похороненной на Новодевичьем кладбище.

28

Зачеркнута одна строка.

29

Зачеркнуты четыре строки.

30

Зачеркнуты две строчки.

31

Зачеркнута одна строка.

32

Зачеркнута одна строка.

33

Двоюродный брат.

34

С лета 1933 года в семье было договорено о специальном стуке, которым должен был предупреждать всех о своем приходе отец Нины, появлявшийся в Москве нелегально.

35

Астронавты Васенко, Федосеенко и Усыскин.

36

Имеется в виду полет стратостата в честь XVII партийного съезда, закончившийся катастрофой.

37

Двоюродный брат Нины.

38

Речь идет об арестованных и расстрелянных без суда и следствия сразу же после убийства Кирова в Ленинграде.

39

Одноклассник.

40

Бутырская тюрьма, в которую привезли из ссылки арестованного там отца Нины, Сергея Федоровича Рыбина.

41

Нина получила отметки «хорошо».

42

Речь идет о дневнике.

43

Сергей Федорович Рыбин был приговорен к трем годам ссылки в Казахстан.

44

Нина вместе со старшей сестрой Ольгой праздновала Новый год в студенческой компании в общежитии.

45

Выдержки из писем в следственном деле приведены без указания дат, но можно с уверенностью сказать, что эти письма относятся к периоду, когда старшие дети, Женя и Ляля, учились еще в школе (до сентября 1932 года).

46

Фабрично-заводское училище.

47

Сергей Федорович Рыбин в 1930 году находился в ссылке в Усть-Сысольске.

48

Оля с Женей заканчивали институт.

49

Нина имела в виду Сталина.

50

19–28 ноября 1917 года прошел учредительный съезд партии левых эсеров.

Всесоюзный Совет народного хозяйства.

52

Здесь и далее из писем Любови Васильевны Луговской // ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. П-12989. Т. 2. Пр. 4.

За три месяца работы она должна была получить 150 рубей.

54

В это время Любовь Васильевна работала завучем и заменяла заболевшего бухгалтера, выдавая служащим зарплату.

55

Здесь и далее из писем Любови Васильевны Луговской // ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. П-12989. Т. 2. Пр. 4.

56

Из писем Сергея Федоровича Рыбина-Луговского // ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. П-12989. Т. 2. Пр. 4.

57

Выдержка из «Обвинительного заключения» // ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. П-12989. Т. 1.

58

По постановлению Особого совещания при НКВД.

59

Здесь и далее выдержки из следственного дела Луговских // ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. П-12989. Т. 1.

60

Она уже вышла замуж за однокурсника.

к пяти годам лагерей

По постановлению Военной коллегии Вверховного суда.

63

На основании директивы НКВД и Прокуратуры за № 221 от 22 июня 1941 года.

Далее сведения взяты из статей: *Ковзун А. А.* Художники Н. С. Луговская и В. Л. Темплин. Штрихи к биографии // Рождественский сборник. Вып. III. Ковров, 1996. С. 112–127; *Кувин А. И.* Луговская Нина Сергеевна. Живопись. Каталог. Владимир, 1977.

Баранова С. Как мудрый собеседник. «Призыв» (Владимир). 08.04.1977.

Баранова С. Как мудрый собеседник. «Призыв» (Владимир). 08.04.1977.